

СИБИРСКИЕ ОГНИ



Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Б. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

В. Н. Сероклинов (Новосибирск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Станислав Михайлов (зав. отделом поэзии)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Владимир Яранцев (зав. отделом критики)

Марина Акимова (зав. отделом публицистики)

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

9 сентября 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Михаил ТАРКОВСКИЙ. Каждому свое. Рассказы.	3
Сергей КРУЧИНИН. Патерик говорящего скворца. Документальная повесть.	24
<i>Представляем молодых</i>	
Ольга БООЧИ. Однолётки. Рассказ.	46

ПОЭЗИЯ

Владимир СВЕТЛОСАНОВ. Крымский миф. Стихи.	21
--	----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА СИБИРИ

Республика Тыва

Кызыл-Эник КУДАЖЫ. Улуг-Хем неугомонный. Главы из романа.	53
Монгуш КЕНИН-ЛОПСАН. Сонеты. Стихи.	64
Роман ЛУДУП. Долгий путь одной тишины. Главы из романа.	73
Сайлыкмаа КОМБУ. Юрта Вселенной. Стихи.	84
Николай КУУЛАР. Свидание после охоты. Рассказ.	87
Куулар ЧЕРЛИГ-ООЛ. «Ты носила меня на спине...» Баллада о матери.	96
Игорь ПРИНЦЕВ. Железные крылья. Рассказы.	99
Шончалай МААТЫ-ООЛ. «Жизнь моя...» Стихи.	103
Эдуард МИЖИТ. Из цикла «Суровое чудо зеркал». Стихи.	107
Ранса ЧУЛЬДУМ. Когда болит голова. Рассказ.	112
Николай КУУЛАР. Полночный ветер. Стихи.	114
Алексей БЕГЗИН-ООЛ. Тысяча снов. Стихи.	117
Ирина КАЧАН. Центр Азии. Заметки о Туве.	120
Тува — судьба моя. Беседа с Марией Хадаханэ.	133

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Народные мемуары

Иустина ЧУВАШЕВА. «Слава Богу за все!»	137
Александр ШАПОШНИКОВ. Часть времени.	175

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

КАЖДОМУ СВОЕ

Р а с с к а з ы

ВЕКОВЕЧНО

Уже с десятков лет по левому берегу Бирамы охотился Митька Шляхов, худощавый и крепкий парень с правильным, усталым лицом и складчатым шрамом под глазом. Весной по возвращении из района его посреди деревни встретил шебутной дед, дядя Толя Попов, недавно похоронивший жену. Он издали закричал:

— Мне тот берег отвели... Убир-рай капканья к едерене матери!

Та сторона Бирамы пустовала, Митька относился к ней как к своей собственности, у него было там четыре дороги, которые теперь предстояло убрать. Возбужденный дядя Толя раз десять повторил, что ему чужого не надо, но его есть его, а Митька, взбудораженный жгучей и понятной таежной ревностью, ушел домой, зачесал голову и стал кумекать, представляя Бираму, которую ему никогда не приходилось ни с кем делить, где с каждым камнем и лиственью у него были свои отношения.

Митька сидел в любимой позе — поджатая нога, папироса во рту, рука чешет затылок, а сам будто подсмеивается над собой, хотя именно так вот, с почесом и кумеканьем, все у него и делалось: обустривалась тайга, ловилась и сдавалась рыба, ставилось сено на двух коров и росло трое ребятишек. Двигался он, словно ему что-то мешало, топтался, свозя шапку, порывисто шевеля всем телом, поводил то плечами, то шеей — колол ли чурку или разгребал разношенным и будто брюхатым юфтевым броднем снег перед «бураном» на предмет воды — весь расстегнутый, ухо шапки топырится, сзади топор торчит, в зубах папироса. Одевался во сто одежек: сверху что-то вроде тонкой, всегда расстегнутой телогрейки, под ней — расстегнутый же азам, под ним истлевшая безрукавка, под ней азам из портяночного сукна, под ним свитер. Все это тряслось карманами, в которых погрохатывали спички, отовсюду сыпался табачок, гайки, пульки от «тозовки». Собираясь закурить, останавливался, возился, постукивал по карманам, ловил отзывающиеся сквозь бесчисленные слои платья спички, нащупывал портсигар — черную пластмассовую коробочку с надписью «Набор сверел», служившей для товарищей предметом не приедающихся шуток: «Петрович, дай сверло-то!» Сгоревшую спичку засовывал в коробок снизу, так что коробки у него были неряшливо-пухлые, с оттопыренными донцами. Дома курил не переставая, сидел, подоткнув колено, на диване, косясь в телевизор, докуривая одну папиросу, уже нащупывал другую, прикуривал всегда не с первой спички, отвлекаясь на разговор и пыхтя. Плавающую спичку пихал в переполненную половинку пивной банки, и та горела костром, а Митька сидел, поджав колено и задумчиво глядя в огонь.

— От старый пенек, — все качал головой Митька, — от че удумал, есть же участок под боком, а все покой не берет!

Покой дядю Толю и правда не брал. С годами он как-то все бодрел, и если лет десять назад его звали Инвалидом из-за хромой ноги, то теперь нога прошла, клюку он свою выбросил и, снаружи подсохнув, настоявшись на каких-то экономных стариковских соках, будто навсегда застыл в своих шестидесяти годах. Был остроумен, до предела непоседлив, говорил солидно, басовито и, сильно сельдуча, гудел эдакой шепелявой трубой. Летом похоронил жену, тетю Феню, — разбитая параличом, она двенадцать лет пролежала пластом на койке.

Едва открывался Енисей, дядя Толя уже петлял между льдин в своей рыжей, исшорканной до оловянного блеска «обухе», с фанеркой вместо половины стекла, про которое мужики говорили:

— О-о, Прокопич, стекло у тебя богатейшее!

Носился по сети и, подъезжая к берегу, лихо разворачивался и, метнувшись несколько раз вверх и вниз, проверял, нет ли кого чужих. Взвалив мешок, бодро шел на угор, на слова встречного мужика: «Погода налаживается», — гулко бросал: «Я велел!» — а дома снимал ушанку, и под шапкой была потная лысеющая голова с завитками волос и стыдно светящейся кожей. Сидел, переводя дух, на табуретке — огромные руки, плоские пальцы с выпуклыми, как желуди, ногтями, в ушах седые волосы, бритое морщинистое лицо в усах и серые глаза с мутно размытыми краями радужины. Казалось, через заросшие уши, через эти мутные глаза жизнь должна бы доходить тоже мутной, приглушенной, покосившейся, а жизнь эта что ни день обдавала новой кристальной отчетливостью, и чем мутнее становились эти глаза снаружи, тем яснее и прозрачней гляделось в них из дяди-Толиного сухого и жаркого нутра. На тучу, свинцовую воду и освещенную низким солнцем рыжую поленницу, на едва тронутую ветром пятнистую гладь Енисея, на молодую девку с банкой и гуднувшей в ней мухой, на розоватый, в желтых жилах, пласт осетрины, мелко дрожащей под слоем соли.

Однажды он, наклонившись попить к минерально-прозрачной бираминской воде, увидел на фоне высоких и будто темных облаков свое старое и худое лицо. Вздрогнув, он перевел взгляд дальше, в речную глубину — лицо растворилось, и остались только колыхающиеся огромные и будто увеличенные рыжие камни.

Ясным осенним деньком клепал Митька под угором казанку, клал дюралевую заплату на пропитанную краской тряпку, и проходящий мимо дядя Толя рванулся, сунулся прямо в руки, в дрель, в краску, пробасил:

— На сто, парень, садис? На краску? Сади на солидол — вековз-э-эчно будет!

Митька рассмеялся, долго качал головой, мол, от старый, отмочит дак отмочит, и все чудилось, как протяжным и гулким эхом отдается это басовитое «вэковз-э-эчно!» по берегам и хребтам.

На охоту дядю Толю по старой дружбе забросил на вертолете охотовед, а Митька уехал, как обычно, на лодке-деревяшке. Ночью накануне отъезда шумно отходил толкач с баржой, светя прожектором, дул ветер, отползала бесформенная черная туча и за ней сияло созвездие Медведицы. В снях темный, замусоленный до блеска топорик со свежей полосой лезвия был воткнут в пол и, держась на самом уголке лезвия, казалось, висел в воздухе.

На другой день груженная деревяшка стремительным кедровым носовилом, как бритвой, резала крученую дымчатую воду, распластывала сжатую плитами тугую, в продольных жилах, воду слива. У первой избушки Митька хватил винтом донного льда, и тот задумчиво всплыл зелеными хлопьями со влипшими камешками. Наутро кидал спиннинг, и подцепился таймешенок килограмм на семь, которого он подсек, с силой изломив удилице, но

тот сорвался, веером рассыпав по воде розовую крошку губ. У последней избушки возле берега был ледяной припаяк, на который он с разгону залез лодкой. Лодка стояла косо, задрав нос, корма выдавалась в Бираму, собирая свежий ледок, и в кристальной воде неподвижно синел сапог мотора. Вечером у избушки Митька с пулеметным треском пилил дрова «дружкой» без глушителя, и в темноте свирепо бил рыже-синий выхлоп из круглого оконца и чудно озарял подстилку.

С дядей Толей они так ни разу и не увиделись, только в одном месте на том берегу торчала в камнях свежая елка и напротив нее в лесу темнел чум из рубероида.

Частенько он видел на той стороне Бирамы лыжню, выбегающую на дедов берег, но даже в крутых поворотах показательно избегающую Митькиной территории. Правда, когда Митька сел на «буран», дед сдал позиции и, экономя силы, ходил по готовой дороге. Митька оставил на воткнутой палке записку, мол, че шарахашься, как чужой, заходи в избушки-то, хлеб в салафане. Тот раз зашел, но без него, оставив на нарах кружку с недопитой водой.

Вверху за Майгушашей, по которой проходила Митькина поперечная граница, была бывшая пилотская избушка, где и базировался дядя Толя. В устье у своего берега он наколол торосов и настроил *печурок* из прозрачных голубых льдин. Митька ехал в свою избушку на Майгушаше, а в печурке сидела живая норка, к которой Пестря, Митькин кобель, бросился стрелой и, вырвав из капкана, задавил рядом с печуркой. Митька подлетел на «буране», забрал норку и поехал за устье искать деда.

Он гнал передутую дедову лыжню; реку все сильнее спирали хребты, крутые каменные пабереги обрывались в бурлящие черные промоины; он бросил «буран» и пошел пешком. Уже стемнело, дул ветер, пробрасывало снежок, лыжню совсем задуло, и Митька нашел только бочки в тальниках. Он надеялся, что залает дедова собака, но та не лаяла — как потом оказалось, избушка стояла далеко в хребте. Митька отложил поиски на завтра и уехал вместе с норкой к себе в Майгушашу, а на следующее утро дед возьми да еще потемну уйди обратно вниз. Митька по утренней сини, с фарой подъехал к устью и наткнулся на свежую лыжню:

— От пенек шепутной, — выругался он, враз вспотев, — ведь теперь так и решит, что я у него норку из капкана спер! От позорище-то!

Митька завернул норку и вместе с запиской повесил на высокую палку на устье Майгушаша. Камнем висела на душе эта проклятая норка, и понимая, что не стоит она таких переживаний, он, чем больше старался о ней не думать, тем сильнее думал. Вернувшись из дальних избушек и выйдя на связь, он узнал, что дед, недовольный охотой, как раз в то утро убежал вниз к соседу-охотнику из Имбатска, откуда его через две недели вывезли вертолетом. «Значит, до деревни теперь», — с досадой подумал Митька, которого бросало в жар при мысли, что вот уже больше месяца дядя Толя считает его мелким вором. Ловя в прицел белку, с цепким топотком взмывшую по стволу листвени, или подходя к припорошенному, висящему в царском великолепии ворса соболу, он уже не радовался, а чувствовал только одно — что, как топор в сучкастой листвяжной чурке, все глубже увязает в этой дурацкой истории.

В деревне выяснилось, что уже дома дядю Толю хватил инфаркт и что он больнице в Туруханске. Прилетел он перед Новым годом, неморозным, серым деньком, и Митька, выждав сутки, пришел к нему, прихватив оснятую и опривленную норку. Дядя Толя с пергаментно-желтым лицом, на котором темно выделялись подстриженные усы, лежал под красным стеганым одеялом, выпростав руку с плоскими пальцами и фиолетовым, еще в тайге ушибленным ногтем.

— Ну ты как, дедка? — спросил Митька, порывисто сжав эту тяжелую, холодную, как рыба, руку.

— Парень, тязево, — сипло ответил дядя Толя и, переведя дыхание, кивнул сквозь стену. — Анисей-то, гляди, как закатало. — И, будто продолжая находиться где-то вне своего отказавшего тела, рассказал, как его прихватило («колотые так и хлестат») и как врач сказал после: «Хоросо, сто ты не зырный, ну, не толстый, в смысле, а то бы крыска».

Митька, внимательно кивая, выслушал, а потом вытащил из кармана норку и принялся объяснять:

— Дя Толь... Короче, кобель, козлина, у тебя нагрезил... — но дядя Толя не дослушал и только сделал лежащей на одеяле рукой-рыбиной слабый и далекий отпускающий жест.

А когда Митька выходил на улицу, вытирая шершавым рукавом глаза, там уже всюю разворачивало на север, расплзались облака, открывая нежно-синее окно, на фоне которого торопливо неслись последние дымные нити какой-то другой близкой облачности, и на душе тоже легко и свободно было, будто движением дяди-Толиной руки отпустилась не только эта злополучная норка, а все грехи его жизни.

Летом дядя Толя привез из Красноярска Галю, аккуратную и вежливо-осторожную пожилую женщину, с которой познакомился в больнице и которую не приняла только дочь Афимья, а все остальные говорили, что, конечно, поторопился дедка, но Феня «две-над-цать лет» разбитая пролежала, а ему тоже пожить охота.

Вернувшись, дед в тот же день, организовав мужиков, стремительно стащил лодку с уже привинченным мотором, заправленным бачком и уложенным в ящик самолетом. Митька рыбачил с ним рядом и, высматривая самолет, видел, как билась у деда под бортом, вздымая брызги, рыбина. Полчаса спустя дядя Толя поднесся к берегу, из мешка торчали два хвоста, и вдоль лодки, судорожно приоткрывая жабры, литым бревном лежал огромный осетр.

Под осень дядю Толю свалил второй инфаркт.

Из больницы его привезли на «Лермонтове», под руки вели на угор, откуда с пристальным участием глядел народ. На полпути дядя Толя сел на камень и долго отдыхал, глядя в пустоту потухшими глазами. Недели через три он засобирался с Галей в Красноярск — уезжать.

Вечером за два дня до теплохода он с аппетитом поел, а потом его вдруг вырвало. После укола дядя Толя сидел на табуреточке, сын и дочь поддерживали его за руки. Срывающимся голосом он крикнул: «Так зыть хочу!» — и заплакал, а через час умер, так никуда и не уехав, и наши бабы говорили:

— Феня не пустила.

КАЖДОМУ СВОЕ

— С Новым годом! — буркнул Паша, еще раз все оглядев. — Главное — самому потом не врюхаться... — и добавил, хмыкнув: — С похмелюги. Ладно, кому положено сгореть, тот не утонет.

Место он выбрал приметное — кулемка, деревянная ловушка, на бугре, дальше спуск к ручью. Ружье привязано к кедрине, капроновая нитка натянута через крышу кулемки к листовени.

— Погнали, — Паша позвал собак, накиннул «тозовку» и упруго поскрипел камусными лыжами по засыпанной лыжне, продолжая материть росомаху, снявшую двенадцать соболей. Трех из них Павел нашел — обожравшаяся «подруга» наделала захоронок. По дороге он насторожил несколько больших капканов.

Через день Паша был дома, правда, дорога дала прикурить. Выезжал он с санями, привязав к ним еще и нарточку. Реку завалило пухляком, да еще

вода страшная под снегом, пришлось бросить нарточку, потом сани, а потом, напротив деревни, и «буран», и идти домой пешком.

Под праздники подморозило. Двадцать пятого числа выехавший днем позже Коля Толмачев зашел к Павлу. Были они не близкие, но хорошие приятели, приятельство это больше исходило от Паши, общение с которым грозило тягучей пьянкой. Остальные охотники Пашу тоже остерегались, хоть и любили, а он, кажется, все понимал — и пил с другими.

Коля постучал, ответила Рая. Он вошел — поджатые губы, напряженная неподвижность в глазах. Хуже нет. Вроде и ни при чем, а все равно виноват одним тем, что тоже мужик — «из той же стаи», как говорит Паша. На столе тарелка с недоеденной закуской. Стопка с остатками водки, водку Рая брезгливо выплеснула в раковину.

— Пашка дома?

Рая продолжала нарочито порывисто, подаваясь всем телом, вытирать со стола, свозя складками клеенку и качая стол. Молча кивнула в комнаты, мол, полюбуйся.

Паша лежал в броднях на диване, на боку, подобрав согнутые в коленях ноги — одна рука под головой, ладонь другой меж коленок. Приоткрытые губы влажные и по-пороссячье вытянуты. Дыхание тяжелое, прерывистое. Замычал, забормотал, потер ногу о ногу и засопел на другой ноте.

— Хотела бродни с него снять — лягается.

Коля пошел домой. Вечером примчался пьяный и бородатый Пашка на «буране». Борода ему шла.

— Ты чо седеть-то вздумал? — тыкнул Коля на седой клоч.

— Серебро бобра не портит! — отрезал Пашка. — Ну, поехали!

Раи дома не было. Не успели сесть, как пришла: ледяное лицо, металл в голосе, но все-таки гость — и она собрала на стол, вернулись знакомые закуски. Пашка достал бутылку, какую-то свою любимую, пластмассовую, от редкой водки, достал втихаря, хотя ясно, что предосторожность лишняя. Рая ушла в другую комнату. Пашка было повеселел, но она вскоре вернулась, наряженная и накрашенная, и твердо села за стол. На лице была улыбка и выражение решимости. Черная кофта с низким воротом. Подведенные глаза, ярко-малиновые губы, запах духов.

Пашка поставил две стопки.

— А мне? — громко спросила Рая, подняв брови и напряженно улыбаясь.

Пашка удивился, обрадовался. У Коли отлегло. Рая подняла стопку, встряхнув головой, откинула крашенные каштановые волосы — расчесанные на прямой пробор, они засыпали скулы. Когда улыбалась, крепко округлялись щеки и белел ровный ряд верхних зубов.

Пашка закричал:

— Колек! Давай! Я тебе выдерьгу не показывал?

— Че попало, — мотнула головой Рая, закусывая красной капусткой.

— Че за выдерьга?

— Да выдра, «бураном» задавил, — раздраженно объяснила Рая.

Коле хотелось поговорить про охоту, но разговора не получалось, Паша был пьяноват, про выдру забыл и орал одну и ту же частушку:

— На горе стоит избушка,
Красной глиной мазана!
Там сидит моя подружка —
За ногу привязана!

Пашка еще по осени придумал себе новое выражение — когда у него собирались, он заставлял кого-нибудь из гостей наливать, говоря:

— Ну, угощай, Коля!

Получалась игра, новый оттенок гостеприимства: вроде водка Пашина, а он так уважает гостя, что уступает ему хозяйское право. Вдобавок и перед Раей выходило, что он выпивает теперь, чтоб не обидеть разливающего. Выражение моментально распространилось по деревне.

Рая улыбалась, вываливая грибы. Пашка кричал:

— Ну, угощай, Коля!

Коля зачем-то встал. Рая включила магнитофон, проходя к холодильнику, взяла Колю за локти и, описав круг по кухне, выкрикнула, косясь на Пашу:

— Сейчас пойду вот и Толмачеву отдамся!

Пашка только зло хмыкнул, поднял брови и пожал плечами.

«Ну, попал...» — подумал Коля.

У Паши шла сейчас полоса куража, и главное было — продержаться в ней подольше, не перебрать, иначе грозит упадок — будет сидеть, свесив голову, клевать носом, но на вопрос: «Спать, может, лягнешь?» — бодро вскинется: «Нет!» Пошумит, поспорит — и снова книзу носом. Тут главное — его увалить решительной серией рюмок, иначе так и будет колобродить — ни два ни полтора. Если удастся — уснет мертвым сном до утра, хоть кол на голове теши.

Пашка налил:

— На горе стоит избышка! Угощай, Коля!

— Частушку эту чепопалощную заладил... — Рая поджала губы и помотала головой.

— Давай, братка! Ну ты че!.. — гнул Пашка.

Рая держала стопку и говорила, обращаясь только к Коле:

— Господи! Вот он три дня как приехал, не посмотрел на меня даже, не обнял ни разу... Только водка одна на уме! — Она закусил губу, подбородок задрожал, взялся мелкой ямкой. — Толь-ко вод-ка... — повторила она низким рыдающим голосом. Потом собралась — опрокинула рюмку, запила водой. Шмыгнула носом, вытерла слезы и сказала трезво: — Извини, Коля.

Пашка было повесил голову, но тут раздались по-морозному шумные и скрипучие шаги и громкий стук в дверь.

— Да! — рявкнул Паша.

Ввалились двое: Генка Мамай (кличка) и Петька Гарбуз (фамилия). Мамай — крепкий, рыжий мужик, веки в веснушках, синие глаза, волосы жесткие и плотные, зачесанные набок и стоящие упругой волной. Гарбуз — толстый малиноворожий хохол, Пашкин сосед.

Пашка орал от радости:

— От нюховитые! И ведь как знают, когда Пашка гудит!

— Ты скажи, когда он не гудит! — сочно бросил Мамай, протягивая Рае мороженную сохачью печенку в газете: — Шоколадку построгай-ка нам, хозяйка.

Пашке нравилось все, даже то, что зашел Генка — они всю жизнь друг друга недолгоблвали. Прошлой зимой Пашка не дал Генке поршень от «бурана», у него его просто не было, а тот не поверил, сказал, что Пашка «зажался», и полгода с ним не здоровался. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если б однажды ночью, во время погрузки на теплоход, у Генки не намоталась на винт веревка, и Пашка не дотащил его до берега. Теперь они общались, но Мамай на Пашку затаил еще больше зуб, и теперь оба находили свой шик, что вместе пьют, хотя война подтекстов продолжалась. Вообще, Мамай всех всегда подозревал. Напившись, ни с того ни с сего, вперившись в товарища, грозил неверным пальцем и пронизательно шуря глаз, тянул: «Не на-адо! Я зна-аю! Я сра-азу по-онял!»

Гости сели. Рая достала тарелки:

— Пилимени берите!

Пашка особо не ел, пил, экономя силы, расчетливо оставляя половинки, да и те заталкивал, давясь. Мамай жажал мимоходом, не меняя выражения лица. Гарбуз сидел как тумба, подносил ко рту, резко плескал туда, ставил стопку и делал ладонью возле открытого рта проветривающее движенье. Мамай не умолкал, плел про дорогу — он куда-то ездил:

— Заберегу проморозило, как втопил по ней — только шуба заворачивается!.. Ну, давайте!

— Шуба, вон, отворачивается, — сострил Гарбуз, отрывисто захохотав, поставив пустой стопарь, потрепыхав ладонью у рта и кивая на Пашку — Пашина фамилия была Шубенков. Того аж передернуло от вида полновесного стопаря спирта, исчезнувшего в Гарбузовой пасти.

— Сейчас начальника видел, — сменил тему Мамай. — Рожа — хоть прикуривай. Опять забыченный.

Разговор заварился вокруг недавно выбранного начальника, который втихаря продал излишки солярки на самоходку, а на деньги слетал на родину под Ростов.

— Сами выбрали, сами и виноваты, — хмыкнула Рая.

— Ясно — сами... А он, раз пошел, раз доверили — обязан человеком быть. У него совести нет, а я виноват... Х-хе! Интересно у вас выходит!

— Кому сгореть — тот не утонет! — кричал Паша. — Каждому свое! — разговор ему не нравился. — Лучше слушайте историю, по рации слышал. Мужик в тайге сидит, а к нему брат сродный из города приехал. Пошел к нему на участок, а тайги не знает добром. Приходит весь искусанный. Че такое? Кто тебя?.. Да собачка, грит, какая-то в капкан попала по дороге, пока выпускал — перекусала всего! — Все, кроме Раи, захохотали: мужик отпустил росомаху.

— Я эту историю в книжке читал, — сказал Коля.

— Да ты че?! — удивился Паша и перевел разговор на печенку, мол, хороша, а ведь у него в брошенной по дороге нарте тоже есть.

— Хозяин... — презрительно хмыкнула Рая. — Чужим закусывает, а свое в нарте. Ее уж, поди, собаки съели. Че надулся, как мезгирь? Так и есть оно!

Пашка вдруг засобирился назавтра ехать за нартой, норовил затащить в избу и поставить к печке канистру с бензином — развести масло в ведре он уже был не в состоянии, надо на двор идти мешать. Возмущенная Рая ругала его за эту канистру, грозила выкинуть, тот уперся как бык — показывал мужикам, кто хозяин. Мужики глядели в тарелки, было неудобно.

Паша принес масло в банке. Канистра была налита под завязку, масло не влезло, и бензин вылился, Паша отлил в другую банку, чуть ее не опрокинул. Рая заругалась, что банка от молока. Мужикам надоело бычиться, они уже хохотали:

— Развел вонизьму — Райку, поди, выживашь!

— Нас-то не выживешь!

— Водку-то не льет так!

— Она его духами, а он ее — бензином!

Колька, еще посидев, решительно поднялся и ушел. Мороз жал за сорок. Обильно и мощно глядели звезды. Пар изо рта шел густой, гулкий. Укатанная улица — в поперечную насечку от снегоходных гусениц. Дымки еле шевелятся, поднимаются вертикально, расширяясь, как кульки: у трубы тонко, выше — шире. Вся деревня в кулках. Шел, думал про Пашку: че ему надо — баба ведь и работающая, и добрая, и ладная. Не поймешь его. В деревне пьет, к бабе ни ногой, а в тайге — переживает, ревнует. Слышал по рации — Паша назначил Рае время выйти на связь, она не смогла, а когда вышла наутро, Паша несколько раз спросил ее жалким и безнадежным

голосом: «Где ты была?» Дети у них не заводились. Надо было обоим ехать обследоваться, но не хватало денег, с охотой у Паши обстояло неважно.

Вечером Коля в полусне смотрел телевизор. «И правильно, что ушел, — подумал он, — ни поговорить толком, ничего... Спать надо, а завтра за пушнину братья».

Часу в двенадцатом раздался негромкий стук в дверь. Коля удивился — обычно так тарабанят, что дохлого разбудят. Кто бы это... Он открыл: на крыльце стояла Рая.

— Можно к тебе? — на лице странная улыбка.

— Заходи...

Уселась на диван, покрашенная, остро благоухающая.

— Н-ну?.. — с вызывающей улыбкой уставилась в глаза.

Колька аж вспотел. Надо было сразу не пустить, выгнать или сказать, что в клуб собрался, а он, наоборот, вышел демонстративно сонный, рубаха навывпуск.

— Ты че гостью-то так встречаешь?

— Чаю, может? — ответил Коля, увязая и протягивая время, лихорадочно думая, что делать, как ее сплавить, не нарушив этикета.

— Ну что?

— Что?

— Иди дверь заложи!

— Щас!

— Да вы че дураки-то такие!

— Да ниче! — раздражаясь, резанул Коля, чувствуя ненатуральность этого раздражения. — У нас знаешь как?..

— Как?

— Жена товарища — все, — Коля и вправду считал, что оно себе дороже.

— Ты гляди какой!

Коля встал, сделал движенье к одежде — мол, пошли.

— Иди, я куда не пойду... К тебе раз в жизни в гости пришла...

— Ты сдурела.

— Я что — некрасивая? Что же за мужики-то такие...

— Да я бы с удовольствием, да и ты такая женщина... — решил зайти с другого бока Коля. — Но Пашка...

— Что — Пашка? Пашка в три дырки сопит!

— Когда отсопит, я ему как в глаза посмотрю?

— Ой, не смейся! Водка-то есть у тебя? Угощай, Коля!

И вдруг заревела:

— Ведь ты подумай, Коля, вот он три дня как из лесу — ничего не сделано, думала, хоть мужик приедет — помощь будет. Нет... Водка. Водка. Водка... Ой, да че за жизнь-то за такая... Собрались в больницу ехать, сейчас деньги проплет, еще россомаха его разорила, опять куда... Давай выпьем, Коля.

Коля расслабился — сейчас выпьем по-товарищески... да спроважу ее.

— Коля, рыба есть у тебя?

Коля вышел в сени, погрохотал морожеными седыми ленками, порубил одного на строганину. Когда вошел с дымящейся грудой на тарелке, Рая, чуть отвалившись меловым торсом, сидела в черном бюстгальтере на диване. Бретельки сброшены с плеч. Литая грудь вздувается невыносимым изгибом, двумя белыми волнами уходит под черное кружевце. Ткань чуть прикасается, еле держится на больших заострившихся сосках. Волосы рассыпаны вдоль щек, в улыбке торжество, темные глаза сияют, ножка постукивает по полу. Коля на секунду замер, а потом ломанул в сени и заложил дверь.

Уже потом спросил:

— А тебе можно сегодня? — А она со спокойной горечью ответила:

— Мне всегда можно. — И его как обожгло: что горожу — у них же с детьми беда.

Рая глотнула чаю, прищурилась:

— А я думала, ты более стойкий. Вот какие вы. Охотнички...

Коля с самого начала ненавидел себя за свою слабость, теперь стало еще гаже. Хотелось, чтоб она быстрее ушла.

— Не пора тебе? — осторожно спросил.

— Не волнуйся, он до утра теперь. Полежи со мной.

К Рае он чувствовал только жалость. Главное, было чувство, что влез в чужую жизнь — не должен он этого ничего знать, ни этого кусающегося рта, ни большого родимого пятна на внутренней стороне бедра. Рая засопела, он начал тоже придремывать. Перед глазами побежала освещенная фарой бурановская дорога. Потом приснилось, как они с Пашкой гоняют сохатого, и вроде Пашка уже стреляет, палит и палит, негромко так и назойливо. Потом еще какой-то стук раздался. Коля вскочил. В дверь колотили:

— Шубенковы горят!

— Какие Шубенковы? — встрепенулась Рая.

Треск продолжался. «Шифер лопается», — сообразил Коля, накидывая фуфайку.

Было сорок восемь градусов мороза. Зарево стояло столбом над деревней, и казалось, горит гораздо ближе. Пашкин дом пылал костром, жар такой, что не подступиться на пятнадцать метров. Вокруг толпа, мужики тащили из бани стиральную машинку, сосед, толстый Петька Гарбуз, стоял на границе участков в трусах и валенках, накинув полушубок. Откуда-то вынырнула с безумными глазами Рая. Все было обрадовались: значит, были в гостях, значит, и Пашка сзади плетется.

— Пашка где? — закричала она не своим голосом, хрипло и негромко.

Рухнула крыша, стали растаскивать стены, тушить снегом, прошли к дивану — на нем ничего. Колька порылся кочергой рядом, наткнулся на что-то мягкое. Гарбуз ушел в своих трусах, схватившись за горло.

Прилетел милиционер с пожарным экспертом. На пепелище не нашли карабин. Кто-то считал, что Пашку убили, а потом подожгли дом; кто-то подозревал Мамай, который, кстати, тут же подал заявление на Пашин охотничий участок. Коля считал, что дело связано с канистрами, нагрелся бензин — его и выдавило.

Мамай на поминках оказался рядом с Колей, щурился:

— Я-то зна-аю, где Райка была!

Коля наклонился и тихо сказал:

— Видишь вон ту бутылку — сейчас я ее об твою башку расшибу!

На поминки у сестры Паши заходили кучками человек по двенадцать, выпивали, говорили что-то малозначимое и уходили, чтоб дать место другим. Порой забредал кто-нибудь из пропащих, бичик-пьянчужка — кому горе, а ему везенье.

— Ладно, давайте, как говорится, чтоб земля пухом...

Выпили. Говорили негромко, друг другу — мол, Саша, кутью бери. Коля, морс передай. Потом — как-то прорвало, ожили. Начал Быня:

— Еду. Че такое — нарта стоит...

Снова вспомнили тяжелую Пашину дорогу и брошенные по очереди нарту, сани и «буран».

— Будто держало его что-то! — с силой сказал Быня и повторил несколько раз: — Грю, прям будто что-то держало! — Выражение пришлось, потом не раз повторялось.

Колю в жар бросало от мысли, что если б вышвырнул ее как собаку или отвел бы домой — ничего бы не было, ни этого зарева, ни остального. Как ни гнал от себя, снова всплывало это «если бы», дразня безобидностью начала и убивая непоправимостью совершившегося, ужасающим контрастом между минутным и все равно отравленным удовольствием и непосильной расплатой. И всего страшней было, что чуял, а поддался, не устоял — нет ему прощенья.

В начале января Коля поехал в тайгу — запускать Пашин участок: перед собой хоть чуточку легче, а главное — Рае сейчас пушнина нужна. Уезжал хорошо, да все скомкала сучка. Собак, которые по такому снегу лишь обуза, да и ждать их — заколешь останавливаться, он привязал, сосед покормит. Кобеля посадил на цепь, а Муху, небольшую угольно-черную сучку, на веревку, но та отгрызлась и догнала Колю, когда он остановился у Камней заменить свечу. «Отъелась, падла. Надо было на тросик посадить, искать поленился. — Коля выматерился. — То свеча, то сучка!» Взясся гнать — отбежала, села, пальнул над ушами, заозиралась — где добыча. В конце концов, махнул рукой и поехал.

В тайге настроение не то что улучшилось — просто остальное отошло, загородилось привычной обстановкой ловушек, ожиданьем висящего припорошенного соболя. Спустился в ручей и долго искал затеси; найдя и поднявшись, увидел большую кулемку с попавшим соболем, обрадовался, ринулся, почти поравнялся с ловушкой, и нога вдруг сорвалась, как в пустоту — лопнула юкса, сырмятное крепление. Сучка семенила сзади, все стремясь его обогнать, но обогнав, плелась под носом, и Коля спотыкался об нее лыжами. Сейчас, воспользовавшись неполадкой, она, жарко дыша, ломанулась вперед. Коля раздраженно крикнул:

— Куда!

Сучка остановилась, обернулась, Коля хотел было кинуть в нее лопатку, как вдруг замер, увидев на черном фоне Мухиной спины нечто тонкое, белое — неестественно прямое для тайги. Он поискал глазами. Слева нитка тянулась к засыпанному снегом ружью, справа — к кулемке.

«Сделал-то все по уму», — отметил Коля, разбирая самострел. К прикладу снизу поперек был привязан настороженный капкан, сжатая пружина соединена петелькой со спуском ружья, а нитка тянется от тарелочки к крыше кулемки: росомеха добирается к приваде, разбирая крышу. В стволе картечь. «Как раз бы по одному месту, — мрачно думал Коля, — знал, куда целить».

На горе стоит избушка... Ясно, про какую он подружку пел.

Шел дальше, потрясенный: ведь не сучка бы — кранты, да еще б промучился неизвестно сколько. Ведь чуть не убил ее, прогнать хотел, собака на хрен не нужна сейчас. Ведь неправильно все сделал... Цепь найти поленился — неправильно. Сучку не прогнал — неправильно. Юксы вчера хотел проверить, плюнул — тоже неправильно. Где правда?..

Брел по путику, подавленный, вроде бы спасшийся, но почти неживой под убийственным нагромождением случайностей. Как жить?.. Чему и во что верить?.. И наваливалась воспоминаниями беспорядочная, полная суеты жизнь, снова вставало главное — ведь все неправильно делал и из-за этого спасся.

В капкан попал соболю, но нескладно, головой под пружину. Проще было разобрать капкан в избушке, и Коля полез в карман — там с деревни болтались пассатижи. Достав, узнал: Пашкины. И прежде всех соображений стрельнуло низовое, практическое — отдавать не надо. И тут же сморщился: че говорю — жизнь отнял, жену — почти, а тут пассатижи — смотри-ка, прибавка!

И от этой несоизмеримости будто током прошило: значит, простил! Значит, есть! От дур-рак! Лежал бы с простреленными ляжками. Значит... есть он, есть, есть! — и все никак не мог успокоиться: так стремительно сложилось и выстроилось в неслучайное все, казавшееся случайным.

Сучка облаяла глухаря. Он сидел в небольшой кривой кедре, вверху, где выгнутые ветви образовывали растрепанную чашу, и водил матово-черной шеей над крупными кистями хвои. Голова плоско переходила в клюв, снизу отвисала борода. Коля приложился из «тозовки», но затвор замерз и давал осечку за осечкой. Коля отошел в сторону, отодрал от лопнутой березы кусок коры — с краю береста была грубой, а дальше делилась на нежные розоватые полоски. Она загорелась, чадя и скручиваясь. Прогрев над ней затвор, Коля убил глухаря. Тот упал камнем и лежал, растопырив крыло, пока его свирепо трепала сучка.

Избушка, казалось, вся пропитана Пашиным присутствием; стояла недомытая чашка — так домой торопился, суп в кастрюле. Запись в тетрадке: «22 декабря. Ушел на Гикке. Сверху прошла росомаха. Подруга, ты затомила, быть тебе у меня на пялке».

Все у избушки было засыпано — будто облито — снегом. Затопив, Коля вышел с ведром на реку, глянул вдаль: желтое небо, плоские серые облака, плоская сопка, торосы в наплывах снега, белый лес. Раскопал, продолбил последнюю наледь — топор, как воском, взялся ледком; набрал кружкой воды. Сопя, поднимался с обмороженным, облепленным снегом ведром, широченные камусные лыжи пружинисто прогибались, с мягким скрипом вминая еще податливую лыжню. В избушке, жуя промороженную древесину, трещала печка-полубочка, на нарах — ведро с крупным крошевом льда, в углу — грубо наколотые, извалянные в снегу дрова. На печке таз для Мухи, там тоже вода со льдышками, сухая горка комбикорма. Коля достал с лабаза и порубил рыбину, кинул в таз морозные кругляши, медленно и с силой перемешал. Оттаял топорик — мокро засинело лезвие. Коля заправил лампы, солярка во фляге была густая, как кисель, сыто наполненные бачки мгновенно стали обжигающе-ледяными. Вечером сходил, принес еще пару чурок. Вышла тонкая, заваленная на спину луна, на реке белели торосы. Светилось, будто игрушечное, окно с лампами, горели звезды и медленно летела из трубы искра. И вспомнилось Бынино «будто его держало» — раньше эти слова раздражали своей расхожестью, соблазнительностью, а теперь казалось, и впрямь — не пускала, упругой силой держала Пашу за сердце чистая таежная жизнь, а он все не слушал ее, продирался сквозь тугой морозный воздух, бросая по пути лишнее...

Всегда странно на чужом участке, в чужих избушках, думал Коля. С одной стороны, интересно, что как сделано — у каждого все по-своему; а с другой — будто вторгаешься в чью-то тайну, через это окно — будто Пашиными глазами на жизнь глядишь. Вот кружка его, вот спальник, полотенце, банка с бычками, которые не выкидываются, берегутся, какие-то приспособленьица, жомы для лыж, правилки. И достанется все это Мамаю. И как-то больно, боязно было за весь этот Пашин быт, в который так грубо вмешается его не уважавший человек, все переделает по-своему, наверняка что-нибудь выкинет, упразднит, постарается все заменить своим, чтоб и не напоминало о прежнем хозяине. Позывной, наверно, оставит, и будет вместо Пашкиного привычного голоса — другой, густой, самодовольный. Позывной у Паши был — *Экстакан*, и мужики его всячески обыгрывали: «Эх, стакан!» или «Экстакан, налей стакан!»

— Надо будет весной поехать — вещи Пашкины вывезти, — Коля включил рацию, крикнул товарища.

Тот не мог разобрать, спросил:

— Кто Аяхту зовет? — И Коля вдруг замешкался, крикнул:

— Экстакан! То есть... Тундровая! — И улыбнулся невесело, но благодарно на слова:

— Здорово, Коля, понял, все понял! Не объясняй!

В апреле Коля поехал за Пашкиными вещами. У десятиверстной избушки стоял гарбузовский «буран», Гарбуз махал от избушки. Коля поднялся. Гарбуз достал бутылку:

— Давай, Колёк, на дорожку.

Посидели, поговорили.

— Да, ты слыхал новость-то? — оживился Гарбуз. — Только между нами. Баба моя сказала, она с Райкой Шубенковой кентуется... Райка-то — беременная! Вот Пашка-то не дожил.

Стояла ясная погода — солнце, северный ветер, мороз с ночи особенно жгучий. Коля ехал по Пашиному участку рекой. Снег, если глянуть против солнца, блестел, как слюда. Надо было объехать тайгой скалистый участок, и Коля бил дорогу хребтом по пихтовым косогорам, долго возился с заездом, увяз, не мог выгнать «буран» из ямы, отаптывал, пробивался вверх по склону, сбивался с затесей, утонувших в снегу, рубил упавшие деревца, ветки. Возвращался за санями. Потом оторвалась втулка от «паука» вариатора, и он кумекал, как его притянуть, и пилил напильником зацепы, продолжая еще о чем-то напряженно думать, а когда уже притягивал «паука» шайбой, вдруг облегченно вздохнул:

— Ведь если Пелагея, то это тоже Паша...

И снова ехал рекой, и у избушки снова возился с заездом, а в одном очень порожистом месте, где середка реки была провалена и висела единственная перемычка для переезда, и та показалась ненадежной, свалил и пробросил четыре елки.

Ехал дальше — собачья шапка, черные очки, на шее поперек карабин... Ехал и ехал, и свистел северный ветер, и казалось — нет ничего важнее этой пробитой дороги, и не верилось, не думалось, что через неделю все заметет, через две — промоет, а через месяц и вовсе унесет в весеннюю даль с сумасшедшим потоком льда. И ни о чем не думалось, кроме этой дороги, и она застывала крепко — будто на века.

ТАНЯ

У Тани была чистая кожа, копешка пушистых волос и щедрая улыбка, от которой прищуривались глаза, и получалось выражение, будто она совершенно все понимает. Если добавить сюда мое одинокое существование, подчас изнурительную красоту Енисея и будни покоса, становится ясным, почему я так стремился в Селиваниху. Таню я увидел, когда приехал к тете Наде пилить обещанные дрова. Пилил я под угором, на песочке, тети-Надиной пилой. Стартер был без резиновой ручки, с примотанной вместо нее железячкой. Я ссадил ею палец, и, когда заматывал его кусочком изоленты, неизвестно откуда возникла вдруг стройная девушка в ярко-синей майке. Увидев мое занятие и не дав возразить, она убежала и тут же вернулась с бинтом и пузырьком перекиси водорода. Вид у меня был не самый подходящий для знакомства: мокрый от пота чуб, засаленная куртка, сизые руки и полные опилок отвороты сапог. Я наблюдал за бирюзовым жучком, ползущим по ее загорелому предплечью, а она старательно перевязывала мне палец, отфыркиваясь от комаров и болтая, как со старым знакомым. Пахло от нее какой-то ароматной комариной мазью. Она пошутила насчет моих рук, что-то вроде: «С такими руками только к женщине и подходить», — и убежала по своим

экспедиционным делам, а я допилил и поехал домой в Бахту. Когда я отпихивался от берега, на угоре появилась фигурка в синей майке и помахала рукой. Я не удержался и, отъезжая, заложил крутой вираж, вывернув из-под борта валик упругой воды с белым гребешком.

Пел за спиной мотор, неся мимо каменистый берег с островерхим ельником, светило солнце и всю дорогу в серебристых брызгах у кормы стояла, как приятное воспоминание, маленькая радуга.

На покосе я думал о Тане и грешил перед товарищами, желая дождя, чтоб отменились работы и можно было мчаться в Селиваниху допиливать дрова. Догадливые друзья посмеивались. Дождя все не было. Мы поставили сено, взяли за силос. Запомнился последний день. Я стоял с вилами под зеленым душем в телеге, трясушейся за трактором, вдыхал пряный травяной ветер, и меня всего распирало от нетерпения, потому что назавтра начиналась свободная жизнь — ничего уже не маячило впереди, кроме охоты, и я ехал в Селиваниху.

Таня еще спала, когда чисто-чисто пропел зук над Енисеем, когда застрекотала пила, выпустив синее облачко, и было поначалу неловко за этот шум, будто я пилю не листованный кряж, а первую осеннюю тишину, еще в виде пробы натянутую над полузаброшенной деревней.

Жилым выглядел только тети-Надин дом с синими наличниками, крашенными охрой сенями и с выкошенной вокруг травой. Три брусковых дома, построенные экспедицией, стояли среди зарослей крапивы и иван-чая казенными кубами. Заведя небольшой красный трактор, стоявший на бугре с поленом под колесом, и проезжая кухню, я увидел Таню. Она стояла на крыльце и поливала из ковшика пучок укропа. Я щегольски тормознул, вылез из кабины, поздоровался и спросил воды. Она протянула мне ковш, локтем отерев комара со лба, и, улыбнувшись, предложила пообедать. У меня вовсю колотилось сердце, но я сдержанно ответил, что обедать мне шибко некогда, но что чаю попоью, если угостят. В кухне никого не было, кроме нас с Таней.

Мы разговорились, Таня что-то спрашивала, об охоте, о моих друзьях, о Енисее. Умиляла городская неточность ее речи. «Дрова, Таня, не рубят, а колят», — все хотелось мне ее исправить. И еще очень хотелось вытереть локоть, который она испачкала в саже, возясь с печкой.

Потом, уже сидя в тракторе, я все продолжал улыбаться, чувствуя, что не ошибся в своих предчувствиях, что наконец возникло между мной и этой почти незнакомой девушкой нечто необъяснимое, зыбкое, как те осинки в сизой струе выхлопа, но одновременно реальное и очень созвучное происходящему в природе и во мне. Я думал о том, как повезу это нечто вместе с капканами и прочей прозой на длинной деревянной лодке по притихшей сентябрьской Бахте и как славно будет вспоминать Танину улыбку, ежась от ветра и правя в просвет расступающихся мысов.

Я сел на чурку и достал папиросу. Впереди лежало серебряное, в насечках ветерка, блюдо Енисея. На той стороне за темным забором ельника синела невыразимо осенней, глубокой синевой волнистая даль тайги. Всегда почему-то кажется, что осень не возникает здесь, на месте, а именно приходит в виде какого-то голубоватого воздуха особого качества, в котором все начинает желтеть, жухнуть, табуниться, а у человека, наряду с растущей физической бодростью, открывается вдруг родничок поразительной восприимчивости к природе. И хочется, покоряясь ее тихой воле, взобраться на самый высокий яр, встать на колени и, глядя в морскую даль Енисея, благодарить небо за эту посланную богом тоску, за каждый лист кривой березки, скоро потребующей столько любви и прощения в своей нищете. И долго будет укладываться в душе поминальная, в желток с луком, пестрота берегов и огненная трещина в базальтово-серой туче, заложившей север, пока ранним утром глухой удар весла в тумане не поднимет на крыло первое стихотворение.

Глядя в глаза, на вытянутой руке, с каким-то плясовым шиком старинного гостеприимства поднесла мне тетя Надя стопку мутного спирта, протараторив: «На-ка, на-ка, на-ка, сла-богу, все вывез, спасибо тебе, рыбку закусывай», — и я еще раз порадовался бодрости этой маленькой старухи, не устающей окружать свою одинокую жизнь узором такой поэзии, которая никаким поэтам и не снилась. Вечно ей что-то чудилось, мерещилось... Как-то я строил ей новые сени и жил у нее. Был тоже август, но мы спали в пологах, все не решаясь снять их. Перед сном тетя Надя долго устраивалась, зевала, а потом вдруг рассказывала про страшного приснившегося ей мужика, с лицом, заросшим речной травой, которого она не испугалась, а спросила только, когда он вошел: «Кто вы такие?»; про эвенков, приехавших зимой на оленях с котом на веревочке; про тайменя, такого большого, что когда его подтащили к лунке, она, будучи еще девчонкой («папа зывой был»), подумала, что там «лосадь»; или уже совсем анекдот про знакомую из славящегося непролазной грязью Верхнеимбатска, якобы писавшую в письме: «Надя, я не могу в Имбатске зыть: у меня ноги короткие, я с мостков оборвусь и в грязь уйду». Говорилось все это журчащим, полудетским голосом, задумчивым, как куриная песенка на склоне лета. Перед встречей с Таней мне приснилось, будто я украл из больницы фарфоровую кружку, и тетя Надя сказала, что значит будет мне «кака-то прибавка».

Когда после четвертой стопки я понял, что уже не смогу не попросить у Тани адреса, тетя Надя вдруг, что-то вспомнив, вытащила из-за пупырчатого стекла буфета коробку и извлекла из нее желтую, вчетверо сложенную газетку с моими стихами, и через минуту я уже выбежал на крыльцо в раздувающийся ветер, в шорох травы и плеск Енисея, в музыку, плывущую с проходящей самоходки, не в силах удержать теплую слякоть счастья в глазах и все повторяя про себя четыре слова: «Моводец, Миса, хоросо составил!»

Адреса Таня не дала. Она посмотрела куда-то в сторону и сказала трезво-манерным голосом:

— Зачем тебе адрес? — и еще что-то добавила насчет флирта, который с ней «не пройдет».

Убитый наповал таким поворотом дела, словечком «флирт», так не шедшим ко всему окружающему, я спустился под угор, мусоля в кармане так и не понадобившийся карандаш, и поехал домой. По серой волне, сжимая опостылевший штурвал с отбитой эмалью и спрашивая: «Ну что ей стоило? Ведь я и не написал бы никогда...»

Обида на Таню постепенно прошла. Я даже убедил себя, что сам испортил все своей жадностью — денек-то действительно был редкий. Так вот живешь-живешь, увязая в заботах и ничего не замечая вокруг, и вдруг осенним днем, когда виден каждый куст на другом берегу и прохладные облака почти не дают тени, сдвинется что-то в мире, и сольются в один светлый ветер девичья улыбка, тети-Надины драгоценные слова, плывущая над Енисеем музыка, и, просквозив душу, исчезнут, но уже навсегда ясно, что не что-то иное, а именно такие, изредка сходящиеся, створы и ведут тебя по жизни.

ЛЕДОХОД

1.

Первый муж тети Нади погиб на войне. Дочка умерла. Деревню разорили во времена укрупнения: хотели целиком переселить в соседнюю Бахту, но никто не согласился, и все разъехались кто куда. Тетя Надя, вопреки всему, осталась. Второго мужа на ее глазах убило молнией в лодке по дороге с покоса.

В деревню, разрушенную, заросшую лопухами и крапивой, стала летом приезжать зоологическая экспедиция. Поселился постоянный сотрудник с семьей, тетя Надя уже зимовала не одна.

Все большое и опасное у этой маленькой безбровой старушки с птичьим лицом называлось «оказией». Плотоматка, буксир с плотом, прошла близко — «Самолов бы не зацепила. Сто ты — такая оказия!»; «Щуки в сеть залезли — такие оказии! А сетка тонкая, как лебезиночка — всю изнахратили». Рыбачила она всю жизнь, девчонкой, когда отец болел, военными зимами, не жалея рук, в бабьей бригаде, и сейчас, хотя уже «самолов не ложила», а ставила только сеть под корягой, которую каждое утро проверяла на гребях. Туда пробиралась не спеша, вдоль самого берега, а вниз летела по течению на размеренных махах.

О рыбалке у нее были свои особые представления. Кто-то спросил ее, как правильно вывесить груза для плавной сети, на что она ответила:

— Делай полегче, а потом в веревку песочек набьется — и в аккурат будет.

В рыбаках тетя Надя ценила хваткость и смелость, умела радоваться за других и не любила ленивых, вялых и трусливых людей («Колька моводец. А Лёнька — никудысный, не сиверный».)

Зимой тетя Надя настораживала отцовский путик и ходила в тайгу проверять капканы с рюкзаком и ружьем, с посохом в руках, на маленьких камусных лыжах, в игрушечных, почти круглых бродешках, в теплых штанах, фуфайке и огромных рукавицах.

С приезжими у тети Нади установились свои отношения. Студентки посещали колоритную старушку, угощавшую их «вареньями и оладьями», дивились ее жизнестойкости, писали под диктовку письма сестре Прасковье в Ялutorовск, а зимой слали посылки и открытки. Тетю Надю это очень трогало, она отвечала:

— Сизу, пису, одна как палец, — и посылала кедровые орешки в мешочке, копченую стерлядку или баночку варенья.

Девушки обращались к ней за советами в щекотливых делах. Тетя Надя учила:

— Своим умом зыви. Музык — он улична собака.

Студенты мужского пола с удовольствием пили у нее бражку, закусывали жареной рыбкой, что было неплохо после дежурных макарон с редкой тушенкой, и за глаза посмеивались над бабкой, которая не выговаривает букву «ш» и по праздникам подводит брови углем.

У тети Нади было много знакомых, но постоянно ее посещали «сродный брат» Митрофан Акимыч и Петя Петров. Митрофан — крепкий и статный старик с плаксивым голосом, всегда ездивший на новом моторе. Завидев подрулившего гостя, тетя Надя выбегала из дома и кричала ему с угора, а он кричал ей снизу, и так они перекликались, пока он не подымался, потом обнимались и шли в избу. Выпив, Митрофан становился невозможно суетливым, бегал, здоровался со всеми подряд двумя руками, спрашивал, как здоровье и ребятишки, кричал, указывая на бабку:

— А это сестра моя, под обхватной кедрой родилась... — всплакивал, тут же, махнув рукой, смеялся, а когда уезжал, просил кого-нибудь завести ему мотор. Когда это делали, он влезал в лодку, хватал румпель, включал реверс и уносился на страшной скорости, размашисто крутанув указательным пальцем у лица и приложив его к губам: мол, погуляли — и молчок.

Петя Петров был отличным, но насквозь запойным мужиком. С Севера он привез жену-селькупку. Они работали на почте на пару и пили тоже на пару, по поводу чего в Бахте острили:

— Вот красота-то! Все пьют — все довольны. Чем не счастье?..

Петя любил общение, говорил с жаром, рассказывая истории, которые, по-видимому, сам и сочинял. Любимое выражение у него было — «мор»: «Рыбы там, веришь ли, мор-р-рэ...»

Раз мы приехали к тете Наде с Петей, Петя вскоре набрался, мы стали его грузить в лодку, под его же руководством, но не удержали. Он соскользнул вниз головой в воду у берега, уткнулся лысиной в гальку, и хоть его тут же подняли, мне на всю жизнь запомнились глядящие сквозь прозрачную енисейскую водицу серые глаза и медленно шевелящиеся пряди редких волос.

Изредка к тете Наде приезжала погостить баба Таня, древняя сумароковская националка. Из вещей у нее была только длинная удочка и банка с червями. Говорила она хриплым голосом и все время проводила под угором, таская ельчиков, которыми тетя Надя кормила кошек. Кроме кошек, тетя Надя еще держала петуха с двумя курицами, собак и лошадь Белку.

В Селиванихе от прежних построек остались только заросшие крапивой ямы да гнилые оклады, но тетя Надя упрямо называла все прежними именами: интернат, звероферма, будановский дом, магазин, пекарня...

Тетя Надя любила угощать. Проходишь мимо ее дома, она выскочит на крыльцо с блюдцем и кричит:

— Миса-а-а! Пстой-ка, я тебя блинками угощу!

К праздникам она относилась серьезно, за несколько дней готовилась, стряпала, прибиралась в избе, приводила себя в порядок. Когда подходили гости, выскакивала на крыльцо в черной юбке, красной кофте, в крупных бусах и цветастом платке, и выкрикивала специальным высоким голосом:

— Милости просим, дорогие гости, все готово!

Усаживала за стол, угощала, следила, чтоб у всех было налито, носилась с закусками, подавала кому полотенце, кому воду и никогда не ставила себе стула, возмущаясь:

— Удди! Я хозяйка.

Потом, когда по ее плану было пора, вдруг запевала частушки:

— Поп с печки упал
Со всего размаху,
Зубы выбил, хрен сломал,
Разорвал рубаху!

Потом доходила очередь до песен, их она знала «мор».

Тети-Надин дом приходил в негодность, разваливался, садился, напоминая тонущий корабль, и жить в нем становилось опасно. После долгих разговоров начальник предложил срубить новый дом за счет экспедиции — с условием, что он перейдет в собственность станции, а тетя Надя просто будет жить в нем до конца своих дней. Тетя Надя долго думала, решала, сомневалась, а потом согласилась, потому что деваться ей было некуда. Дом строил бич Боря. Тетя Надя заботилась об одном — чтобы все в новом доме было как в старом. Чтоб перегородка на том же месте и чтоб русская печка такая же. Когда все было почти готово, она выбежала с банкой синей краски и покрасила наличники, а потом нарисовала на них белые цветочки с листьями:

— Гля-ка, как я окошки украсила.

Потом она расставила в прежнем порядке мебель: буфет, кровать, стол, стулья, постелила половики, повесила на стены все то, что висело на стенах прежнего дома: ковер с оленями, календари, плакаты, фотографии, растопыренный глухариный хвост, шкурку летяги, ленточки, колокольчики, чьи-то подарки в пакетах, и когда я приехал проведать тетю Надю, было полное ощущение, что это ее старый дом — так сумела она перенести сюда всю

прежнюю обстановку. Так же глядел с фотографии убитый молнией Марти-
мьян Палыч, так же пахло от плиты горелым рыбьим жиром и так же свисал
с полки кошачий хвост.

Хорошо было заезжать к тете Наде после охоты. Промчишься, развер-
нешься, заглушишь «буран» у крыльца, а она уже кричит из избы:

— Заходи, заходи, дома я. — И даже если она совсем тебя и не
ждала, все равно защебечет: — А я как чувствовала! Как чувствовала!
А Петенька-то, Петенька, с утра ревет лихоматом! А коски-то, коски с ума
сосли! Снимай, снимай, снимай, сто т-ты — мороз такой! На печку ложи.
А у меня как раз хлеб свежий. Ну, садись, рассказывай, как там зизнь у вас,
как промыслили?.. Ну и слава богу, слава богу... А я тозе поохотилась. Гля,
каку крысу в капкан добыла — цельный ондатр. Красота! Сейчас осниму, а
летом туристам — возьмут как милые. Ох, и смех, и грех... А у меня день
рождения скоро, Юра посулился быть. Приезжайте с Толиком... В тайгу?
А-а... Ну, сто делать, надо, надо...

Юра работал бакенщиком. В навигацию, проверяя бакена и створы, он
часто заезжал к тете Наде и, косясь на стол, рассказывал, как в Бахте «рыб-
надзоры припутали Ванюшку Деревянного» или как медведь опять разобрал
створы у Соснового ручья, а она восклицала:

— Ты сказы! От падина! — и наливала ему крепкой, закрашенной же-
ным сахаром браги.

Настал день рождения, тете Наде исполнялось семьдесят пять лет. Она
встала ни свет ни заря, затопила печки, бросилась подметать, готовить стол,
сбегала пригласить заведующего Колю с женой, вернулась, снова принялась
хлопотать, гадая, приедет Юра один или с дочкой, и прислушиваясь ко всем
звукам, доносящимся с улицы. Собаки залают, самолет пролетит — она выбе-
жит на крыльцо с биноклем, глядит на Енисей — что там за точка, не Юра ли
едет; нет — торосинка это или куст, кажется. Ладно, к обеду-то точно должен
быть. Проходит день, настает вечер. Нет Юры. На столе тарелочки с заку-
сками: брусника, грибки, соленая черемша, печеная налимя икра, копченая
селедка, блины, свежий хлеб, компот в банке. Приходят Коля с женой, прино-
сят подарок:

— Что, нет Юры?

— Зду, зду. Все глаза проглядела. Во сне видала — долзон приехать.
Петенька-то с утра, сто ты! Токо гром делат! А коски-то, коски! Ну, прохо-
дите, проходите!

Уже темно, и ясно, что Юры не будет, тетя Надя говорит:

— Ну, значит дела, дела у него. Я давеча карты разлозыла — казенный
дом выходит. Или «буран» сломался. Теперь уж с утра здать будем.

Так три дня тетя Надя и держала накрытый стол, выбегала на угор с
биноклем, и так и не доехал до нее Юра, гулявший у соседа.

2.

На угоре напротив тети-Надиного дома стоял кожаный диванчик с
катера, у крыльца лежал коврик из распоротой бурановской гусеницы. Летом
тетя Надя ставила рядом с диванчиком железную печку для готовки.

Душными июльскими днями, с синей мглой над ровным Енисеем, бабка,
в штанах, чтобы не ел комар, все что-то варила на печке, у дымокура подер-
гивала шкурой и обмахивалась хвостом серая кобыла («Ты сказы — Белку
совсем задрали»).

Белку тетя Надя любила особой любовью. Это была старая, но еще
здоровая лошадь, оставшаяся без работы, когда в Селиванихе появился
«буран». Тетя Надя упрямо продолжала ставить сено; любые разговоры о

том, чтобы продать Белку, воспринимала как оскорбление — и очень ожилилась, когда сломался «буран», и пришлось запрягать Белку, чтобы привезти из Бахты продукты к Новому году. Как-то раз летом Белка потерялась, и тетя Надя плакала:

— Манила ее, манила. Нету-ка нигде. Наверно, медведь задрал.

Белка нашлась.

Шли годы. Тетя Надя старела. Все трудней становилось ходить за Белкой, ставить сено. «Все-таки придется Белку в Бахту сдать, — привыкала бабка к этой мысли, — там она хоть работать будет, а то у меня-то совсем застоялась». В Бахте на конях возили сено с Сарчихи и Банного острова, хлеб из пекарни в магазин и воду по домам. Наконец тетя Надя решилась. За Белкой приехали с вечера на деревянной лодке с загородкой из жердей, а ранним утром ее погрузили и повезли в Бахту. Я встретил их по пути на рыбалку и несколько раз оглядывался. Подымался туман, расплывались и ломались очертания берегов, лодки видно не было, и казалось, что над Енисеем висит в воздухе конь.

Как-то раз сдавали мы рыбу на звероферму. Спускали в ледник тяжелые мокрые мешки. В леднике было темно и холодно, хлюпала под ногами вода. Вдруг моя нога наткнулось на что-то большое и скользкое. Это была Белкина голова. Тете Наде я ничего не сказал, и она до сих пор думает, что ее Белка возит в Бахте воду.

3.

Есть такой обычай — когда тронется Енисей, зачерпнуть из него воды. Ледохода все ждут как праздника. Тетя Надя внимательно следит за каждым шагом весны. То «плисочка прилетела», то «гуси за островом гогочут, и сердце заходится... Анисей-то, гля-ка, подняло совсем, однако, завтра к обеду уйдет». Но медленно дело делается. Прибывает вода, растут забереги, трещины пересекают лед, и все никак не сдвинется он с места. Но наконец в один прекрасный день раздается громкий, как выстрел, хлопок, проносится табунок уток, и вот пополз огромный Енисей с опостылевшим потемневшим льдом, с вытаявшими дорогами, с тычкой у проруби, появляется длинная трещина с блестящей водой, с грохотом и хрустом лезет лед на берега, и вот уже тетя Надя, что-то звонко выкрикивая и крестясь, бежит с ведерком под угор, кланяется Батюшке-Анисею в пояс.

Дожила...



Владимир СВЕТЛОСАНОВ

КРЫМСКИЙ МИФ

Крымский текст в читательском сознании издавна пропитан морской солью. Море — источник мифа. В его фонетическом шуме, в буре и натиске прибоя отдаленно слышится не заглушаемая современностью, долгая, как горизонт, архаическая нота.

И северным поморам нашим, и новгородцам в свое время говорило оно о скифах и греках — без помощи толмачей и Геродота — напрямую.

Стоило после двадцатилетнего перерыва побывать в Крыму, чтобы сквозь наслоения нового, наспех создаваемого Новой Империей на прежних фундаментах, успеть оглядеться по сторонам и рассмотреть хоть что-то из старого, сохранившегося на полуострове, через увеличительное стекло мифа.

Точка в конце Крымского мифа пока отсутствует.

САД

Неспокойно вдруг стало, сад в сумерках полон движенья.
Слива с ветки упала — сработал закон притяженья.

Грозовые порывы полночного летнего ветра,
И от тяжести сливы избавлена тонкая ветка.

Придыханье цикады, подобие тихого плача.
Я от жизни пощады не жду, а от смерти тем паче.

Неужели, природа, не сделаешь мне одолженья,
Не ослабишь на йоту суровую нить притяженья?

Я молю, чтобы ветер у этого сада и дома
Укрепил меня в вере, что все-таки жизнь невесома.

Ночью жизнь невесома, и в сумерках ангелы бледны.
Бестелесных, бессонных, уносит их ветер бесследно,

На улыбках усталых сияет ночная прохлада.
Слива с ветки упала — и вот она, спелая, рядом.

КАРДИАТРИКОН

Жалобы сарматского поэта
У подножья Аюдаг-горы.
Все здесь от Адамова сонета
И воспоминаний той поры.

Густо, густо заросли самшитом
Склоны, укрывавшие татар.
Здесь пугал Раевских скорбным видом
Граф нерусский Густав Олизар.

Здесь его любовь не по уставу
Таяла и сеяла молву.
Путь в Бреслау, чтоб не пить отраву,
Чтобы не стреляться — путь в Литву.

Он уедет. Все во власти Бога.
Ей свой крест. Но почему? За что?
«Ты, Мария, — гибнущим подмога», —
Некто скажет лет так через сто.

Все одно, что яд, что утешенье,
Для таких, кто так, как он, влюблен.
От любви несчастной есть спасенье,
Есть лекарство — Кардиатрикон.

КАРАВАН-САРАЙ

Здесь когда-то был сарай-
Караван. Коней поили.
Кучук-Кой, татарский рай.

Куры, пыль. Кальян курили
Два поручика в тоске,
В ожиданье экипажа.

На французском языке
Лепетал татарин даже:
«Же ву при, пардон муа».

Желтой стала мушмула.
Вышло время. «Запрягай,
Жын шейтан!» — кричал поручик.

Был ли караван-сарай,
Или все ж приврал попутчик
По пути в Бахчисарай?

ДЕЛАГАРД

Памяти А. Л. Бертъе-Делагарда

Шел по набережной Ялты
Одноглазый Делагард.
Трость в руке, и в папках карты,
Копии старинных карт,

Башни старой Балаклавы,
Виды древних крепостей,
Клеры, хоры, архитравы
И монеты всех мастей,

С полной описью их веса,
С тайным кодом монограмм,
Пифосарий Херсонеса,
Собранный по черепкам,

А еще водоотводы,
Акведуки и мосты,
Тавры, скифы, греки, готы,
И сакральные кресты,

И надгробье караима,
И хазарский амулет..
В этих папках есть для Крыма
Все. Но Крыма больше нет.

В этом-то и суть конфуза.
Как без слез понять беду
Одноглазого француза
В девятнадцатом году?

СЕВАСТОПОЛЬ

Посмотришь с балкона —
Малахов курган.
Висит балахоном
Над балкой туман.

Эскадра на рейде,
Блещат корабли.
Стена батарей
Белеет вдали.

Блистательный город,
Магросская статья.
Маг русский, который
Тут всюду слышать.

Не выбрать погоста,
Не та тут земля,
На стрелке — о, Господи! —
Госпиталя.

Спи, город под небом,
Лелеют твой сон
Толстой и Тотлебен,
И тот бастион,

И этот — на выжженной
Солнцем скале.
Так спит, кто не выжил,
Над морем, в земле.

Сергей КРУЧИНИН

ПАТЕРИК ГОВОРЯЩЕГО СКВОРЦА

Документальная повесть

Глава первая. Едоки картофеля

Крошечный огонек коптилки с трудом расталкивал тьму по углам большой квадратной комнаты, там она шуршала и клубилась, и пряталась в складках тяжелых плотных штор на окне. Временами складки шевелились, как живые, и от них дуло холодом. Я знал, что стекла за шторами заклеены крест-накрест газетами, слышал, как мать говорила моей тетке Наде: «Молодова зачем режешь, соображай!» — и все-таки дуло.

Огонек коптилки плавал в парафине, высвечивая из мрака иконно застывшие женские лица. За старинным крепким столом было их четверо, плотно прижавшихся друг к другу женщин. На коленях у одной из них сидел я. Время от времени в консервную банку, где плавал фитилек, я подкладывал осколок парафина и ждал, когда прогорит, и можно будет подложить следующий.

Все напряженно молчали. На буржуйке булькала картошка в мундирах, пахло горькой недоварившейся шкуркой.

— Девки, надо бежать! — сказала бабушка. — Радио говорило, что немцы уже в Можайске!

— Куда бежать? — со вздохом ответила моя мать. — У нас мешочек с сухарями и кусочек сахара для Сережки, — последнее она выделила: *для Сережки*. — Будем отступать со своими — хоть накормят.

Мать пересадил меня на колени Нади, откинула со спины байковое одеяло, которым были укрыты все, и пошла снимать картошку. Кипяток не сливала — пригодится. Неровные серые клубни выложила на большое блюдо, прикрыла полотенцем и поставила на стол. Сообщила как бы между прочим:

— Вчера нас с Надей вызывали в райком, предложили переселиться в Мамонтовку.

— Зачем это? — забеспокоилась бабушка.

— Там будет безопасней, Надя ездила, смотрела. Хороший, крепкий дом с участком — хоть картошку посадим. А ты, Лида, как?

Лида была старшей из сестер, сидящих за столом.

— Мне предписание: вывозить детский дом. Пока не ясно — то ли на Волгу, то ли на Урал.

— А я-то куда же? — бабушка волновалась.

— Ты с нами. — Мать пересаживала меня на свои колени, укрылась краем одеяла.

— Боже! Милостив буди нам, грешным. Благослови вкусить дары Твои! — и первой взяла из-под полотенца картошку, грея и обжигая ладони.

Три сестры, не проронив ни слова, молча последовали ее примеру. Кожуру возвращали на тарелку, картошку аккуратно солили и ели. Уже взрослым я вспомнил эту сцену, разглядывая картину Ван Гога «Едоки картофеля». Потом пили морковный чай с сахаринем, так было всю войну: настоящий чай был большой редкостью.

И все же от живого тепла и еды лица оживали, просветлялись.

Ребенком я был приметлив и памятьлив, и теперь, когда мне уже семьдесят два года, ясно воспроизвожу в своем мозгу те картины и те разговоры, не дословно, но суть их жива...

— Чтой-то от Анюты уж которую неделю нет писем, — посетовала бабушка. Анюта была старшей из родных дочерей бабушки. Она в двадцатом году вышла замуж за сельского учителя и не переехала со всеми в город, осталась в деревне.

— Небось, снегом завалило, — откликнулась тетя Лида, — до Шлиппово не дойдешь, а почтальонша не ходит.

— А помните, как Анюта всех насмешила с Васиным скворцом? — Надя рассмеялась беззаботно и молодо.

— Дык, как же! — удивилась бабушка, словно не знала этого потешного случая наизусть во всех мельчайших подробностях.

Подобных вечеров было много во время войны. Я их сложил в один.

Глава вторая. Патерик говорящего скворца

Дядя Вася вернулся из австрийского плена в восемнадцатом году без ноги, но с австрийским протезом. В деревню Колтенки, где жила его мать, моя бабушка, Александра Яковлевна Костина со своими дочерьми, из московского госпиталя пришло письмо. В нем было сказано о том, что Васю следует забрать, поскольку самостоятельно пока он передвигаться не может.

И вот моя бабушка, оставив всех своих дочерей на хозяйстве в деревне, отправилась в Москву, взяв с собою лишь тринадцатилетнюю Таню, самую разумную и шустрюю свою дочь — мою будущую мать.

Остановились у бабушкиной родной сестры в селе Ивантеевка, что в тридцати километрах от Москвы. Незамужняя бабушкина сестра, Елизавета Яковлевна Кобелева, служила акушеркой при французской красильной фабрике Ватреме. Бабушку Лизу я смутно помню. Мы называли ее Белая бабушка — слишком рано она поседела и умерла рано, в пятьдесят восемь лет, в сороковом. Но о ней позже — личность была незаурядная.

В назначенный день Александра Яковлевна и Таня поехали за Васей. Теперь этот военный госпиталь называется «имени Бурденко», а тогда, по старой привычке, «императора Петра».

Ждали недолго. Госпиталь был переполнен. Всюду, в фойе, на лестничных площадках, в коридорах лежали раненые, и мало-мальски выздоравливающих старались быстрее выписать. Неожиданно на широкой мраморной лестнице появился Вася. Он был в своем унтер-офицерском френче, но без сабли, как на фотографии. Держась за перила, с палочкой, он медленно спускался, напряженно выглядывая своих из огромного количества посетителей. Из одной штанины вместо ноги торчала металлическая кочерга. Несмотря на шум, гомон и стоны раненых, стук кочерги о мраморные ступени казался самым явственным и невыносимым. Бабушка закрыла лицо руками и безутешно, по-деревенски завyla, причитая. Таня побежала помочь Васе спуститься.

Из госпитального смрада, смешанного с карболкой, вышли на вольный воздух и отыскивали лавочку.

— Ну что ты все плачешь, мам? — говорил Вася. — Я же жив и здоров.

Достали деревенские припасы и то, что приготовила баба Лиза, и накормили Васю.

Пришлось вернуться в Ивантеевку, чтобы долечить Васю и подумать, как вернуться в Колтенки. Но как вернуться? Раны заживали плохо. Вернуться — остаться без всякой медицинской помощи. А здесь, в Ивантеевке, при фабричной больнице да при содействии его родной тетки Лизы можно было получать вполне квалифицированную помощь. Время от времени его осматривал и давал советы организатор больницы, замечательный и опытный врач Антонов.

Тянулись дни, а раны заживали плохо. Чтобы не быть в тягость Лизе, Александра Яковлевна пошла помогать сестре: выносила за роженицами, стирала пеленки, мыла полы в родильных комнатах. Таню пристроили в конторе переписывать счета в бухгалтерские книги.

Антонов повторял: «Главное сейчас — кормить Васю, он молодой, поправится». А на дворе был восемнадцатый год...

Чтобы лишний раз не травмировать культю, Вася передвигался на костылях. Он добредал до плотины и там, усевшись на приготовленную дощечку, забрасывал удочку. К обеду, бывало, налавливал до полуведра окуней. Иногда их удавалось поменять на молоко и яйца. Здесь, у воды, война казалась страшным сном, но культя саднила и зудела. Вася пытался представить, что его ждет, и не мог осилить эту головоломку. Газеты пугали, а книги, которые он брал в библиотеке при фабрике, все больше рассказывали о любви и мирной жизни.

Однажды Василий увидел молодых скворцов под соседней раkitой. Суетливые родители учили их летать и отыскивать пищу. Вася решил вспомнить свои прежние увлечения — из шелковой нитки соорудил силок, уложил под раkitой и насыпал червячков.

Глупые птицы слетелись на неожиданную обильную кормежку — тут-то Вася и подсек одного молоденького скворчика и прямо за ножку подтянул к себе. Пойманный птенец кричал, бился, дрожал. Ножка, попавшая в петлю, оказалась вывернутой. Василий знал, как поступать в таких случаях: резко оттянул и поставил ножку на место. Пожевал крошки от сухаря, оставшиеся в кармане, и дал попить изо рта. Скворушка понемногу успокоился, но так и остался хроменьким. Вася соорудил ему клетку из ивовых прутьев, в той клетке через семь месяцев он и привез птичку в деревню. К тому времени скворец уже умел говорить целых три слова: «Вася» и «милый скворушка». Большим талантом оказался пернатый.

Возвращение на родину было печальным. На железнодорожной станции Шлиппово их встретил муж старшей падчерицы моей бабушки Александр Парменыч Федоров — железнодорожный бухгалтер. Он-то и рассказал, что после поспешного отъезда их помещика Густава Карловича Шлиппе в Ригу поместье было бессовестно разграблено местными крестьянами, а дом захватила новая власть, что кругом бродят какие-то банды, а хуже всего продотряды — обирают подчистую. Слава богу, до нашей деревни пока не дошли, и народ все, что может — прячет. Дороги, которые строил Шлиппе, выстилая бревнами, разваливаются.

На простую телегу, покрытую соломой, посадили Александру Яковлевну и Васю, Александр Парменыч взял Серко под уздцы и повел по большаку, обходя опасные места с выщербленными бревнами. Таня бежала рядом, то с одной, то с другой стороны лошади, большой веткой отгоняла паутов.

Деревья, которыми был обсажен большак, пострадали не меньше, чем дорога. Некоторые березы и липы были грубо вырублены, в неожиданных

просветах вдруг являлись уродливые пни. На пятой версте показались родные липы. Когда-то еще мой прадед Семен Петрович оградил ими сад с северной и восточной сторон от холодных ветров.

Встреча была слезной и радостной. Скворца тут же переместили в большую клетку, которую искусно выточил Васин отец Иван Семенович Костин незадолго перед смертью в 1912 году. Все несказанно удивлялись говорливости птички.

За чаем со столичными баранками выяснилось, что Анюту, среднюю дочь моей бабушки, замуж зовет Семен Журавов, что Надю укусила змея, невесть откуда приползшая в сад, и склонная к врачеванию сестра Маня разрезала ранку и высосала яд. Теперь на ноге у Нади под повязкой — страшный синяк. А вот старшая сестра Шура со своим Парменычем делают к каменному дому пристройку из бревен, оставшихся после сгоревшей еще при отце, Иване Семеновиче, маслодельни, называвшейся в семье попросту — «масленкой».

Поскольку перед войной Вася успел пройти учительские курсы, его направили работать учителем в село Немерзки. Это в двух верстах от нашей деревни Колтенки, где школы отродясь не было. Кроме того, местная советская власть поручила Василию Ивановичу в экспроприированном особняке Шлиппе организовать сельский клуб и читальню — бороться с неграмотностью. Позже тетя Надя много раз мне рассказывала, как Вася брал ее маленькую в помещичий особняк, где еще чудом сохранились предметы роскоши: нарядный рояль, канделябры и чучело огромного страшного медведя. Брат, приловчившийся к инструменту еще в венском госпитале, играл на рояле вальсы, а Надя танцевала — это были ее самые счастливые моменты в детстве. Вообще, Вася был чрезвычайно музыкальным человеком. Он лучше всех в деревне играл на гармошке и балалайке.

При появлении Васи в деревне в семье все чаще возникали разговоры о необходимости его женитьбы. Но Вася не участвовал в этих разговорах — стеснялся своей хромоты. Сестры начали присматривать ему невесту. Вспомнили о семействе Кручининых из Сухинич, у которых обычно останавливались, приезжая на ярмарку. Жили они в своем большом двухэтажном кирпичном доме, а в ярмарочные дни сдавали комнаты постояльцам. Но и этот дом после революции власть экспроприировала. Отец умер, дочь и сыновья уехали в Москву искать лучшей доли. Матери и младшей дочери Ниониле выделили маленькую комнату в их собственном доме, остальные отдали под школу. Школа эта жива и по сей день — в прежнем здании. В ней учились наши дальние родственники — Наташа и Саша Гришкины.

Нионила была стройная девушка с крутыми волнами волос темной меди. Такие унаследовали все братья и сестры Кручинины.

Неожиданно в Колтенках объявился Иван Тимофеевич Иванов — закадычный друг Василия. Вместе они заканчивали учительские курсы, вместе обучались на гармошке, перенимая друг у друга новые песни, вместе были мобилизованы на фронт и проходили школу прапорщиков. Но Вася вернулся с австрийским протезом вместо ноги, хотя и с Георгиевским крестом, а Иван Тимофеевич — целехонький, с двумя крестами, которые предусмотрительно прятал в кармашке френча, и с новой малиновой гармошкой-двухрядкой, с повадками и лоском штабного офицера. Но дружба есть дружба, и Вася затеялся выдавать за Ивана сестру Анюту. Прежде веселая и озорная, теперь она впадала в крайности, не умея разобраться в своих женихах. То дико и до истерики смеялась, то пряталась на сеновале и молилась. Иван и Семен Журавов враждовали.

Однажды, придя после занятий в школе, Василий Иванович снял свой осточертевший мучительный протез и подсел к любимому скворцу, чтобы насладиться птичьими разговорами.

— Кто твой отец? Скворец! — задал первый урок Василий.

— Скворец! Скворец! Скворец! — на разные лады скрипуче, но внятно выговорил пернатый.

— А кто твоя мать? — был задан второй урок. — Скворчиха! — подсказал Василий.

— Скворчиха, — с некоторым трудом выговорила птаха.

— Кто твоя суженая-ряженая? — задал третий урок Василий. Было задумано, что птица ответит «скворчунья», это трудное слово пока у нее не получилось. И вдруг бойкий скворец совершенно чисто выпалил:

— Нилка Кручинина! Нилка Кручинина! Нилка Кручинина!

— Ну, Анюта, — проказница! Задам уже я тебе, — развеселился Василий и уж хотел было кликнуть свою озорливую сестру, чтобы вместе посмеяться, но тут вбежала испуганная Танька с криком:

— Вася! Вася! Там Семен Журавов пришел убивать нашу Анюту!

— Где он?

— Там, за вишнями, с берданой!

Вася схватил костыль и попрыгал к выходу:

— Эй, Семен! — крикнул он. — Это я хочу, чтобы Анюта вышла за Ивана, можешь — пальни в меня, а лучше брось дурить, ты же обрюхатил Наташку Суворкину. Она по тебе сохнет. Дай бердану на время, я хоть зайчиков постреляю, а то совсем одолели, жрут молодые яблоньки. А на Успенье справим три свадьбы в три гармони! А?.. Семен! Оставь бердану, сам возьми. Иди с богом.

Так все и случилось. Венчались на Престольный праздник в наших Колтенках, Успение Пресвятой Богородицы, все три пары. Так вот и было.

Глава третья. Школа антоновских яблок

Одно выражение из детства я вспоминаю всякий раз, когда ем яблоки. Купив антоновку, моя родная тетушка Маня, со звоном откусив от плода, неизменно произносила:

— Испортил Мичурин антоновку, то-то было у нашего папы в саду! В соломе яблоки хранились аж до марта; выберешь самое крупное, откусишь, так дух по всему дому... А эти — что?! Ни вида, ни вкуса, ни запаха...

В сорок восьмом году мама и тетя Лида на отпуск поехали в Колтенки, здесь они не были около двадцати лет. Взяли с собою и меня. Остановились в большом, удобном доме своей старшей сестры Анюты и ее мужа Ивана Тимофеевича. Здесь был небольшой, но ухоженный сад с пчельником и уютным садовым домиком с комнатой с тремя ульями, летками выходящими в сад, узкой солдатской койкой и письменным столом, на котором я углядел несколько книг, среди которых был «Тихий Дон» Шолохова, и стопку исписанных тетрадей. Потом я узнал, что это были дневники моего дяди Вани. После его смерти в семидесятом году эти тетради вместе с Библией унаследовала двоюродная внучка Галя Иванова. Мне досталась тонкая школьная тетрадь со странным и смешным текстом и его сочинение времен занятий на учительских курсах, написанное каллиграфическим дореволюционным почерком с нажимами, на тему «Образ Андрея Болконского в романе Толстого “Война и мир”». Вот в этой комнате с ульями, книгами и тетрадями и пребывал мой дядя Иван Тимофеевич Иванов. Меня поразили запахи: густой, с виолончельным гулом пчел, от ульев, кисловатый махорочный, от самокруток, и нежно-смолистый — от дерева. Это все мне необыкновенно понравилось.

Другие запахи были в комнате, где поселили меня. Это была дядина мастерская — с большим деревянным верстаком, с рядами различных,

совершенно мне незнакомых инструментов. С ними еще предстояло познакомиться. Главное же — моя необычная постель. На золотистой душистой соломе лежала обыкновенная простыня и подушка, но укрываться я должен был огромным овчинным тулупом. Вот это была песня! Я укрывался с головой и чувствовал, как меня обнимает природа — с томными запахами поля, хлеба и парного молока... И мгновенно засыпал.

Просыпался от удаленных тонких и размеренных ударов металла о металл. Это дядя Ваня на маленькой наковаленке, вбитой в бревно, отбивал косу. Вообще, все свои инструменты он содержал в идеальном порядке: отремонтированные и наточенные до бритвенной остроты, они были готовы к применению в любой момент. Всякий день дядя вставал рано и успевал до завтрака часа два, а то и больше поработать по хозяйству — это было его железным правилом: не садиться за стол, предварительно не потрудившись, а для меня — молчаливым уроком. Но осваивать этот урок я начал значительно позже, выбрав профессию музыканта...

Ровный и мощный гуд трех ульев, установленных внутри домика, напоминал работу катонного цеха, куда мать меня водила на экскурсию. Напившиеся за ночь юные силы выталкивали меня из-под овчинного тулупа, и я бежал к дяде — посмотреть на его ловкую работу. В конце концов он и мне дал легкую старую косу, предложил отбить, наточить и пройти рядок по нескошенной траве. Хотя я и старался, прижимал пяточку косы к земле, лезвие часто проскальзывало по траве, не срезая ее: вместо ровного рядка получалась корявая поверхность с уродливыми клоками травы. Это напоминало мою голову, однажды стриженную пьяным парикмахером. Дядя Ваня сказал, что когда-то и сам так начинал, и мы пошли завтракать.

В первое же утро по приезду в Колтенки мы с мамой и тетей Лидой отправились к дому наших предков, где родились моя мать и многочисленные тетушки. Намеренно пошли не по улице, а задрами, по хорошо утоптанной дорожке среди бесконечного пшеничного поля с изумрудными волнами, гонимыми по нему теплым ветром, и колхозными садами. Когда-то любовно и заботливо посаженные местными крестьянами, до революции — владельцами этих когда-то роскошных садов, теперь они были, в сущности, ничьи. Пошли именно этой безлюдной дорожкой, чтобы не встретить деревенских, уже осведомленных о нашем приезде и жаждущих бесед, а подойти к родному дому со стороны памятного сада с ностальгически светлым, уже много лет лелеемым чувством. Мама мне с гордостью рассказывала, что нашу деревню в свое время называли «уголком Москвы» — за аккуратность вымощенных дорог и особую прелесть садов и искусно устроенных прудов, в Колтенках они назывались «сажелками». Самая большая сажелка в центре деревни именовалась с особым чувством — Вольная! Имя этому красивому и большому водоему было дано не случайно: деревня наша располагалась по двум сторонам большака — с одной стороны жили бывшие крепостные, с другой — крестьяне, разбогатевшие на различных промыслах, либо мещане, выкупившие землю у помещика Карла Шлиппе после 1861 года, после указа Александра Второго об освобождении крестьян.

Пока мы шли к нашему саду, именно так я его называл — «наш», сделал потрясшее меня открытие: Надя не захотела ехать в деревню потому, что боялась не осилить тех чувств, которыми я заразился от матери и тети Лиды.

Уже виднелись высокие темные липы с восточной стороны нашего сада. Неожиданно тугой, горячий и пыльный ветер вывернул наизнанку листья деревьев, мгновенно превратив их в седые, постаревшие и неприветливые.

— Дождя не миновать, — озабоченно сказала мать.

— Дождь — благодать! Чуешь, какой сухой ветродуй? — Тетя Лида указала куда-то за житное поле. — Смотрите, какой страх от Забродной ползет. — Забродной называли большой лесистый овраг на краю поля.

— Лей слезы, не лей, а все дождь смоеет, — философски заметила мать, прикоснувшись щекой к шершавой коре первой липы стройного ряда, отделяющего сад от дороги и поля.

У тети Лиды было такое напряженное и красное лицо, словно сейчас же она упадет в обморок или разрыдается. Мама, взглянув на нее, поспешно и твердо сказала:

— Где-то здесь, между лип, были привязаны наши качели, помнишь, Лид?

В этот миг мой взгляд выхватил обрывок туго скрученной пеньковой веревки, как удавкой охвативший разросшийся ствол старой липы — местами он успел врасти в древесную ткань. Мать начала ее развязывать и сломала ноготь. Я достал свой перочинный ножичек и передал матери — сам бы не дотянулся до проклятой петли. Удавку снимали рывками, вероятно, не слишком аккуратно: обнажилась сочащаяся ткань дерева, и тут Лида разрыдалась, обняла липу, прижалась щекой и что-то приговаривала, я не мог разобрать. Мы пытались ее успокаивать, но она только вздрагивала и сбрасывала с плеча наши руки.

Мать указала мне на старые кусты сливы и велела набрать смолы с их стволов. Я кожей почувствовал, что и она готова разрыдаться, но не хочет, чтобы я видел. Сердце мое сжалось, я бросился к кустам. С трудом отыскал первый янтарный сгусток со слезой, повисшей на застывшей прозрачной нити, измазал все руки липкой массой, но набрал целую пригоршню. Тетя Лида уже успокоилась. Ее лицо светилось, как у бабушки после молитвы. Мать объяснила, как надо действовать, чтобы залечить рану дереву, посадила меня на закорки и с помощью Лиды подняла. Я жевал сладковатую душистую смолу и этим месивом замазывал рану старой липы.

— Смотри-ка, Тань, — удивленно и радостно сказала Лида, — чубушник-то сохранился, глянь, как цветет!

Со своей высоты я взглянул туда, куда указывала тетя Лида. В углу сада, где сходились липы, рос кустарник, сплошь облепленный крупными белыми цветами. Оттуда, точно оттуда доносился нежнейший, прозрачный и легкий, как звон снежинки, запах.

— Жасмин? — спросил я у матери. — Похож на твои духи.

— Чубушник — он дикий, нежнее, чем садовый жасмин.

— Анюта говорила: колхоз срыл могилу деда Семена Петровича, а его чубушник-то пророс! Пошли, поклонимся...

Здесь следует пересказать одно семейное предание...

Мой прадед Семен Петрович Костин — третий, младший сын мещовского кровельщика Петра Ивановича Костина. Решив отделиться от своего родителя после 1861 года, женился на Ксении Ивановне, девице из богатой семьи, сложил с нею свои капиталы и выкупил землю и лес у помещика Шлиппе. Когда и где женился он на Ксении Ивановне и чьих она была кровей — не знаю. Знаю только, что прожила она до ста трех лет, и звали ее между собой — «бабушка за дверью». Там у нее был свой сундучок, на котором она и провела последние дни своей жизни в полной слепоте и молитвах. Дети ее очень любили, Ксения Ивановна их одаривала из заветного сундучка затейливыми безделушками из своей молодости: кому перламутровую пуговицу, кому пряжку, кому и жемчужную бусинку, а моей тетушке Наде — аж платье от давно исчезнувшей куклы.

Так они появились в Колтенках. Семен Петрович проявил хозяйскую сметку, построил маслодельню, каменный дом под железной крышей, слава богу, кровельщиком он был потомственным, и посадил большой и красивый

сад, выкопав сажелку и зарыбив ее золотистым карасем. А когда пришло время умирать, потребовал от сыновей обещание похоронить его в родном саду, за чубушником, который сам и насадил.

Место, где прежде находилась могила, заросло диким папоротником. Из кустов чубушника вдруг выпорхнула с тревожным криком мелкая птаха, закружилась, то приближаясь совсем близко, то стремительно уносясь в сторону.

— Малиновка, — определила мать, — отводит от гнезда. Да мы недолго, — успокоила она то ли птаху, то ли нас с тетей Лидой, — поклонимся деду-основателю — и дальше пойдём.

Мать с Лидой остановились у папоротника в каких-то странных застылых позах — и будто забыли про меня. Наблюдать это было томительно, но и нарушить непонятный мне ритуал я не смел. Стоял и разглядывал корявые кусты крыжовника, вытянувшиеся в ряд вдоль лип, птичку, которая все еще порхала рядом и кричала, ящерицу, замершую на камешке возле папоротника.

Наконец мать сказала:

— Поклонись и ты своему прадеду Семену Петровичу.

Я неловко кивнул, сознавая это движение почти религиозным — все же я был пионером, но и салютовать, как нас учили в школе перед могилами героев, было бы нелепо. Облик Павлика Морозова витал надо мною.

— Какие были чудесные крыжовники! Померзли, что ли? — тетя Лида ворошила куст, уколотившись, отдернула руку.

— Ягодки-то есть? — спросила мать.

— Ни одной.

Мы вошли в яблоневый сад. Одни деревья стояли почти засохшими, лишь с несколькими зелеными веточками, усугублявшими их жалкий вид, другие, как новогодние елки, были сплошь завешаны еще совсем зелеными плодами.

— Аркат погиб, — с сожалением сказала мать.

— Это не аркат, аркат-то вот он, — тетя Лида рассматривала сорванное продолговатое зеленое яблочко. — То, должно быть, анисовка.

— А где же те три антоновки, которые Вася с Нилой посадили после свадьбы?

— Вроде они подальше. Сохранились ли...

— Да вон они, — мать указала на три больших дерева, стоявших в ряд.

— Господи! Сучья надломлены, стоят неприкаянно, хоть бы за ними поухаживали!

— Через силу, а плодоносят, — с гордостью заметила мать, — что значит папина «школа»!

— А знаешь, что среднюю антоновку прививала я?.. Меня папа учил. Я ее приметил.

«Школой» в саду назывался участок земли, где выращивались саженцы антоновки. Их прививали, делали отбор и продавали в соседние губернии. Теперь на месте яблоневой «школы» росла картошка. Слева дико и беспорядочно разрослось вишенье. Кусты уже начали спускаться на дно большой сорной ямы с двумя мутными лужицами. Когда-то здесь была сажелка с золотистыми карасями и мостками для полоскания белья... У северного ряда лип просматривался большой холм, заросший дикой малиной и крапивой. Раньше здесь стояла сгоревшая маслобойка. За угловатыми вишневыми ветками обозначился старый кирпичный дом. Вид его был жалким: ветхая провалившаяся крыша съехала набок, равновесие деревянной пристройки поддерживало нетесаное суковатое бревно, упертое в верхний венец. Станным образом это все создавало ощущение высокомерия и даже выпяченной нижней губы.

Здесь жила их сводная старшая сестра Шура — от первого брака моего деда Ивана Семеновича с поповной из села Наумова. Та рано умерла, оставив моему деду двух дочерей — Александру и Марию. Александра вышла замуж за бухгалтера, и некоторое время они переезжали из села в село, где ему находилась работа. Только в тридцать шестом они вернулись в деревню. Мария уехала в Ивантеевку помощницей к моей бабушке Лизе и вскоре вышла там замуж за пожилого вдовца, главного механика фабрики Вагрене, Ивана Петровича Кузина.

— Ты смотри, — досадливо заметила тетя Лида, оглядывая пустынный безликий двор, — даже кур нет.

Небо над садом начало темнеть, где-то над Забродной сверкнула узкая молния, и почти сразу все содрогнулось от грохота, упали первые капли.

— Может, зайдем к Шуре, — нерешительно предложила мать, — все-таки сестра.

— Не хочу я видеть ее, мокрогубую. Желала жить барыней, вот и... Боюсь наговорить лишнего. Давай завтра зайдем... — смягчилась она.

— Тогда пошли быстрее, пока не промокли.

Но быстрее не получалось — скорости грузной тете Лиде шибко не доставало, она часто останавливалась, чтобы отдышаться. Я вдруг остро осознал: мир нашего дружного семейства не так крепок, в бесконечной доброте, которая меня окружала, есть скрытые трещинки. Что зародило во мне эти ощущения, тогда еще не мысли, не знаю — преследующая нас гроза или разговор в саду...

Глава четвертая. Иван Семенович, мой дедушка

Вся деревня всколыхнулась, когда узнали о застреленном в лесу Иване Семеновиче Костине. Он жил в сторожке и охранял лес своего родного брата Ильи, владельца этого леса. Эту страшную весть принесла в деревню бабушка, в полуобморочном состоянии бежавшая все пять верст до дома. Тут же сын Вася поскакал за урядником. Откуда-то приехали следователи и жандарм — целая комиссия.

В то утро моя бабушка пошла отнести Ивану кое-какие продукты. В сторожке она принялась готовить обед, а дедушка сказал, что пойдет пострелять зайчиков к ужину. Взял ружье, патронташ и ушел. Бабушка слышала лишь один выстрел и все ждала: вот придет, вот-вот придет — а его все не было. Пошла искать, покричала — не отзывается. Пошла в ту сторону, откуда с час назад услышала выстрел, и увидела мужа: он лежал в странной позе, на щеке зияла рана, все вокруг было в крови, словно он ползал и цеплялся за траву. Она бросилась к нему, приложила пальцы у кадыка — пульса не было, тело остывало. Она знала много смертей, всякий второй ею рожденный ребенок умирал, не дожив и до года, а их у нее было тринадцать. В живых осталось только пятеро. Каждая смерть отличалась от другой, но она узнавала их заранее — любая являлась болью и страданием. Привставая, она силилась закричать, позвать на помощь, но вдруг ударилась головой обо что-то твердое, вздрогнула и услышала металлическое клацанье и глухой удар о землю — то сорвалась с березы мужнина двустволка. Внезапно она осознала: кричать и звать кого-то на подмогу бесполезно и даже опасно; по-бабьи воя, бросилась к деревне.

Следователь сказал, что это самоубийство. Что-то записал в своем гробсбухе, дал почитать комиссии, те расписались, поставили печать. Мужичок, стоявший в толпе зевак, громко по-портновски сказал:

— Удухов, масов!

Следователь, ничего не поняв, махнул рукой. Стоявшие в толпе услышали мужичка, загалдели — все понимали по-портновски: в отхожих промыслах быстро осваивается этот жаргон.

Комиссия расселась по коляскам и укатила.

— Значит... убили Ивана Семеновича?! Врет следователь...

— Чего же это ему убивать себя? Нешто плохо жили?! Ну, сгорела масленка, победнели, но деньжонки-то водились, с леса-то завсегда был нос в табаке...

— Да он и не курил...

— Не курил, зато выпивал крепко...

— Ты же сам таскал ему самогон за те две елки...

— Когда?..

— Когда! Когда дом сыну строил. Вот он, должно быть, и боялся комиссии. Говорили ж, комиссия будет. Лес-то все ж таки не его, а брата, вот и стыдился, вот и боялся...

— У Костиных-то с Воронцовыми были споры по меже — там, где дорога раздваивается...

— Не поделили лес, вот и убили для острастки... — судачили мужики на поминках...

Все эти рассуждения я многожды слышал от теток, когда они собирались вместе. Особо тетушки мои не таились, лишь иногда переходили на «портновский», который я не понимал. Бабушка хранила молчание, хотя ее слово всегда было последним. Вспоминали, какое уважение испытывали к деду деревенские, когда вдруг ему из Калуги привезли приборы для регистрации метеорологических особенностей местности. Особое восхищение вызывали барометр и градусник Реомюр. Мужики каждый божий день интересовались погодой, иной раз присылали детей узнать, что там, на барометре. Данные показаний приборов приходилось отправлять раз в неделю со станции Шлиппово телеграфом или почтой, если телеграф ломался. Дело это приносило Ивану Семеновичу больше хлопот, чем доходов, но и, конечно, лестное уважение деревенской общины.

После сгоревшей масленки дед хватался за всякую работу — слава богу, сноровистостью природа не обидела. Он делал мебель, гробы — все, что ни попросят. Но ни сад, ни столярничество особых доходов не приносили, чаще мужики расплачивались угощением. Иной раз после таких угощений Иван Семенович с трудом доходил до дома и сразу валялся на постель в одежде. Любимица Таня жалела отца, которому явно было плохо, стаскивала с него сапоги и плакала, прося помочь, а бабушка ругалась.

Деду не хватало настоящего большого дела, которым когда-то являлась масленка — маслодельня. Быть сторожем в лесу у брата — унижало.

Тетьа Маня рассказывала мне о том ужасе, который она испытала, когда случился пожар. Было два работника, которые деду помогали отжимать и закатывать в бочки масло. Это было конопляное масло, разливали его еще и в стеклянные бутылки, четверти, которые развозились по близлежащим деревням и торговцам. Была зима, один из рабочих ушел портняжничать по деревням. Вместо него взяли молодого парня из Шихтина, а он оказался куращим — вот и запольхало все. Началось с верстака, потом полыхнула крыша, рядом был сарай с паклей, он, как порох, вмиг исчез со страшным гулом. Хорошо — ветра не было, огонь шел вверх — только две липы обожгло с одной стороны. Прибежали Азаровы и Дружинины с баграми, принялись растаскивать огнем схватившиеся стены; все, кто мог, кидали ведрами снег и воду из сажелки, откатывали бочки с маслом, в огне взрывались бутылки, наполненные маслом, добавляя чад и дым, как из преисподней; казалось — жарят что-то вкусное. На трагический праздник

пожара прибежал деревенский дурачок, губастый Митроха, он дико хохотал и выкрикивал:

— Удумали мерить погоду, удумали мерить погоду, вот вам и... — должно быть, это были чужие слова, которые он повторял. Но дурак дураком — а бутылку с маслом уволок. Потом хвастался: — Я гасил маслом — вку-усное...

Все это врезалось мне в память, будто сам видел.

Пожар деда словно прихлопнул, он начал попивать. Моя бабушка, вопреки следователю, старалась всех убедить, что мужа ее убили, а вовсе не сам он решил себя жизни, ведь тогда нельзя молиться за упокой его души. Когда все уходило на работу, бабушка открывала шкаф, сделанный дедушкой, где у нее стояли иконы и лежали молитвенные книги — шкаф являлся ее церковью, — ставила меня на колени и сама опускалась рядом, прося:

— Сергуня, помолись за упокой дедушки, может, тебя бог услышит и простит дедушку. — И подсказала: — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитв ради Пречистыя Твоея Матери...

И я стал молиться, жалостливо прося уберечь и спасти душу моего призрачного, тем особенно дорогого, дедушки Вани.

Глава пятая. Поросенок Борька

Старинные швейцарские часы Мозера с латунным круглым маятником и тяжеленными, налитыми свинцом гирями прохрипели час дня. Я лежал в жару, болезнь называлась «свинкой». Вместо шеи у меня были мягкие подушки, я с трудом поднимал голову, чтобы попить. В полусне на меня напозало серое тяжелое одеяло, я его стлкнул, но оно вновь напозало, и так бесконечно. В доме мы были с бабушкой вдвоем, мать и мои любимые тетушки с раннего утра уходили на работу.

Сквозь гул в ушах и напозание слоновьего одеяла слышал, как скрипнула дверца молельного шкафа, как с кряхтением бабушка опустилась на колени, как стала истово, всхлипывая, молиться за меня и за своих нерадивых дочерей. Жар немного отступил, и часы прохрипели дважды. Бабушка дала мне таблетку красного стрептоцида, который в те времена был в большом ходу, и ложку драгоценного молочного киселя — больше я съесть не мог. Когда жар спадал, бабушка заматывала мою шею и уши старинным ажурным платком из козьей шерсти, сильно траченным молью. Я старался освободиться от его пламенного жара, но бабушка уговаривала потерпеть и начинала рассказывать о нелепых проделках моего любимого персонажа, деревенского дурачка — губошлепа по имени Митроха, в крещении — Митрофана, сына Федулова. Суть этих баек сводилась к тому, что Митроха у одних приворовывал, а другим, по доброте душевной, отдавал, часто даже из собственного дома, говоря при этом:

— У них много, а у вас нетути.

Иной раз за эти проделки его нещадно били, но он продолжал следовать застрявшему в его голове священному правилу социальной справедливости.

— Боженька велит! — вышлепывал он своими огромными губами.

Еще я любил слушать об океанах, о водорослевых лесах в теплых морях, о разноцветных рыбах, похожих на елочные игрушки, стадами гуляющих в этих фантастических лесах, о злых акулах и добрых китах, в пасти одного из которых оказался библейский Иона. У бабушки хранилась такая книжка, без обложки, потрепанная, с цветными картинками. Оказывается, баба Саша когда-то училась в гимназии, и теперь, по прошествии многих лет, после многих трагедий, рождений и смертей собственных детей, ее сознание часто погружалось в детство и юность, одаривая меня картинками прошлого...

Позже, когда бабушки не стало, я начал соображать — в какой же гимназии она могла учиться? В Калуге или Смоленске? Вряд ли в небольшом волостном городке, пусть купеческом, могла быть гимназия, да еще женская. И вдруг совсем недавно в краеведческих документах прочитал, что в Мещовске существовала-таки женская гимназия, аж с тремястами девочками-гимназистками и двенадцатью их учителями. Здание этой гимназии сохранилось до сих пор. Теперь там педагогическое училище.

Я представляю свою бабушку Сашу за партой: чинные ряды девочек в одинаковых строгих платьях — коричневых с черным фартуком в младших классах и серых с белым фартуком в старших. Какой урок идет? Русский?.. Словесность?.. Закон Божий?.. Космогония или математика?.. Французский или штопанье белья и шитье бисером?.. Может быть, география, которую так любила бабушка?.. Я помню, что разговаривала она совершенно по-деревенски: *ити* вместо *щи*, *конхветы*. Но однажды всех рассмешила следующим образом: готовила блины и разбила яйцо, оказавшееся тухлым. И вдруг по-французски, с прононсом и грассированием, произнесла фразу, которая означает: «Не разбив яйца, не приготовить яичницу!»! Надя попросила:

— Мам, скажи еще что-нибудь.

Та махнула рукой:

— Все забыла. И это бы не вспомнила, коли не яйцо, пралик его расшиби!

Другой раз в детстве я стал свидетелем очень эмоционального спора о правилах соблюдения поста между моей бабушкой Сашей и тетей Маней — ее падчерицей. Первой женой деда была дочь священника из села Наумово. Она рано умерла, оставив двух дочерей: старшую Александру и младшую Марию. Молодую жену Иван Семенович подобрал себе из мещовских образованных девиц Кобелевых. С этим семейством у Костинных были давние связи, начиная с семнадцатого века, от виноторговца Савелия Кобелева.

Была ли религиозна тетя Маня? В отличие от бабушки, она не постилась, но память о богобоязненной и боголюбивой матери томилась в ней, мешаясь с убеждениями младших сестер-коммунисток. Однажды душным знойным вечером мы гуляли с тетей Маней, дошли до старинной Новоселковской церкви. Служили вечерню, дверь была приоткрыта, слышалось непривычное пение, вкусно пахло горящим воском и ладаном.

— Давай пойдем, — предложил я. — Мне интересно, как молятся.

Она согласилась, но вдруг на паперти, у входа в церковь, остановилась и сказала:

— Иди один, я подожду на лужайке.

Какие мысли и чувства овладели в тот миг моей тетушкой, что она не посмела войти в церковь? Тем более я не решусь определить причину того отчаянного ее спора со своей мачехой из-за пустячного кусочка селедки, положенного на хлеб в Великий пост. Бабушка утверждала, что есть несколько дней во время поста, когда рыбу употреблять в пищу не возбраняется. Тетя с великим жаром утверждала обратное — категорически нельзя. Спор набирал обороты и терзал меня — я любил обеих. Не в силах терпеть, вышел из комнаты, где играл, и громко заявил:

— Бога нет, мне мама сказала! Значит, все можно! — и обе разом замолчали, не в силах ни разубедить меня, ни согласиться со мной.

Не могу вычислить, когда происходила эта психологически многоуровневая кухонная дискуссия, до моей болезни свинкой или позже... Ходил ли я еще в детский сад или уже в школу... О болезни я бы никогда не вспомнил, если бы ей не предшествовал случай, связанный с нашим поросенком Борькой. Бабушка пошла кормить его и вскоре вернулась чуть не плача. Борька вырвался из хлева, проскочил каким-то образом между ног бабушки, разлил

часть баланды, составленной из картофельных очисток и селедочных хвостов и голов, а несчастная бабушка, не в силах его отыскать и загнать обратно в сарай, прибежала за моей помощью. Такое случалось не раз. Жизнелюбивый, веселый Борька, как только открывалась дверь сарая, устремлялся на свет божий. Никакая, даже самая вкусная баланда удержать его не могла, он прыгал и повизгивал, радуясь свободе и веселой яркости красок. Ни хворостина, ни горсть моченых сухариков не могли заставить его вернуться в темный душный хлев. Не мешкая, я схватил приготовленное для таких случаев лассо — веревку с подвижной петлей, забрал у бабушки часть сухариков, побежал к сараю. И в ужасе увидел Борьку, лежащего на оборванном электрическом проводе. Копытца его судорожно дергались, и двое мужиков палками сталкивали его с провода. Подоспевшая бабушка заохала, запричитала, мужики мрачно сказали:

— Надо резать... — и никто не сдвинулся с места.

И тут я увидел тетю Надю, шедшую с работы. Я бросился к ней и показал на поросенка. Она мигом сообразила: побежала в квартиру, схватила длинный и острый столовый нож и перерезала Борьке горло. Я оторопел — так решительно, строго и бледно было ее лицо. Кровь выхлестнулась фонтаном, окропив ее и бабушку, я испугался и заревел белугой. Не знаю, было ли мне жалко в тот миг Борьку...

— Ну, теперь хоть есть можно, — сказали мужики и ушли, бросив палки.

Поздно вечером, в синих сумерках, я пробрался на кухню и увидел Борьку. Он лежал бледный, вдоль стола, со вспоротым животом, и казался больше, значительней, чем когда был живым и веселым моим другом. Мистика смерти впервые коснулась меня.

По иронии, которой судьба владеет в совершенстве, на следующий день я заболел свинкой. С градусником под мышкой я лежал на диване, а взрослые пировали за большим столом и хвалили Надю за решительность и находчивость. И удивлялись, и потешались такому странному совпадению: гибели поросенка и моей неожиданной болезни, кем-то названной «свинкой». Мама подходила и уговаривала:

— Съешь хоть свеженьких потрошков — так вкусно! — но я отворачивался, не в силах понять превращения Борьки в жареные потрошки и кровяную колбасу, которую с большой сноровкой изготовила бабушка. — Чего же ты хочешь? — спрашивала меня мама. — Надо обязательно поесть.

Не знаю, из каких сокровенных тайников своей памяти я извлек образ и вкус квашеной капусты. Так и сказал:

— Хочу квашеной капусты.

Мама растерялась:

— Где же ее взять?!

Но через несколько дней капуста появилась в стеклянной пол-литровой банке, нежно-зеленая, с янтарным морковным отливом. С тех пор я и начал поправляться. Потом бабушка мне рассказала, что животворную капусту выменяли на Борькино сердце.

Та жизнь военных и послевоенных лет теперь кажется невероятной, непонятной и странной. Клопы, вши, блохи, мыши и крысы являли неотвратимый и непобедимый зловредный фон той аскетической жизни. Ни пропаривание и стирка, ни керосин и проглаживание раскаленным утюгом, ни дуст и травяные отравы не способны были победить нищету, в которой жил простой народ. Когда я приходил от Кольки Склянкина, моего друга из соседней квартиры, тетя Надя сажала меня над газетой и частым гребешком вычесывала все, что я принес оттуда.

— Ну вот, — говорила она, — сегодня две — и обе с кантиком.

А мать рассказывала о молодых истощенных девчонках, поступавших на фабрику, у которых обнаруживали вместо волос вшивые коросты. Девчонок нещадно остригали наголо и выдавали старушечьи белые платочки в мелкий горошек.

Из всей сумеречной череды драматических эпизодов моего детства я запомнил один, освященный тихой радостью. Меня разбудили так рано, как не будили никогда. Мутный призрачный свет только начинал пробиваться сквозь оконные стекла. Помню, что газетных крестов на них уже не было. Значит, это было после войны... и уж наверняка после сорок третьего года, когда Сталин разрешил службы в церквях. Я еще не разлепил глаз, а нос уже почувствовал вкусный запах ванили и чего-то уютного и теплого. На столе — урчащий, как сытый кот, самовар, невиданные прежде крашеные яйца, румяный столбик кулича с горячей в его коричневой шляпке свечой и пирамидка нежно-розовой сливочной пасхи на синем широком блюде.

— Христос воскресе, — с тихим торжеством произнесла бабушка.

— Воистину воскресе! — дружно подтвердили сестры-атеистки.

Интуитивно я почувствовал, что нужно поступить так же, и громко повторил:

— Воистину воскресе!

Бабушка вручила мне яйцо и трижды поцеловала. Потом она рассказывала о службе, о том, как выглядит новый священник, кого встретила в церкви, и что-то еще — я этого не слушал: маленькой серебряной ложечкой вкушал сладчайшую из сладчайших, воздушнейшую из воздушнейших волшебную пасху...

Глава шестая. Ивантеевка. Фантомные боли

Василий умер внезапно, в двадцать третьем году, в мае, ровно через месяц после рождения сына Анатолия. Косил в саду молодую травку для кроликов — в тот год они сильно расплодились. Пришли друзья поболтать, покурить, он прилег на скошенную травку — уж больно натирал протез. Лежал-то недолго, да несогревшаяся земля натянула холодом; к вечеру поднялся сильный жар, сзади, в области поясницы, появились нестерпимые боли. Не в силах сдержаться, Вася, закусив губы, катался и дико выл, рассказывала мне мама. На третий день его не стало.

В доме все стало разваливаться — почему-то началидохнуть куры, лихой человек увел лошадь, Таня сама ему и отдала: пришел какой-то мужик, сказался, мол, от родственников из Наумово, надобно увезти в больницу их шурина, дескать, сильно заболел. Таня кое-как изловила лошадь: всегда такая ласковая и послушная, теперь она отбегала и не давала накинуть уздечку, как чувствовала. Что случилось с ней потом, так и не смогли узнать.

Таня к тому времени закончила девятилетку в Уруге — большом селе в пяти верстах от Колтенки. Надя только что перешла в седьмой класс. Жили в доме у дальнего родственника, пьющего дьячка, уроки делали при лучине. К слову сказать, электричество появилось там только в шестидесятых годах. Шустрых девчонок надо было учить дальше, бабушка это понимала, вот и отправила к Лизе в Ивантеевку. Лизину школу медсестер уже прошли Маня и Лида, уехавшие из деревни еще в девятнадцатом. Обе удачно вышли замуж: Мария за пожилого вдовца, Кузина Александра Петровича, главного механика пушкинской фабрики Александра Арманда, впоследствии перешедшего на службу к Юрию Ватреме, а Лида — за мастера фабрики Ватреме, Александра Решетина, большого поклонника театра, успешно игравшего главные роли в местных любительских спектаклях в паре с дочерью Александра Петровича Ольгой. Бабушка осталась в деревне опекать внука Анатолия,

Толюшку, как его все нежно называли, и помогать неутешной молодой вдове, своей снохе Ниониле. Слезы вскоре закончились: красавица Нила, не выдержав приличествующего срока вдовства, привела себе нового мужа, Глеба Дружинина, соседа через улицу. У Толюшки появился отчим, а у бабушки — чужеродный зять.

Как бы само собою вызрело решение способного к наукам Толюшку взять учиться в город. С организацией колхозов в деревне жить становилось голодно и невыносимо: сад и корова отошли колхозу. Бабушку и шестилетнего Анатолия снарядили и отправили в Ивантеевку, к своим. Судя по рассказам матери, жить у тети Лизы было тесно и скудно. Спать приходилось на полу, и было такое невероятное количество тараканов, что твари эти на спящих людях объедали ногти. Моя бабушка, нарожавшая к тому времени тринадцать детей, тяжелую физическую работу одолеть уже не могла, только помогала по дому и часто болела. Лиза много работала в роддоме, сама худенькая и седенькая, как я ее помню, часто вынуждена была переносить рожениц на себе: курсы повивальных бабок, видимо, дали ей крепкую закалку, ведь их готовили не только принимать роды, но и быть сестрами милосердия во время войны, уметь выносить из боя и перевязывать раненых. В нашей семье после ее ранней смерти остался серебряный диплом Императорских курсов с медалью, эмалевый белый крестик, будильник в деревянном темном футляре с бронзовой ручкой и завитушками и фотография выпускниц тех самых курсов повивальных бабок: девушки в одинаковых темных платьях с белыми ажурными воротничками, и среди них — юная смуглая Лиза. У нее, как у всех Кобелевых, которых я знал, большие глаза и нос с характерной горбинкой, делавшей лицо изысканным и узнаваемым.

Первой из сестер в Ивантеевку приехала Маня. Сначала помогала тете Лизе в родильном отделении, потом стала прирабатывать: брала заказы на пошив белья и модных платьев богатым дамам, которые уже в первые годы НЭПа желали выделиться из толпы, а модисткой тетя Маня была замечательной.

Еще в деревне Марию заметила горничная Шлиппе, ведь Маня с фантазией и природным вкусом обшивала всех своих сестер, в особенности требовательную и привередливую Шуру, что не могло остаться незамеченным. Пошив для горничной несколько платьев на руках и заслужив похвалы, Маня довольно скоро смогла приобрести ручную машинку «Зингер», разумеется, не без помощи родных. С этой машинкой она и приехала в Ивантеевку к Лизе. Сначала она обшивала себя и тетю Лизу. Конечно, это было отмечено окружающими дамами. Среди первых заказчиц была дочь пожилого вдовца, главного механика фабрики Арманд Александра Петровича Кузина. Она блистала в местном самодеятельном театре. В том же театре главные роли играл Александр Решетин, впоследствии ставший мужем тети Лиды.

Ольга с отцом жили в инженерном особняке, на некотором отдалении от фабрики, на берегу реки. У дома был маленький садик и выход к воде. Есть фотография, где дядя Саша со своим братом Константином, тоже инженером, сидят у дома за круглым столиком, на котором царят высокие пивные бутылки — такая удивительно мирная картина. Вот в этот самый дом тетя Маня через некоторое время пришла законной хозяйкой. Детей у них с Александром Петровичем как-то не случилось, и супруги взяли на воспитание мою маму и тетю Надю. Есть еще одна фотография: на крыльце дома Кузиных в кресле добродушествует Александр Петрович; рядом с ним стоит тетя Маня в гладком, с отливом, платье и с увесистой ниткой жемчужных бус, завязанных узлом на груди; здесь же ее сестры Таня и Надя. Обе они окончили курсы машинописи: Таня поработала в фабкоме и поступила в трикотажный техникум, а Надя устроилась секретарем-машинисткой у директора

фабрики имени Дзержинского, бывшей Ватреме, Смагина. Дядя Саша почувствовал в моей маме общественную жилку и всячески направлял ее, так она мне рассказывала.

Сам Александр Петрович Кузин был выходцем из рыбинского купечества, из волгарей. Сохранился портрет его отца. Седовласый крепкий старик запечатлен с томиком Тургенева в руках, как тогда было модно. У дяди Саши было несколько братьев, все они стали инженерами, исключая одного, избравшего военную карьеру.

Основной специальностью дяди Саши были паровые турбины. Я сужу об этом по тому, что в его библиотеке сохранилось огромное количество альбомов и чертежей с этими самыми турбинами. Ничего не понимая, я с огромным удовольствием их разглядывал — столько было в этих чертежах стройности и необыкновенной красоты! Когда во время войны я увлекся рисованием, все форзацы этих потрясающих альбомов заполнил своими каракулями, отдаленно напомиавшими самолеты и танки. Никто меня не осуждал — другой бумаги в доме не было. Существует еще одна фотография 1918 года, на которой Александр Петрович — в большой аудитории среди очень солидных людей инженерного вида. Кроме года, на фотографии никаких других пояснений нет.

Отчетливо помню, как во время войны вывозили библиотеку Александра Петровича. Строгие мужчина и женщина просматривали книги и деловито закладывали в ящики. Запомнил даже сумму — пять тысяч рублей, семье нужны были деньги. Когда ящики вынесли и люди ушли, дядя Саша продолжал недвижно и молча сидеть у опустошенного распахнутого книжного шкафа с растрепанной пачкой денег в руке. На полу остались лежать невостребованные книги и подшивки иллюстрированных журналов «Пробуждение» и «Нива» за четырнадцатый и пятнадцатый годы. Позже именно в этих журналах я познакомился с Мережковским, Амфитеатовым и, кажется, с Лесковым. Дядя продолжал молча сидеть, сжимая и разжимая в ладони деньги. В конце концов, тетя Маня заставила его выпить полстакана водки и увела спать. Невостребованным остался и альбом Третьяковской галереи с черно-белыми изображениями картин, напечатанными очень качественно. Это был мой первый и самый сильный восторг от русской живописи. Когда мама привела меня в Третьяковскую галерею, восторг был менее острым, поскольку я его уже ждал. Как приложение к подписке на те старые журналы — висела в комнате над трюмо цветная репродукция с картины Клевера «Зимний вечер»: над лодкой, вмержшей в ручей, склонилась стылая ветла, в пустынном небе огромная холодная луна. За годы войны краски пожухли и закоптились, картина приобрела коричневый оттенок. Этот декадентский пейзаж наводил на меня такую печаль, что луну я избрал как цель для стрельбы из лука. Дырка в ней появилась в сорок девятом. С дыркой картина провисела еще пятьдесят шесть лет, напоминая мой дурацкий подвиг. В пятьдесят седьмом году в Калужской картинной галерее я увидел оригинал этого грустного пейзажа Клевера. Он мне показался удивительно родным и трогательным, дырки на луне не было, захотелось домой.

Ивантеевский дом, где висела картина Клевера, объединил всех моих тетушек с их мужьями: Кузиных, Решетиных и безмужних Костиных. Думаю, что инициатором этой клановости, несомненно, была тетя Маня. Ее желание поддерживать связь даже с дальними родственниками было неистребимо. Регулярная переписка шла с родней в Калуге, Ленинграде, с прочими городами и весями СССР, даже с Ригой, где жила бывшая горничная Шлиппе. Обменивались выкройками и модными журналами. Основным спонсором покупки кооперативного жилья выступал дядя Саша.

Любопытна коммерческая особенность покупки этих кооперативных квартир. В 1932 году в стране начали строить жилые дома под

грифом ФУБР — фабричный улучшенный быт рабочих. Деньги, отдаваемые людьми на строительство квартир, возвращались, как только строительство было завершено, и люди вселялись в свои жилища. Но с этого момента квартиры переходили в собственность государства. Так наше объединенное семейство поселилось в девятнадцатой и двадцатой квартирах второго этажа четырехэтажного дома, расцвеченного лентами из красного и белого кирпича.

На часть денег, возвращенных за квартиру, решили купить Наде зимнее пальто. Сознывая ответственность операции, в Москву Надя отправилась с Таней. Вдогонку дядя Саша попросил купить хороший чай. Пальто искали долго. Сначала купили костяной ажурный гребень в Надины каштановые волосы, затем дорогуший чай в зеленой, граненого стекла, шкатулке, а подходящего пальто отыскать все не могли. Мать несла ларец с чаем, а Надя — чудесную гребенку на своей голове и в руках — сумочку с деньгами. Внезапно из какой-то подворотни выскочили беспризорники, сорвали драгоценный гребень, оставили лишь ручку от сумочки — остальное было вмиг срезано блеснувшей бритвой. Беспризорники, гребень и деньги растворились в небытии. Остолбеневшие сестры стояли посреди улицы, только мама продолжала прижимать чайный ларец к груди.

Дома дядя спросил, еще ничего не подозревая:

— Сколько стоит чай?

Надя дерзко ответила:

— Столько, сколько квартира! — и впервые горько разрыдалась.

Оставшиеся дома «квартирные» деньги Александр Петрович дважды пересчитал, аккуратно завернул в газету «Правда» и уложил в нижний ящик письменного стола — до лучших времен.

Лучшие времена настали в 1947 году. Грянула денежная реформа. До определенной суммы старые купюры менялись десять к одному, дальше курс обмена резко снижался. Торжественно открыли ящик письменного стола — повисла мхатовская пауза, никто не хотел верить своим глазам и не решался произнести первое слово — на дне лежала труха от газеты «Правда» и мышинные экскременты. Возвращенные за квартиру деньги превратились в миф с привкусом комизма и трагизма.

Следующее событие повергло меня в скорбь, и появились крамольные мысли о несправедливости денежной реформы. Из моей глиняной копилки ножичком извлекли три рубля мелочью, и я с недоумением и горечью узнал, что при обмене они превратятся в тридцать копеек. Вероятно, печаль моя была столь велика, что Надя из своей новой зарплаты подарила мне три рубля одной зеленой и хрустящей бумажкой. Не знаю, одобрил бы это известный педагог Макаренко, но помню тот жест доброты до сих пор. К тому же отменили карточки, многие продукты подешевели и зарплату выдали по старым расценкам. Народ вздохнул!

Другую душераздирающую историю, связанную с денежной реформой сорок седьмого года, мне рассказала мать.

По дороге в деревню мы остановились у ее школьной подружки Феонки в Сухиничах. Всю-то ноченьку Феона исповедовалась перед матерью и рассказала, как спекулировала во время войны, скрывая это от мужа, партийного руководителя района, как накопила целый миллион, а когда объявили реформу, не смогла его обменять. Ограничения, выдвинутые властями, направленные в том числе и на борьбу со спекулянтами, поставили жирный крест на вожденном миллионе. Мужу ничего не сказала, опасаясь его гнева. И, чуть не сойдя с ума, перевязанные тряпочками колоды денег бросала в огонь и молилась, истово клянясь подружке, что из огня корчил ей рожи и тоненько хохотал настоящий синий черт.

Всю войну и еще несколько лет мама работала председателем фабкома Ивантеевской фабрики имени Дзержинского. Однажды, inspectируя фабрику, ее заметила Мария Марковна Каганович — жена наркома путей сообщения, организатора строительства Московского метрополитена, влиятельного соратника Сталина. Мария Марковна возглавляла ЦК профсоюзов швейной промышленности СССР, и маму назначили ее заместителем, инспектором по подбору кадров. Дядя Саша считал, что мама избрала правильный путь.

— Надо наращивать обороты, — говорил он ей. — Сорок лет! Все впереди!

Мама уезжала в Москву рано, когда я только просыпался, торопливо обнимала и совала мне в руки марки с писем, приходивших в ЦК мешками со всего света. Цековский шофер дядя Коля на потрепанной «эмке» уже нетерпеливо подавал сигнальные гудки. Возвращалась мама, когда я уже спал. Да еще часто ездила в командировки по республикам СССР.

По выходным они вместе с Надей кипятили и затем стирали накопившееся за неделю белье, мыли с каустиком и выскребали широким ножом пол до белого дерева — краску было не достать. Наваливалась еще масса срочных и неотложных дел. Однажды Мария Марковна сделала маме замечание, что та после выходных приезжает на работу усталой, не отдохнувшей. Мама оправдывалась заботами по дому.

— Почему же вы не наймете домработницу? — брезгливо спросила Каганович. Вряд ли она знала, какую зарплату получают ее сотрудницы. От неделовых и личных контактов ограждал Марию Марковну приставленный охранник, провожавший ее даже до туалетной комнаты. Справедливости ради нужно сказать, что деньги займы до зарплаты своим помощницам она давала легко.

Когда я начал учиться во втором классе, мама решила, что мне требуется более пристальное внимание, и вернулась на фабрику в качестве начальника второго швейного цеха. Но связь с Марией Марковной не прервалась: помимо коротких писем и открыток с вопросами о производственных делах, они встречались на каких-то партконференциях. Время от времени Каганович предлагала вернуться на работу в ЦК, но маме не нравилась бумажная работа.

До восьми лет я находился под присмотром тети Мани. Целыми днями она шила или вышивала в стиле «ришелье». Целыми днями стрекотала машинка «Зингер». По всему дому были разложены ее ажурные творения на светлом полотне. Особо изысканные вышивались на черном. Должно быть, они становились особо востребованными. Иногда она останавливалась и призывала меня послушать по радио, черной тарелке, висевшей на стене, детские передачи. Среди них были гениальные, но я не всегда откликался на призывы тети Мани, о чем теперь жалею. Я довольно рано перестал ее слушаться. Однажды, сидя на горшке, уловил противоречия между тем, что она требует от меня, и тем необходимым делом, которое с полной серьезностью я произвожу в данный момент. Я вдруг понял, что можно слушать, но не слышать, и можно слышать, но не подчиняться. Так мы и жили с моей доброй и любимой тетей Маней.

Отсутствие мамы в моей повседневной жизни компенсировалось праздничными посещениями Третьяковки, Большого театра, тогда еще малодоступной Грановитой палаты в Кремле, елок и концертов в Колонном зале ЦК профсоюзов и даже первомайской демонстрации, где я сподобился лицезреть Иосифа Сталина во плоти, на трибуне Мавзолея. Помню напряженный шепот сквозь скандирование лозунгов: «Вон он! Вон он! В центре!» Среди серых правительственных фигур я различил белое пятно то ли шинели, то ли френча.

Все это организовывала мама. Она же устроила упоительную поездку в Москву и обратно на «эмке» дяди Коли. Ездили в госпиталь Бурденко, где Александру Петровичу сделали операцию на глазах по поводу катаракты. Мама сказала, что с восемнадцатого года здесь почти ничего не изменилось: та же широкая гранитная лестница, по которой на австрийском солдатском протезе спускался дядя Вася. Вспомнила, как нарастал металлический звук, заполняя все пространство болью родного человека, как, увидев ковылявшего по ступеням Васю, бабушка закрыла лицо руками и в голос, причитая, завывала... Неожиданно на верхней площадке лестницы появился грузный и величественный Александр Петрович, уже облаченный в длинное темное пальто. Под руки его вели две санитарки в белых халатах. Две черные ленты крест-накрест пеленали его глаза. Я вздрогнул, увидев дядю Сашу, по телу пробежал холодок: только что я видел весеннюю умытую Москву и цветущие деревья вокруг госпиталя — и вдруг эти черные траурные ленты...

Дядю Сашу с трудом громоздили и усаживали в машине. Казалось, что он совершенно беспомощен. Моя радость движения по московской брусчатке разом улетучилась. Любую колдобину теперь я воспринимал как собственную зубную боль. Дядя Коля вел машину очень аккуратно, но от всех ямок не убережешься. Александр Петрович время от времени спрашивал, что проезжаем, и мама ему рассказывала, а он комментировал, словно просматривал когда-то снятые собственные фильмы. Это обстоятельство несколько меня успокоило, я стал внимательно рассматривать проплывающую за стеклом столуцу. Наконец выехали на Ярославское шоссе.

— До выставки далеко? — спросил дядя Саша.

— Скоро, — ответил шофер.

— Тань, не забудь предупредить, очень люблю скульптуру Мухиной.

— Да вон она! — закричал я в восторге от собственной догадливости и взрыва чувств, производимого подлинным шедевром.

Под звонким солнцем стальные фигуры рабочего и колхозницы взметнулись над московскими крышами, еще выше в их сильных руках — серп и молот, как герб страны, в которой мне повезло родиться. Я чуть не заплакал от счастья и взглянул на дядю.

— Сто восемьдесят пять тонн четырехмиллиметровой хромированной стали, без малого — двадцать пять метров высоты!

— Да-а! — восхитилась мать. — Мой товарищ был в расчетной группе при монтаже, Коля Зайцев, в тридцать девятом внезапно исчез.

— Мам, а я родился в тридцать девятом?

— Да. В декабре, — ответила она как-то напряженно. — Коля, — обратилась она к шоферу, — пожалуйста, поосторожнее на ямках.

Вскоре дядя Саша умер от инфаркта, так и не успев вновь увидеть божий свет. Бабушка Саша хворала все чаще. Сделав что-то по дому, усаживалась на свою кровать, вздыхая, шептала:

— Чтой-то не дюжу...

Вскоре и ее не стало. Я по-прежнему жил под добродушным наблюдением тети Мани.

Мама после работы приходила уставшей и раздраженной: не успевали добить квартальный план, материалы приходили с нарушением ГОСТа, работницы приворовывали... Мама требовала мой дневник и иногда проверяла уроки. Бывало, она начинала на меня кричать, словно перед ней не я, а какая-то провинившаяся работница. Один раз я не выдержал и с горечью выкрикнул:

— Лучше отлупи, но не кричи так! — мама осеклась, но ругать продолжала, хотя и более сдержанно.

Однажды она начала кричать на меня прямо с порога, упрекая в позоре, которым я замарал всю нашу семью. Я не сразу сообразил, за что меня ругают, но по отдельным репликам с ужасом понял, что меня с моим закадычным другом Славкой Петуховым оклеветала мамина сотрудница. Из окна автобуса она узрела нас со Славкой у забора с матерными, писанными мелом и углем словами. Ей, несчастной, даже в голову не могло прийти, что мы — адепты идей «Тимура и его команды» Аркадия Гайдара, мы — тимуровцы, наша цель — борьба с хулиганами и сквернословием. Мокрыми тряпками в тот злосчастный день мы стирали со стен и заборов чуждые нашему благородному движению и пламенному порыву слова. Я тщетно пытался объяснить это маме, но, вероятно, в маминой памяти хранился давний эпизод, когда перед первым классом мы с тем же Славкой учились материться, и тетя Надя застала нас за этим по-мужски увлекательным занятием. Тогда мне здорово досталось, но тайные знания «великого и могучего» продолжали во мне жить и совершенствоваться, пока мы со Славкой не прочитали одухотворяющую повесть Гайдара, перевернувшую наше сознание. Я изо всех сил пытался пробиться к маминому разуму, твердил о Гайдаре и его Тимуре, но она пребывала в великих сомнениях. Казалось, она хочет поверить — и не может преодолеть какую-то психологическую грань.

Наконец, неуверенно и смущенно, она сказала:

— Принеси дневник.

Этот миг стал моим жизненным уроком и финалом нашего бесславного тимуровского движения.

На следующий день добрая тетя Маня, в знак великой веры в мое будущее, открыла большой ящик письменного стола, где хранились реликвии и богатства дяди Саши, ее дорогого Александра Петровича: золотые карманные часы с длинной, изящно сплетенной цепью, на конце которой был укреплен настоящий золотой ключик, похожий на ключик Буратино. То был подарок к юбилею от владельца фабрики. Лежал здесь и тяжелый серебряный портсигар с зеленым глазком — подарок рабочих той же фабрики, машинка для набивки папирос, визитные карточки, гравированные золотом, и рулон миллиметровой бумаги; но больше всего меня поразил большой набор цветных швейцарских карандашей в деревянной коробке: среди множества оттенков был даже белый карандаш...

Время шло неумолимо. Я завладел карандашами и миллиметровкой, часы добрая тетя Маня сдала в скупку для приобретения аккордеона немецкой фирмы «Хонер» для Шурика, сына тети Лиды, вернувшегося после службы в армии, где, став радистом, он в совершенстве освоил работу с азбукой Морзе. Обучение игре на сверкающем аккордеоне оказалось более трудоемким, чем Шурик предполагал, и постепенно роскошный инструмент начал превращаться в бутафорский — для семейных фотографий. В конце концов его пришлось продать.

Оставшаяся от часов цепочка с ключиком впоследствии пошла на покупку альта 1840 года туринского мастера Прессенда Рафаэля. На нем я играл целых тридцать четыре года, но об этом особый рассказ. Слишком хороша и драматична эта история.

Все в жизни имеет свое начало и свой конец... Дело только во времени. Эта, по сути, банальная мысль имела отношение и к Ивантеевке, с судорогами уходящей из жизни нашего семейства...

После смерти Нади, последней из моих тетушек, маму я перевез в Новосибирск. Через два года, в девяносто восьмом, я продал ивантеевскую развалюху-дачу с прекрасным садом, который когда-то посадили и лелеяли Надя с мамой. Значительную часть этих денег пришлось потратить на сильно обветшавшую квартиру. Алеша, мой сын, помогал как мог. Предполагалось, что

впоследствии эта квартира перейдет к нему, он давно мечтал жить и работать в Москве, и квартира была вполне достойным трамплином для начала.

Ремонт потребовал значительно больше денег, чем я предполагал. От трех тысяч долларов, вырученных за дачу, оставалось немного, а я еще рассчитывал всему нашему семейству, Маше, Алеше, жене Свете и себе, купить зимнюю одежду. И я решился.

Решился продать антикварную тумбочку из гарнитура конца девятнадцатого — начала двадцатого века, который когда-то приобрел дядя Саша. Это был ореховый гарнитур в стиле «русский модерн». Особенно хороши были резная горка, тумбочка и огромный буфет. Тумбочка была покрыта шпоном из карельской березы, имела изящно выгнутые дверцы, резное навершие с полочками и ножки, словно она привстает после пляски вприсядку. Но, при всей такой красоте, под тяжестью времени тумбочка утратила товарный вид, стала неказистой: дверцы в нескольких местах проел шашель, древесный червячок, одна из ножек подломилась, фурнитура отстала и треснула в нескольких местах. Что делать?.. Были клей, полироль, воск от свечей, в аптечке я отыскал зеленку, марганцовку и йод. Два дня я трудился, чтобы реставрировать произведение мебельного искусства большого мастера, придать ему лощеный вид. Самую большую сложность представляли дырочки от шашеля. Их нужно было не только закрыть, но и сравнять по цвету и фактуре с карельской березой. Работал я как алхимик: смешивал, пробовал на разных поверхностях, добавлял, смешивал и вновь пробовал. В итоге тумбочка превратилась в гармоничное создание, на полу валялись тряпки, вымазанные во все цвета радуги, руки были в воске — все приходилось делать пальцами, — мало чем отличаясь от тряпок. Я отошел и присел на стул, чтобы рассмотреть со стороны сотворенное мною чудо. Чудо сияло янтарем карельской березы, пахло пчелиным воском и полиролью. Я не мог оторвать глаз; сумбурно промелькнули кадры из жизни близких мне людей, когда-то населявших эту квартиру. «Не смей продавать, — сказал я себе, — ведь это начало конца». Но уже твердо знал, что продам — и завтра же!

Рассказывать о перемещении тумбочки из Ивантеевки в Москву не стоило бы, если б не один эпизод...

Я замотал мою драгоценность в байковое одеяло и приторочил веревками к верхнему багажнику с трудом пойманного старенького «Москвича». От сильного встречного ветра один угол одеяла выпростался и хлопал по боковому стеклу шофера, словно принуждая вернуться, но я уже был непоколебим.

Для окончательной оценки тумбочку выставили на яркое солнце у стены антикварного магазина. На этой пыльной площадке яркие краски карельской березы несколько пожухли, для них требовался другой интерьер и мягкий свет родного дома. Все же я успел заметить, как сверкнули глаза продавца.

— Восемьсот долларов, — твердо сказал я, и продавец нехотя согласился, выписал договор и квитанцию. Условились, что за деньгами я приеду через два дня, семнадцатого августа.

Утром семнадцатого, собираясь на электричку, я услышал по радио, что в стране объявлен дефолт. Это меня насторожило: весь путь до Москвы я соображал, как разговаривать с продавцом, отдаст он долларами или начнет всячески исхитряться, чтобы вернуть долг в рублях.

В магазине я увидел за спиной продавца двух дюжих молодцов. Перед этой мощной троицей стояли две растерянных интеллигентного вида старушки и пытались внушить продавцу, что старинный венецианский хрусталь не может быть оплачен рублями, только твердой валютой: долларами или фунтами. Молодцы за спиной продавца надменно молчали. Я вмешался в разговор и сказал, что курс рубля в течение дня будет падать, определить

его в данный момент невозможно, поэтому мы должны получить валюту, по договоренности.

— У нас нет валюты, — раздраженно сказал продавец, — можете подождать до завтра?

Молодцы угрожающе двинули плечами. Мы остановились на курсе девять рублей за доллар — накануне доллар обменивался один к шести. В моей сумке вдруг оказались семь с лишним тысяч — деньжищи!

День был ужасно душным и жарким. Или мне это казалось от пережитых страстей... Я медленно двигался от Фрунзенской набережной к метро. Мозг оступел, хотелось пить. И вот случай — кафе «Хлестакофф». Вхожу, на вешалке — старинные крылатки и картузы. За стойкой — половой с перекинутым полотенцем, завитые усы.

— Пожалуйста! Кофе, чай, суточные щи, расстегаи! Не пожалеете, останетесь довольны!

— Устал. Выпил бы кофе, черный.

— Пожалуйста в зал. Желаете внизу или на антресолях?

— Пожалуй, на антресолях, — мне хотелось рассмотреть зал. Он был почти пуст. Только в дальнем углу несколько человек за столиком тихо разговаривали. На стенах — старинные лубки и олеографии, возможно, стилизованные. На антресолях огромные полукруглые окна, хорошо видна улица и все, что внизу.

Ждал долго. Наконец принесли и поставили две свечи, но не зажгли. Я ждал, рассматривал улицу. Кто-то пришел и зажег свечи, положил две крахмальных салфетки в металлических кольцах. И вновь я ждал. Принесли сахарницу с большой горкой рафинада — мне бы хватило на месяц. И опять ждал... А вот и кофе в миниатюрной чашечке, очень горячий. Без пенки. Обыкновенный.

Бледно горят свечи. Почему их две — и две салфетки?.. Намек?.. На что?.. Какая-то жуткая обида на самого себя. Я — банкрот, я банкротчу дом, наследником которого стал. Нет дачи, продана самая красивая вещь из гарнитура, в моей сумке деньги, которые уйдут на пустяки. Горят, горят свечи...

Пустая чашка, измазанная кофе. Нетронутая горка сахара. Я жду счет. Передо мной на стол ложатся кожаные корочки. Открываю. Смотрю — пятьдесят рублей. По вчерашнему курсу — больше восьми долларов.

Сто сорок четыре чашечки паршивого кофе за предмет искусства, за пламень творчества и многие дни трудов неизвестного прекрасного мастера?..

— Так мне и надо! — выдохнул я. Положил деньги и, не гася свечей, вышел.

Ровно девяносто лет отделяют сей миг и дурацкую чашку кофе от того момента, когда в Ивантеевке появилась моя бабушка Лиза — повивальная бабка, завязывавшая пупки мне и моим двоюродным братьям и сестрам. А вот и я — разрушитель устоев, всего, что создавалось душой и стараниями моих близких.

— Не забывайте нас, приходите с друзьями, — в пояс поклонился разбитной половой.

— Не забуду! Прощайте...

Гоголь с портрета грустно мне улыбнулся и помахал своею шляпой.

(Продолжение следует.)

ОДНОЛЁТКИ

Р а с с к а з

Спать их уложили в разных машинах.

Артём скрючился на сиденьях одной из фур — при свете дня он не успел ее рассмотреть, но среди горящих фар и вспыхивающих огоньками зажигалок она показалась ему красной.

Галка провела ночь в КамАЗе.

Артёма мучила бессонница, он возился и ворочался — и как только за стеклами кабины забрезжил рассвет, сел и выглянул в окно.

Через запотевшее за ночь стекло он видел, как из кабины КамАЗа показался водила, спрыгнул на землю и сладко потянулся. Галка вылезла следом, достала зеркальце и заново подвела размазавшиеся глаза.

Край неба едва розовел, но было почти светло. Фуры непроснувшимися чудовищами толпились на огромном асфальтированном пустыре. От самой проволочной сетки и до горизонта тянулись за забором молодые березовые посадки. Будто на месте давних гарей.

Галка засунула руки поглубже в карманы ветровки, оттянув ее пузырем на животе, и зашагала между рядами фур. Голые ноги зябли на утреннем ветерке. Она дрожала и опасливо поглядывала на кабины фур, стремясь быстрее преодолеть расстояние до угла огромной стоянки, где виднелись забегаловка и туалет.

Когда она вернулась, отряхивая капли воды с влажных волос, Артём уже был внизу. Растерянно чесал затылок, моргал и щурился. Очки свои он разбил еще под Чебоксарами и без них почти всегда теперь выглядел растерянно.

— Ну как ты? — спросила она, подходя ближе.

— Ничего. А ты?

Она нервно улыбнулась и пожала плечами.

— Нормально. Он сказал, что может довезти нас до Омска. Поедем?

И она, и Артём невольно оглянулись на водителя, с фырканьем обливающегося из канистры. Его незагорелое тело белело в молочном утреннем свете.

Накануне они сели в его машину уже в сумерках, затопивших окрестные перелески и трассу на Казань.

КамАЗ, казалось, пролетевший мимо, резко съехал на обочину. Галка подбежала, глотая поднявшуюся за ним пыль, и, взобравшись на подножку, не переводя дыхания, выпалила:

— Привет! До Казани возьмете?

Водитель медленно, как во сне, кивнул.

Она, вися на подножке, оглянулась на рюкзаки, темневшие на обочине, и на спешащего из перелеска Артёма.

— Но я не одна. Возьмете двоих?

Водитель кивнул снова. На нее из глубины кабины смотрели его внимательные глаза. Она улыбнулась и радостно помахала Тёмке.

Это был двадцать какой-то по счету их водитель — Галка давно сбилась и начинала уже забывать, кто подвозил их под Владимиром, а кто — под Чебоксарами, и с какого именно водителя они с Тёмкой начали называть себя нижегородцами. Парню и девчонке из Нижнего Новгорода и в самом деле ехать стало проще. Впрочем, подвозили их в основном местные, и продвигались на восток они слишком медленно.

Дальнобойщики либо вообще не останавливались на них взглядом, либо на пальцах показывали, что возьмут одного. Эта фура была первой, что остановилась на их призыв, и Галка гордилась тем, что именно она «стопанула» ее.

К стоянке под Казанью подъехали уже ночью. В свете фар на капоте вскрывали ножами консервные банки, из кружек, облепленных веточками и черной гарью костров, пили чай и глотали буроватую крепкую дрянь, плеснутую им из бутылки. Галка отливала свою порцию Артёму, боясь пьянеть в темноте, на этой чужой, кишашей фурами стоянке, разрезанной огнями фар, смехом, гоготом и матом шоферюг. Но и от той пары глотков, что сделала, в голове у нее зашумело.

Налетел утренний ветер, и она вздрогнула, плотнее кутаясь в куртку. Тёмка растеряно переступал с ноги на ногу, как слон. Или жираф. И смотрел под ноги.

— А ты как думаешь? Ехать? — наконец спросил он.

Галка еще раз взглянула на водителя и отвела глаза.

— Ну, все-таки до самого Омска... Сколько мы еще будем так до него добираться?..

— Ну тогда поедем?..

— Поедем, — Галка передернула плечами.

Вчерашняя стоянка выглядела теперь обманчиво мирной, но Галке не терпелось уехать отсюда. Кое-кто из водителей уже заводил мотор, по-утреннему хмуро глядя по сторонам, две или три фуры на их глазах уже вырулили со стоянки.

Водитель закончил умываться и подошел к ним.

— Ну... мы поедем, — объявила Галка и попыталась улыбнуться.

Водитель кивнул.

— Ехать будем весь день, — предупредил он и полез в кабину.

Говорить с утра не хотелось — и, чтобы не смотреть на соседей, Галка смотрела в окно. От трассы песчаными и асфальтовыми змейками убегали вдаль дороги местного назначения и оставались позади раньше, чем Галка успевала подумать о том, куда они могли вести. Вскоре где-то за пределами видимости по левому борту проплыла Казань.

Около полудня КамАЗ свернул на проселки без опознавательных знаков. Ухабистая дорога пылила красной иссохшей глиной, покрывая ржавым налетом траву и заросли придорожного кустарника. Солнце стояло в зените и изнывало жаром. КамАЗ всей многотонной скрипящей и скрежещущей тушей подскакивал на ухабах, приземляясь с металлическим грохотом, покуда не встал, подняв тучу пыли.

Водитель спрыгнул на землю, достал перепачканную соляжкой канистру и скрылся. За медленно оседающим облаком пыли Галка заметила другую машину. Фура выглядела покинутой и была занесена песком цвета высохших эритроцитов. Водитель фуры, видимо, давно их поджидал.

— И как они договариваются о встрече без мобильных и раций?.. По следам в пыли, что ли, вычисляют друг друга? — проворчал Артём.

Галка, сощурившись, посмотрела на солнце, на запыленные кусты и уселась на ступеньку, выставив ноги под палящие лучи. Ноги были колючие и грязные. Она провела по ним рукой и недовольно поморщилась. Потом достала зеркало.

— Артём, хватит сидеть! — зло прикрикнул водитель, и, прежде чем Галка успела оглянуться, Артем исчез в полуденном мареве.

Галка выглянула из-за кабины и увидела, как, подгоняемый водилой, Артём таскает канистры с соляжкой. Вернулся он, понуро оттирая мазут с длинных пальцев и ворча что-то себе под нос.

Галка сидела на ступеньке и охотничьим ножом точила карандаш.

— Сломался, блин, — пояснила она, кончиком ножа указав на свой недокрашенный глаз.

Артём уселся рядом.

Водитель вернулся в кабину не раньше чем через час и молча завел мотор. Вновь затрясло. Их, как деревянных болванчиков, швыряло друг на друга в такт рывкам машины. Голые Галкины ноги прилипали к расплавленному дерматину сиденья. За окном мелькали сожженные солнцем заросли в африканской красной пыли. Июльскому дню, казалось, не будет конца.

Ближе к вечеру на горизонте показались Уральские горы.

С натугой КамАЗ пополз вверх, потом машину закачало, как на волнах. С обеих сторон волновалось беспокойное море залитых светом пустых холмов.

— И это Урал? — фыркнула Галка.

— Он везде разный, — усмехнулся в ответ водитель. — На Южном Урале горы, москвичи на горных лыжах катаются.

Галке показалось, что он сказал это как-то по-особому, недобро, и она поерзала, невольно переглянувшись с Артёмом. И еще внимательнее стала смотреть за окном.

КамАЗ не останавливался до самой ночи, как заплombированный вагон, летел вперед. Постепенно, очень медленно солнце проплыло сгустком жара над крышей и, наконец, сползло к ним за спину, длинными лучами пронзив кабину и полыхнув в зеркалах заднего вида.

Лицо водителя посерело от усталости, нездоровый натужный пот скопился в углублениях изможденного лица и дряблого тела. Но выцветшие глаза, воспаленные вниманием, продолжали впиваться в дорогу.

Ночь напозла на КамАЗ со всех сторон. Горела въедливым светом только лампочка в кабине. Артёма в его углу баюкала голубая мгла, льющаяся с темного неба и недоступная разрушающему свету лампочки. Ее пыточный свет поймал в силки водителя и сидящую рядом Галку, образовав тесное пространство ночного бдения.

Галка устроилась поудобнее, но держала глаза открытыми, чувствуя, что тоже не имеет права спать. Она смотрела в темноту, разрезаемую фарами дальнего света.

Фары выхватывали из мрака канавы и заборы, КамАЗ, громыхая, пронёсился по извилистым улицам какого-то пригорода.

— Что это? К чему мы подъезжаем? — спросила Галка.

— Тюмень. Раскуришь?

Одной рукой водитель покопался в бардачке и вытащил сигаретную пачку, другой крутанул руль, вписываясь в очередной поворот.

Она с готовностью кивнула.

— Если хочешь... — кивнул он на пачку.

У Галки с Артёмом были еще свои сигареты. Но она подумала и вытащила из водительской пачки вторую.

Водитель курил, сунув сигарету в угол рта. Дым уносило в ночь через опущенные стекла.

— Видел я ваши паспорта, — сплюнув за окно, произнес, наконец, водитель. — Вот вы сели в мою машину, едете, врете мне, что вы из Нижнего... Это по-людски? — спросил он.

Галка не ответила.

— И какой ты собиралась мне адрес дать? Или вообще не собиралась?

— Я собиралась... Ну, тетки своей адрес... Чтобы она мне пересылала.

Водитель махнул рукой, призывая ее прекратить эти лживые оправдания.

— Видел я других автостопщиков... Легче они... Как бы это сказать... А ты...

Он перехватил сигарету левой рукой.

— Зачем это тебе? Зачем он вообще тебя с собой потащил?

Галка хмыкнула.

— Он потащил?! — она оглянулась на Артёма, но тот спал. — Это вообще моя идея была. Он... Как же!

Водитель покачал головой.

— Ну и зачем тебе нужно так подставляться? Чтобы мужики к тебе всякие приставали...

Она в раздражении махнула рукой.

— Что мне теперь, не ездить никуда, раз я?... — и она кивнула вниз, на свое тело.

Водитель рулил. Галка смотрела вперед, за окно, и вскоре ей стало казаться, что никакого разговора и не было. Водитель протянул руку и включил маленький переносной телевизор.

Телевизор трещал, изображение дергалось и тонуло в помехах.

— Мы не заедем в Тюмень? — спросила Галка.

— Краинами проедем, — процедил водитель.

Тюмень вскоре осталась позади и сбоку, и эфир потерялся в помехах окончательно. Из динамиков раздавался только бесконечный и мерный треск. Водила выключил приемник, и снова был слышен только скрип и скрежет машины.

В разбавленном розовато-сером свете мелькнули восточные окраины дымящей трубами Тюмени и вновь поплыли в предрассветном тумане за окнами безлюдные зауральские равнины.

За Тюменью небо окрасилось розовым. Потянуло предутренним холодком. Сонными замедленными движениями Галка достала со спального места ветровку и, как в плед, закуталась в нее, подтянув колени к груди.

На ее глазах солнце, отлепившись от восточного края земли, медленно поползло вверх по небосводу, пока не врезалось в лобовое стекло кулаком жара и слепящего света. Галка зажмурила слезящиеся глаза и больше не смогла их открыть, чувствуя, что солнце все еще смотрит на нее в упор.

День разгорался. Солнце поднималось все выше и начало накалять воздух. В куртке стало жарко и потно, и она, не открывая глаз, скинула ее, подставив кожу потоку лучей. Пропитанная потом и задубевшая одежда липла к телу, вызывая навязчивые мечты о воде, прозрачной, прохладной, проточной. Где-то на границе поля зрения Тёмка, разбуженный солнцем, чесал лохматую голову и тер глаза, недовольно морщась и зевая. Временами она забывалась сном, и тогда ее тело болтало по кабине.

Часам к десяти КамАЗ зарулил на одну из придорожных стоянок. Водила вытащил канистру и, скинув рубашку, с фырканьем облил себя водой.

— Пойдешь, Галина? — предложил он.

Галка с готовностью прыгнула на землю, но в ту же секунду в ужасе и смущении остановилась. Водитель, держа в руках канистру, ухмылялся.

— Артём, иди, ополоснись, — позвал он.

Тёмка стянул с тощего загорелого тела майку и подставился под струю воды.

— От тебя уже скоро пахнуть начнет! — издевательски продолжал водила, поглядывая на Галку.

— Да ополоснись, чего ты... — неуверенно выдавил из себя Артём.

— Я раздеваться должна? — тихо прошипела она, бешено глядя на Артёма. — Здесь?!

— Ну, хоть в купальнике... — пробормотал он.

Она затравленно посмотрела на них обоих — и снова заметила, как доволен ее замешательством водитель.

— Вот уж не думал, что ты так воду не любишь. Ты и дома так редко моешься? — загоготал он.

Галка вспыхнула и, развернувшись, ушла к машине. Артём расстроено пошел следом.

— Тёмка, короче, я у окна сяду... — решила она. Артём покосился в зеркало заднего вида на водилу, но молча уступил ей место.

Она недовольно плюхнулась на сиденье и подтянула ноги к груди.

— Я даже не знаю уже, какого черта мы едем, — проворчала она. — Тебе вообще все равно, доедем мы или не доедем...

— Мы уже за Уралом... может, повернуть обратно?.. — отозвался Артём и с надеждой поднял на нее большие близорукие глаза. — Сядем в Омске на поезд — денег на билеты у нас еще хватит... Помнишь, мы не верили даже, что до Урала доберемся? — улыбнулся он.

Она раздраженно взмахнула рукой.

— Это ты не верил. А мне и верить не надо было. Я с самого начала знала, что еду на Алтай.

Тёмка не ответил и какое-то время молчал.

— Да?.. — наконец произнес он.

— Ну да, — недобро усмехнулась Галка. — Важно было вытащить тебя из Москвы, — она хихикнула, — пока ты не испугался и не передумал... Что, хочешь повернуть?

Она свернула кошкой в своем новом углу и, не дожидаясь ответа, закрыла глаза. Уже сквозь сон она почувствовала, как машина дернулась и стала набирать скорость.

— Галь, где твой паспорт? Галка? — Тёмка тряс ее за плечо.

Машина стояла, снаружи слышались голоса.

— Блин, Артём, там же, где и твой, — пробормотала Галка и заснула снова.

Кажется, на этот раз она спала долго.

В стекло с тихим стуком и жужжанием билась оса. Звук повторялся, видимо, довольно давно; очевидно, он и разбудил Галку. Оса билась в окно с монотонным упорством. Стекло в белесых подтеках и разводах напомнило Галке окно на старой кухне. И звук был звуком домашней скуки.

Она протянула руку — и оса тут же ужалила ее. Пульсирующая распирающая боль моментально вспухла в пальце и отдалась до локтя. Оса забилась в агонии, скорчившись в кольцо и отчаянно жужжа.

— Черт! Блин! Гадство! — Галка затрясла рукой и тут же сунула палец в рот. Это разбудило ее окончательно.

Артём, согнувшись колесом и уткнувшись носом в колени, дремал. Водитель, не отрываясь, смотрел на дорогу.

За окном в небе ходуном ходили тучи. Похолодало, и оттого, видимо, в кабине и были подняты стекла. Горячим распухающим пальцем она инстинктивно ощупала внутренности КамАЗа в поисках прохлады, но все детали внутренней обивки были прогреты за жаркие дни, и от тепла боль запульсировала с новой силой.

— «Я ее нечаянно прижала, и, казалось, умерла она. Но конец отравленного жала...» — Галка чертыхнулась. — Вертится и вертится в башке...

Никто ей не ответил.

Артём открыл глаза, сонно вздохнул и закрыл снова.

КамАЗ ехал и ехал.

После обеда машина нырнула в полосу дождя. Вдруг разом потемнел и намок асфальт, дождь замолотил в лобовое стекло — и заползали по нему, вязко мося влагу, дворники.

Туча стояла на месте, заливая безымянные поля и перелески. Минут двадцать подряд КамАЗ разрезал дождевую стену, а потом так же резко вынырнул с другой ее стороны. Асфальт был сух, и в разрывах туч виднелось ясное небо. Последние капли сползали по стеклам, сверкая на солнце и высыхая, не добравшись до нижней щели. Водитель опустил стекло со своей стороны и закурил. Ворвавшийся в кабину ветер принес запах мокрого леса.

Артём скосил глаза туда, где сидела Галка. Она уткнулась в атлас автодорог, на ту страницу, где помещалась таблица региональных автомобильных кодов.

— Из Омска, — ни к кому не обращаясь, сказала она, глядя вслед попутной машине, и сверилась с атласом.

Артём вскинул голову и посмотрел на дорогу, но машина обогнала их и была уже далеко.

— Артём, а вот как вы собирались и дальше врать, что вы из Нижнего? — не отрывая глаза от дороги, поинтересовался водитель.

— Ну... Мы не думали, что паспорта так часто придется вытаскивать...

— И главное, зачем вы это делали? — перебил его водитель.

— Из Тюмени, — Галка сверилась с атласом и кивнула самой себе.

Артём машинально взглянул на дорогу.

— Ну... все так резко реагировали на слово *Москва*, прямо в лице менялись, — пробормотал он, опуская голову.

Галка ухмыльнулась из своего угла.

— Пермь, — констатировала она.

К закату КамАЗ наконец свернул на ночную стоянку. Из полудремы Галку вырвал гудок. Впереди, в свете фар замаячила пестрая одежда, мелькали голые женские ноги.

— Спроси, работает? — кивнул Артёму водитель. Голос у него был злой.

Артём растерянно оглянулся.

— Спроси у нее! — грубо повторил водитель.

Лицо Артёма выражало крайнее смущение, почти отчаяние, но он перегнулся из окна и нерешительно окликнул девушку:

— Э-э... Ум... Вы... работаете? — выдавил он из себя.

Послышался смех.

Красный как рак Артём откинулся обратно на сиденье.

— Что сказала? — спросил водитель.

— Ничего, — буркнул Артём и отвернулся.

За ужином Артём проглотил резиновую котлету с пюре и, никого не дожидаясь, поднялся из-за стола. Галка молча проводила его взглядом.

Ночью она много раз просыпалась и слышала, что он тоже не спит. Потом место для ног освободилось, и тихо хлопнула дверца кабины. Галка засыпала и просыпалась еще не раз в эту ночь, и Тёмкино место каждый раз оказывалось пустым.

На рассвете она подняла всклокоченную голову и огляделась. Стекла изнутри запотели, кабина была пуста. На секунду она испугалась, что Тёмка ушел совсем, но потом увидела на полу оба рюкзака и успокоилась. Она вылезла из кабины, дрожа от ночного еще холода и растирая себя руками. Сонно поглядев кругом, она достала из кармана зеркало и взглядела в него. Она почти не различала своего отражения в туманном маленьком зеркальце,

но лицо показалось ей усталым и потасканным. Она достала карандаш и почти наугад стала рисовать себе глаза.

В дальнем конце площадки зашевелилась чья-то тень. Галка вздрогнула и выпрямилась, но тень уже вытянулась в знакомую длинную фигуру, и Галка узнала Артёма. Он подошел и молча встал рядом.

— Я тут бродил всю ночь, ждал рассвета. Хотел восход солнца сфотографировать, — наконец поделился он.

Она зевнула.

— Клево.

Артём вздохнул и для храбрости закурил.

— Слушай. Я думаю... надо сказать ему, что мы сами до Омска доберемся... Может, поедем чего-нибудь в кафешке... и свалим?

Галка оглянулась с сомнением на двери забегаловки, слабо освещенные изнутри.

— Так что? — Тёмка протянул руку и коснулся ее щеки. — Здорово же было. Жечь костры, купаться... Пиво местное... пить.

— Неудобно, — наконец произнесла она и отстранилась.

Артём выдохнул дым и сплюнул.

— Нормально, — резко ответил он.

Галка с удивлением посмотрела на него.

— Доедем до Омска, а там что?..

— Поедем дальше, — подумав, ответил Артём. — Мы уже много проехали, половину пути. Глупо теперь поворачивать назад... Поедем уж до Алтая.

Галка хотела что-то ответить, но усталость и бессонница взяли свое. Она прислонилась спиной к кабине и прикрыла глаза.

— Ты уже хочешь ехать? — сонно спросила она.

Ответа не было так долго, что ей пришлось, наконец, открыть глаза. Артём смотрел в сторону восходящего солнца.

— Знаешь... да. Теперь хочу, — ответил он и повернулся к Галке. — А ты уже нет?

— Я хочу спать, — покорно отозвалась Галка и снова закрыла глаза. — Так что? Мне сказать ему, что мы уходим?

Его голос, когда он ответил, показался ей почти незнакомым.

— Не стоит, — сказал он. — Я сам с ним поговорю, а потом подойду с рюкзаками в кафе... Иди туда, я скоро, — добавил он.

Она пожала плечами, а потом вдруг выпрямилась и с подозрением уставилась на Артёма.

— Ты с ним драться, что ли, собрался? — догадалась она.

— А?.. Нет... А что, есть из-за чего?

Галка пожала плечами.

— Нет. На самом деле — нет.

— Ну и отлично, — кивнул Артём.

— Точно не будешь? — еще раз уточнила она.

— Не буду, не буду...

Галка, подумав, оттолкнулась спиной от кабины и, засунув руки в карманы бриджей, побрела к кафе. Оборачиваясь, Галка видела, как на фоне встающего солнца вырисовывается Тёмкина длинная фигура. Он стоял у машины и курил.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА СИБИРИ

Республика Тыва

Кызыл-Эник КУДАЖЫ

УЛУГ-ХЕМ НЕУГОМОННЫЙ

Главы из романа-тетралогии

Старики Сульдемы кочуют

Той весной ниже Даштыг-Кежига стояли всего две юрты. Старики Сульдемы жили с сыном Саванды на прежнем месте.

В разгаре был сев, кусты караганника покрылись мелкими желтыми цветами, а на белых ивах, наполнившихся земными соками, появились нежные серебристые сережки, трепетавшие при малейшем ветерке.

Детей у стариков Сульдемов много. Несмотря на бедность, всех вырастили, всех поставили на ноги. Можно бы и отдохнуть. Да где уж там, переженились, разъехались кто куда. Словно зерно рассыпалось. Старики больше о Буяне, которого увели под конвоем, беспокоятся, чем об остальных сыновьях — непутевом бедняке Саванды или зажиточном Соскаре, больше, чем о младшеньком Хойлар-ооле, год назад уехавшем на золотые прииски.

Даже камень, брошенный в воду, и тот оставляет след. Но с тех пор, как арестовали Буяна, обвинив в контрреволюционной деятельности, совсем ничего о нем не слышно.

А Айна? Единственное утешение, оставшееся от умершей дочери — эта девочка, внучка, выросшая на руках дедов. Как-никак девушка, а вот уже четыре года не появляется дома. Поехала учиться и пропала, как скользнувшая из лука стрела, как одичавшая верблюдица. Совсем редко приносили помятые письма в растрепанных конвертах, где внучка хвасталась, что выучилась грамоте, учится на эмчи-лекаря. Кое-как написанные Саванды ответы уходили в Москву, и было неизвестно, получила ли Айна хоть один. Нынче, наконец, дождалась очередного письма от девочки. Пишет, что вернулась в Туву, работает в сумоне Эми.

Старики никогда не оставались одни. Ребятишки Саванды, а их больше десятка, так и вьются вокруг деда с бабушкой. Чолдак-Ой, единственный сын Буяна, живет далековато, и то прибегает, чтобы переночевать у деда с бабкой хоть несколько ночей. С самого рассвета дотемна у стариков времени нет присесть — юрта всегда полным-полна, и Сульдемы не делают, где чьи

дети: все свои, все любимые. И еда в юрте Сульдемов — хоть и простая, но вкусная.

Вроде нет большой беды, и не болят Сульдемы, и не одряхлели, а тревожно на душе.

Совсем неожиданно в аал приехал Соскар с детьми и женой Ончатпой. Были они в шелковой одежде, и продукты привезли, и араку. И — вот странно — тут же прибыли сто лет носа не казавшие земляки Дарган-Хаа с Чочай, тоже нарядно одетые. Лошади их тоже были нагружены разными гостинцами.

Старики засуетились.

— Дети уши прожужжали о дедушке с бабушкой, — сияла красавица-невестка Ончатпаа.

— А мне-то как хотелось всех вас повидать, — тихонько заплакала Кежикмаа, вытирая слезы рукавом.

Невестка еще больше похорошела. Это уже не изнеженная маленькая дочка феодала Опай чалана оюннарар, а круглощекая женщина с высокой грудью, уверенной походкой. Но те же черные глаза сверкают на белом лице, тот же задорный характер, как магнитом притягивающий людей. Улыбается, сверкают белоснежные зубы. А как говорит! Слушать и слушать хочется Ончатпу.

— Рассказывай, доченька, рассказывай, — раскраснелась от удовольствия Кежикмаа.

Хлопнула дверь юрты, вбежал Саванды, плюхнулся возле огня.

— Патрон-сагрон есть, партизан Саванды тоже есть. Как узнал, что приехали, бросил свою мотыгу — и сюда. Жена тоже сюда идет потихоньку. Я и богат и себе не рад, — поразился, заметив деспи, полное мяса. — Говорите, есть основание есть грудинку, есть повод есть курдюк?

Дарган-Хаа расхохотался:

— Есть основание... есть повод!..

— Дарган! Тебя не узнать! Ты моложе меня выглядишь...

— Конечно, — заметил Соскар. — Он теперь у нас хозяин тайги. Чистый воздух, лекарственные травы. Араку не пьет, табак не курит. Женился вот.

Только теперь Соскар заметил, как плохо выглядит Саванды. Старше отца. Желтый нос еще больше заострился, на голове остался жалкий пучок светлых волос, глаза опухли, а губы истончились в ниточку. Бледный, будто ни капли крови в нем нет, осунулся.

По сравнению с ним Соскар — как молодой бычок: шея крепкая, смуглый, кулаки напоминают тяжелые песты. Из голоса исчезли печальные нотки, которые появились после гибели жены во время пожара. Печаль развеяла красавица Ончатпаа.

В этот раз никто не говорил о прошлом. Какой в этом смысл? Если вспомнишь, будет эта история выше горы с одинокой лиственницей на вершине, не поместится в реке...

Поели, поговорили. Под конец Соскар решительно сказал:

— Мать, отец, готовьтесь.

— Куда? Что такое? — всполошились старики.

— К переезду. Мы построили вам теплый дом, — нежно сказала Ончатпаа. — Он совсем готов.

Лишь на миг просияло лицо Кежикмы и сразу посерело:

— Куда я пойду из своей бедной юрты? Что делать с этой оравой? Что будет с внуками? Как я без них проживу? Нет, нет, не могу, не просите. Сами живите на здоровье в теплом и светлом доме.

Кежикмаа заплакала. Все сидели, растерянные.

Назавтра уговоры продолжила Чочай. Еще недавно она баграчила, пасла скот зажиточных людей, доила коров, мяла шкуры. Росла сиротой, не было у нее ни сестер, ни братьев. Потом встретила мужчину вдвое старше, стала его женой, семья обзавелась юртой. И хоть Дарган-Хаа почти безвылазно сидит в своей тайге, народ дивится: Чочай рождает одного за другим, словно коза.

— Переезжайте, тетушка, — убеждала она Кежикму. Не бродяжка, ждущая подачки по аалам, замужняя детная женщина просила, и голос ее был тверже и увереннее. — Сколько можно нянчиться с внуками? Здесь уже все встали на ноги. Теперь пора водиться с моими детьми, кадам. Смотри, какие они — будто желторотые птенчики. Нет нигде стариков с такими добрыми руками, как у вас с Сульдемом.

— Не перевал перейти, не речку переплыть, — поддержал жену Дарган-Хаа. — Ну что за расстояние между нашими аалами? Рукой подать. Если боитесь, что в доме будет жарко, давайте вашу юрту поставим рядом. Не понравится — обратно вас привезем.

Старик Сульдем, с шумом пососав старую трубку из таволги, погладив козлиную бородку, наконец веско произнес:

— Переезжаем.

Чымчак-Сарыг, хоть и женщина, но все равно Саванды. Заплакала навзрыд. Несколько раз на дню, бывает, затоскует, заволнуется, а через некоторое время опять улыбается. Люди удивляются — как ребенок, глаза на мокром месте. Как эта женщина умудрилась нарожать детей, уму непостижимо.

— Сами уезжайте, — вдруг вскрикнула она. — Вы подумали, каково будет моим детям без дедушки и бабушки?

Но раз Сульдем сказал слово, оно — как зарубка на дереве.

Переезд — пустячное дело, если есть сильные мужские руки. Вмиг старая юрта Сульдемов осела. Дээвиир, ынаа легли наземь, волю были запряжены, а утварь погружена. Вскоре под плач детей и лай собак процессия тронулась.

Чымчак-Сарыг все тараторила вслед:

— Негоже старикам оставлять насиженное место...

— Негоже говорить лишнее, если имеешь язык, жена, — мягко сказал Саванды. — Тем более если имеешь аал и детей.

Хоть и непутевый Саванды, но неглупый.

Чымчак-Сарыг окинула взглядом свою одинокую юрту, вытерла ладонью слезы. Остались лишь самые младшие. Старшие, кто пешком, кто верхом, отправились провожать дедушку с бабушкой. Странно, что деды и внуки больше привязаны друг к другу, чем родители и дети. Так странно и мудро устроил всевышний. Может быть, лишь поэтому род людской не прерывается.

Чымчак-Сарыг вышла из юрты с деревянным ведром. Без слез, сияя улыбкой, она шептала:

— Оршээ, пусть будет гладкой дорога стариков, пусть очаг их всегда ярко пылает. Пусть хорошо им живется на новом месте, пусть будут здоровы внуки. Пусть скот будет жирным, пусть всегда будет у них молоко!

Держа в одной руке ведро с молоком, в другой она сжимала ложку-девятиглазку с треснувшей ручкой, и молочные брызги как благословение летели вслед уехавшим.

Аал Соскара

В устье Барыка на Кулузун-Аксы разрастался новый аал — аал Сульдема со множеством скота. Конечно, на самом деле хозяином нового аала был Соскар. И люди говорили: аал Соскара. Кто с восхищением, кто с завистью.

Жена Соскара, Ончатпаа, была очень похожа на супругу русского купца Семена Домогацких, раньше торговавшего в этих краях, Серафиму Мокеевну. Чистоплотная, аккуратная, со вкусом одетая, и даже походка была та же: будто лебедушкой плыла по жизни статная Ончатпаа.

Соскар молчалив, слов на ветер не бросает. Был бы болтливым, как брат Саванды, или самолюбивым, как Мангыр чейзен, хвастался бы напропалую: мол, мой Кулузун-Аксы. И то люди стали его продергивать в частушках: «устье Кулузуна — в руках бирюка Соскара»... Кулузун — просто ручеек. Но это место с сочными травами для скота, с водопоем. Не случайно бывший батрак, научившийся у купца, как принести благосостояние в семью, выбрал именно эту местность.

Кто только не живет здесь! Для начала Соскар пригласил Дарган-Хаа с Чочай. Старший сын стал совсем взрослым, женился и юрту свою поставил здесь же, рядом с родительской. А уж сколько малых ребятишек в семьях! Раньше они в чреве помещались, позже белый свет заполняют.

Вот и старых родителей, Сульдемов, перевезли. И старшие ребятишки Саванды перебрались ближе к Соскару. Как магнит притянул он к себе всю семью, собрал вместе.

Дети растут, что ни год — свадьба, новая юрта. А если новая юрта, то и новорожденные дети из каждой подают голос. Какой тут аал? Тут целое большое село.

Все в порядке вещей, испокон века так повелось, дети растут, женятся, своих детей заводят. Но спокойную жизнь нарушило событие, от которого ахнули не только в устье Барыка, а во всем сумоне: Хойлар-оол вернулся с золотых приисков и с собой русскую невестку привез, которая тут же родила, старикам на радость.

С удовольствием попивая чай, раздумывавшаяся Кежикмаа ворковала домашним:

— Маленький орус появился. Интересно, вырастет, как будет разговаривать? По-русски или по-тувински? Если по-русски, совсем пропаду, языка-то не знаю!..

— Ничего, — ободрял жену Сульдем. — Я и в Монголии по-тувински говорил. Люди есть люди, дело не в языке.

Вот так под крылом Соскара вырос аал в Кулузун-Аксы. Целая коммуна. Только названия нет.

Соскар руководил своим хозяйством, как научился у Севээн-Оруса. Даже маленькие дети заняты: девочки доят коз и овец, мальчики пасут отару. Взрослые строят, сеют, косят. В этом аале даже крик петуха слышится, куры кудахтают, свиньи возятся на лугу, белые утки, пестрые гуси появились на пруду. Свадьбы справляют всем алом, для молодых тут же дом строят или юрту ставят. Чаше юрту. Как без нее? Дом за скотом во время перекочевки за собой не потащишь.

Но за русскую невестку, Лизу, сильно переживали. Как она с нежным русским ребенком в юрте? Замерзнут ведь. Лиза только повторяла:

— Ничего, ничего, не волнуйтесь. И в юрте проживем.

Соскар посмотрел-посмотрел — и поднял на ноги родственников. Стали строить дом для Лизы. Все лето слышался стук топоров, песни пилы. К зиме дом был готов. Особенный дом — не казанак, не четыре стены, этот дом сам Соскар рисовал с умницей Ончатпой. Губановы приезжали из Баян-Кола,

советовали, как лучше. Даже кое-что из мебели привезли и семена овощей. Саша поставил четыре столба, чтобы лошадей подковывать.

Трудно было с другим. С каждым годом росли налоги, как и план сдачи продукции государству. Языки новых сумонных начальников Ногаан-оола и Хойтпак-оола замерзали при беседе с единоличниками. Вроде шибко и не зовут в коллективное хозяйство, но размер налога сам за себя говорит. Мало того — границы земли частников все теснее и теснее. Ни в каком законе не писано, а хорошей земли, чтобы сеять хлеб, косить, скот пасти, будто не осталось.

Кто, не выдержав, вступал в тожземы, кто откочевывал дальше и дальше, до Монголии. А Ногаан-оол и Хойтпак-оол усталости и жалости не ведали. Так и скакали на личных лошадях по аалам, ничего не упуская из виду, так и не спали, не ели толком, араки в рот не брали. Так и не просили у своего начальства дополнительной платы. Их не просто уважали — боялись, не понимая.

Репрессии в школе

Однажды в Ийи-Тал приехал симпатичный паренек Сема Оюн. Учитель. В военной форме, талия перепоясана желтым ремнем. Лет ему, наверное, шестнадцать или семнадцать. Такое уж было время — зимой школьники учатся, летом сами учительствуют в пунктах ликвидации неграмотности и летних школах.

Араты вдохновились. Детей привозили на лошадях, пешком приводили. Причем среди недорослей были семилетки, а были и семнадцатилетние женихи-невесты. Понятное дело, эти долго не задерживались, и осталось учиться где-то двадцать ребятишек, из которых Анай-Кара привела четверых. Так в мае 1938 года в Ийи-Тальском сумоне Улуг-Хемского хошуна открылась летняя школа.

За один месяц дети выучились читать и писать. Учитель Сема отправил письмо в «Аревэ шыны», где перечислил лучших учеников. Настала осень. Председатель пионерского бюро сумона Чамзырын Монгуш объехал аалы, собрал детей, окончивших летнюю школу, для продолжения образования в начальной шагонарской. Анай-Кара спокойно отправила четверых ребятишек в хошунную школу.

В начальной школе Шагонара четыре класса. Те, кто ее окончил, считаются образованными людьми, их посылают в сумоны учительствовать. Араты при встрече с ними уважительно покачивают головами: мол, зачем столько наук?

Изначально в одном здании помещались тувинская и русская школы. Для тувинской позже стали строить отдельный дом. Работами руководил Бора-Хопуй.

Детям нет никакой разницы. На переменах ученики тувинских и русских классов смешиваются, играя. В кутерьме школьного двора образуются водвороты танцев и энергичных драк. Девчонки разучивают новые песни:

— Если за-автра война,
Если завтра в поход,
Если че-е-рная сила нагрянет...

Или:

— Бы-ы-ли сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней поднимали в поход...

Все бы хорошо, но ранней осенью полыхнуло здание правления Улуг-Хемского хошуна. Здание пожарной охраны располагалось рядом, его только

построили, но на самом деле там жили мальчишки из старших классов начальной школы. Они вместе с остальным народом толпились возле пожарища, носили воду и песок... Но от правления осталось лишь большое пятно золы на земле.

Вскоре пошли разговоры о поджоге. Однажды самый старший из школьников сказал:

— Говорят, что дом правления поджег старший счетовод Намдакай.

«Говорят»... «Говорят»... Это слово, будто давешний пожар, охватило школу. Дети Анай-Кары ходили, опустив головы: главный бухгалтер правления Кыргыз Намдакай был их родственником. Анай-Кара обязательно забегала к нему и его жене, приезжая в Шагонар.

Они, хоть и разновозрастные, все учились в одном классе — втором. Первый окончили в летней школе. И лишь услышав слово «вредительство», перестали ходить к Намдакаям. В том же классе учились две дочки Намдакаев, и дети Анай-Кары больше не разговаривали с ними. Слишком много они повидали на своем коротком веку.

Разговоры утихли, а через месяц возобновились. На этот раз говорили, что заодно с Намдакаем действовали секретарь хошкома партии Даржаа и заведомо культуры Эргине. Их посадили.

Вскоре перестала ходить на занятия жена Эргине, учительница Уйнукай, которую очень любили школьники. Вместе они ходили гулять после уроков, устраивали экскурсии на электростанцию. По пути она покупала арбузы и кормила ими ребятешек.

Звонок. Быстрый топоток, меловая пыль клубится от легкого бега, тишина.

В классе директор представляет молодого мужчину:

— У вас новый учитель, дети. Дыртык-оол Оюн. Уйнукай больше не будет у нас работать.

Приглушенное дыхание, одинокий горький всхлип. Бедная башки Уйнукай, любимая Уйнукай...

Директор продолжает:

— Дети Намдакая, встаньте. С сегодняшнего дня вы отчислены.

Тишина. Две светловолосые девочки встают из-за парты, спокойно собирают книги, выходят из класса. Глаза опущены, ни взгляда по сторонам, ни прощания.

Теперь, наверное, все.

Но директор продолжает:

— Салчак-оол, встань.

Встает высокий мальчик. Он старше одноклассников на два года.

— Ты из Баян-Кола, из семьи Седипа?

— Да, башки.

— Ты тоже с сегодняшнего дня отчислен.

Все?

Директор продолжает:

— Дети Анай-Кары из Ийи-Тала, встаньте.

Чолдак-Ой и три девочки встают. Молчат, склонив головы.

— С сегодняшнего дня вы отчислены.

Четверо направляются к двери.

В классе почти никого нет.

Анай-Кара возвращается домой

Из хошунного комитета партии приехал чиновник, забрал партбилет Анай-Кары — за то, что была замужем за контрреволюционером Буяном. Собрания не было, голосования тоже. Забрали и почти весь скот.

Исключили из школы детей. Так вновь наполнилась одинокая юрта в местечке Анайлыг-Алак на берегу Улуг-Хема. К счастью, женщине оставили трех коз. Беда, что одинокая женщина осталась с четырьмя детьми, но если есть молоко — значит, жить можно. Беда в том, что нет в юрте мужчины. Целый сумон рядом, много аалов по соседству, а одна юрта — сама по себе.

Нет человека, который бы не знал характера Анай-Кары. Взрывная, будоражила она людей, было дело, направляла дуло ружья на лам, нойонов, была красной партизанкой, председателем женсовета. А теперь вдруг сникла, притихла... Только если взглянуть со стороны.

На самом деле Анай-Кара все еще молода: легкая, подвижная, с высокой грудью, стала она еще сильнее. Ее не изуродовали роды, нищета, позор того, что муж контрреволюционером оказался. И характер свой она сохранила — горячий, страстный. Плохо, что замкнулась, не может смотреть людям в глаза. Может, оттого, что слишком много пережила. Ну да это ничего — одинокую юрту люди стороной обходят.

Анай-Кара поднимется, как в хуреше борец, обопрется на руки и встанет.

...Поздняя осень. Вершины Хаттыг-Тайги уже покрывает снег. Берега Улуг-Хема покрываются корочкой льда. Чувствуется дыхание скорой лютой зимы. Дрова нужны, а у Анай-Кары ни коня, ни вола, на которых можно накинуть седло или чонак. Горькие, страшные думы. Зима, пора одиноких матерей, когда должны они сберечь детей своих от голода и мороза.

Залаяла собака, возле коновязи остановился мужчина на упитанной пестрой лошади. Женщина глядела, удивляясь: кто это к нам пожаловал? Больше нечего взять у Анай-Кары, чего и ездить-то...

— Здравствуй, невестка, — в юрту вошел Соскар.

Измученная Анай-Кара потеряла дар речи. Невежливо и бессвязно пробормотала что-то невразумительное: мол, нормально живем, так себе. Вот только детям еды да одежды нет...

Немного придя в себя, она достала длинную трубку из таволги, головка которой отполировалась до блеска. Молча развязала боошкун, наполнила трубку махоркой, сунула головку в огонь. Закурила.

Видит Соскар — изменилась невестка. Как только пережила все трудности, теперь грустит с детьми в одинокой юрте, пала духом. Курить стала, чтобы тоску заглушить.

Анай-Кара обтерла мундштук, протянула трубку Соскару:

— Знаю, ты не курил. А вот я в последнее время совсем без табака не могу.

— Я до сих пор не курю, невестка, — сделав из вежливости одну затяжку, Соскар вернул трубку хозяйке.

— Сэвээн-Орус тоже не курил, ты на него похож, Соскар.

Тот и впрямь похож на Сэвээна: тувинец всю жизнь на коне, подтянут, а у Соскара круглый живот, лицо полное, похож на русского купца.

Соскар лишь улыбнулся:

— Куда мне до Семена Лукича, чаавай.

— И не только ты, — Анай-Кара начала варить чай. — Люди говорят, твоя Ончатпаа — вылитая жена Сэвээн-Оруса!

— Подшучивают люди. Как можно сравнить Ончатпу с Серафимой Мокеевной — одна светловолосая, другая с черными волосами. Совсем разные женщины.

— Да что ты мне про волосы-то? Волосы разные бывают. Характеры, видно, одинаковые?

— Может, и так, невестка.

..Как ненавидел Буян Соскара за то, что породнился тот с богачом Опай Чаланом из оюнов, стал хозяином стада, врагом революции. Братья даже в гости друг к другу не ходили, жили как кошка с собакой. У тувинцев есть три вида родства: родство по родине, родство по национальности, родство по крови. Первые два родства — можно обниматься, можно в драке сцепиться. А вот родство по крови хоть ножом скобли — не сдерешь, в реке не смоешь.

Но Соскар зла не помнит — заботливый, чуткий. Давно знал, что невестка живет в нищете, и ждал подходящего времени, чтобы заехать к гордой женщине.

Когда детей Анай-Кары исключили из школы, он понял — вышла из берегов родниковая вода. Душа заныла, сел Соскар на коня и поехал к невестке. По пути думал, как подступиться, как разговор начать — давно не видел Анай-Кару.

Не ошибся добрый человек, приехав в аал. Спасибо разговору о Семене и Серафиме, Анай-Кара оттаяла душой. Тоже ведь умная женщина. Выпив чаю, Соскар принес дров с опушки, укрепил веревки на загонах для скота.

Потом тихонько сказал невестке:

— Не ворона ты, чтобы здесь одной жить, чаавай. Переезжай-ка к нам в аал. Ончатпаа тебя зовет, старики тоже у нас и тебя ждут. И Дарган-Хаа рядом живет. Сам-то он редко показывается, говорит, что не привык к дыму, теплу. Баранину не ест, от запаха араки убегает. Вместо чая варит марьин корень, вместо махорки курит дикую кылбыш-траву.

— Дети привыкли здесь. Летом рыбачат в Улуг-Хеме, зимой на лугу силами зайцев и куропаток ловят.

— Рыба, зайцы и куропатки и у нас есть, чаавай. Если от детей школа отказалась, пусть рядом со мной растут, к работе понемногу привыкают. Мы хлеб сеем, овощи сажаем. И мне помощь будет. Пусть скот пасут. И у вас свой скот будет.

— Соскар, мне подумать надо.

— О чем думать, чаавай? И Хойлар-оол тоже с нами живет. Познакомись с его Лизой. У нее глаза зеленые, милая, как котенок.

— Она хоть язык-то понимает?

— Так хорошо говорит по-тувински, просто здорово! А наши старики привыкают разговаривать по-русски. Пока плохо получается. Но дети по-русски болтают, как на родном языке!

— Как интересно!

— Вот что, чаавай, — решительно сказал Соскар. — Через три дня приеду с телегой.

— Есть у меня три скотины. Неприхотливые, присматривать за ними не надо. Пасутся в черном караганнике. Один, самец, такой упрямый, ничем не уговоришь, не остановишь. И ты такой же, Соскар. Вечно что-нибудь придумаешь, и с пути тебя никто не собьет. В Барыке первый построил дом, овощи посадил. Говорят, теперь еще и верблюдов завел?

— Верблюды — нужные животные, Анай-Кара. Тувинцы их испокон века держали. Ончатпаа моя хорошо доит кобыл, а верблюдиц боится. Чочак и чаавай Чымчак к ним тоже боятся подходить. Лиза вот очень ловкая — легко справляется с несколькими верблюдцами, доит. Вот и будешь ей помогать, чаавай.

— А верблюд-то, Соскар? Они же дикие совсем?

— Летом он смиренный. А зимой Саванды справляется. Сядет верхом, только колокольчик на шее звенит.

Анай-Кара не ответила прямо:

— Что скажут дети.

— Они будут рады, чаавай. Собирайтесь. Через три дня приеду.

Сел Соскар на коня и уехал. А Анай-Кара осталась думать. Аал Соскара и так считают селенем феодалов, кулаков. Вдобавок невестка, жена контрреволюционера приедет. Дело в «органах» станет еще толще. Иногда маленькие дети разумнее взрослых. Когда ребятишек исключили из школы, они в один день повзрослели. Больше не шумели, не ссорились, играли редко. Мальчики ходили за дровами и водой, чистили загоны. Девочки доили козу, сторожили козленка, мыли посуду, подметали юрту. Их ровесники в других аалах катаются на лошадях, гуляют, песни поют, играют. А дети Анай-Кары уже натерпелись и горя, и унижения.

Соскар — человек слова, как Сэвээн-Орус. Брать так брать, отдавать так отдавать, без торга. На рассвете третьего дня он прибыл с шумом и громом: верхом на коне, пригнал оседланных волов, верблюда запряг в телегу, собака всю эту процессию сопровождает. Еще издалека слышался мощный голос хозяина:

— Кочевать, хоок, хоок!

Это он настроение поднимает кочующим. В глубине-то души Соскар сомневался — а вдруг невестка откажет? Анай-Кара с характером, если заупрямится... Помнится, зимой в Улуг-Хем кинулась, чтобы на своем настоять.

Поэтому Соскар изображал из себя веселого гуляку. Ах халак, надо было взять Саванды, дело пошло бы по-другому...

— Хоок, хоок, кочевать!

За три дня и две ночи Анай-Кара не сомкнула глаз. Не могла смириться, что уйдет с нажитого места, заботясь только о детях.

Женщина — как кошка, всегда себе на уме: решила перекочевать лишь по одной причине — родственники будут приглядывать за ребятишками. А она найдет повод вырваться из их аала, чтобы найти Буяна. Когда пропала Анай-Кара, Буян ее искал. И нашел. Теперь пришла ее очередь найти отца своего сына. Обратит ли на нее внимание Буян — другое дело. Главное — найти его.

— Кочевать, хоок, хоок! — весело подхватила Анай-Кара.

Юрта маленькая, хлопот мало. Погружены стены, жерди, несколько сундуков, посуда, барбы. Дети запрыгнули к матери в телегу.

— Возглавишь караван, — Соскар передал буйлу верблюда Чолдак-Ою. — Не бойся, не бойся, у него три головы, а сам, как корова, смиренный.

Впервые такое серьезное поручение дали сыну Буяна. Чолдак-Ой счастлив. Для тувинца перекочевка — радостное событие. Новые места, новые люди. Встречи, беседы.

Особенно радуются перекочевке дети. По дороге собирают цветы, в лесу добывают серу, выкапывают корни саранки и кандыка, играют в прятки, мальчики арканят бычков и жеребят, пытаются сесть верхом, показывая: вот я какой ловкий и удалой... Девочки доят коз и овец, заплетают друг другу косы, тайком показывают нехитрые свои украшения.

А уж что творят собаки! Носятся взад-вперед, не помня себя от счастья, вертят хвостами. Они все понимают. Когда проезжают мимо чужого аала, не лают, с местными собаками не дерутся. Знакомятся степенно, потом начинают играть. Вроде бы договариваются, что отару вместе будут сторожить, а кости отдельно глотать.

От стоянки Анай-Кары до Барыка совсем недалеко. Вскоре караван подошел к местечку Кулузун. Домов здесь больше, чем в центральном сумоне. Скота видимо-невидимо. Свиньи хрюкают, куры кудахчут... Жизнь!

Когда уехал за невесткой Соскар, Саванды, который лежал с сильным кашлем, натянул рваную шинель, старую буденовку, и засновал взад-вперед, будоража аал. При въезде в поселок на холмике развел костер, расставил еду, жег сало, совершал обряд окуривания: очищал вновь прибывших. Зажег и артыш. По разумению Саванды, изгонял злых духов, которые могли проникнуть с новыми людьми.

Едва волеы с грузом и верблюд с телегой остановились, Саванды отдал честь и доложил Чолдак-Ою:

— Патрон-сатрон есть, партизан Саванды есть. От всей души поздравляю с прибытием на новое место дислокации. Докладываю: место для юрты готово. Да здравствует новый аал, да здравствует партизан Саванды! Ура-а!

Дети хохотали, Саванды ворчал под нос:

— Я их поздравляю, а они смеются — и почему?.. Какие глупые эти люди без образования. Я и богат, и себе не рад...

Все собрались: Соскар и Дарган-Хаа, Чымчаг-Сарыг, жена Чочай, невестка Лиза, Хойлар-оол, Саванды, все дети от мала до велика, взялись дружно — и вскоре маленькая юрта была готова.

К вечеру народ, стар и млад, собрался в большом доме Соскара. Стол ломился от яств. Кроме мясных блюд, овощные диковинки — заслуга русской невестки. Позже всех пришли старики Сульдем и Кежикмаа в сопровождении Саванды. Кежикмаа еще в дверях заулыбалась:

— Ну вот и Кара переехала. Когда-то жившие в утробе матери дети и позже могут поместиться под подолом ее, ребятишки мои!

Стариков усадили на почетное место, но супруги сели на половой коврик, мол, не привыкли высоко сидеть, будто в седле лошади. Саванды обрадовался, словно ястреб, кинулся во главу стола. На шею повязал белое полотенце, сидит себе с вилкой в руке и поучает родственников:

— За столом надо держать нож в правой руке, а в левой — только вилку. Такое правило. Надо хан есть не раздумывая, надо грудинку есть не медля. Ешьте, ешьте, дети мои. Кара, садись поближе. Чолдак-Ой, хватай курдюк. Берите овощи, про овощи не забывайте! Я приготовил, да! И Лиза помогала! Нечего усложнять, дети мои.

Дождавшись, когда Саванды набьет рот, Анай-Кара тихо сказала:

— Вот возилась с детьми в ложбине, родители, — и протянула старикам маленький желтый когээржик. — Холода наступили, пора перекочевки. Хойтпак заквасила. Все, что могла получить от одной козы.

Увидев маленький сосуд, Саванды снова встрял:

— Анай никогда пустая не приедет.

Старик Сульдем принял двумя руками полный сосуд, бережно поставил перед собой. Сколько ни вертелся Саванды, старик не обращал на него внимания, ел. Наевшись, стал искать чашку. Ончатпаа вскочила, достала из шкафа серебряную пиалу работы Дарган-Хаа.

Соскар помог отцу открыть когээржик, старик Сульдем налил немножко араки в серебряную пиалу, плеснул на огонь, остатком брызнул в воздух. Затем вновь налил в пиалу немного араки, протянул жене:

— Это от Кары. Начнешь, жена?

Кежикмаа прикоснулась губами к краям чашки и отдала обратно:

— Сам, сам. С меня хватит.

Сулдем взял чашку, притронулся к араке пальцем, побрызгал в разные стороны, поднес к сердцу. Губы его шевелились, глаза были закрыты. Затем посмотрел на Анай-Кару и сказал:

— Хорошо, что переехала, дочка. Давно мы тебя ждали. Дни считали. Настал час, не ошибся я. За детей не беспокойся. На белом свете нет чужих детей, во всем мире нет посторонних детей. И эти дети тоже вырастут.

Перевод Игоря ПРИНЦЕВА

Словарь тувинских слов

Аал — поселение из нескольких юрт.

Анайлыг-Алаак: *анай* — козленок, *алаак* — лесная полянка.

Арака — молочный слабоалкогольный напиток.

«Аревэ шыны» — газета «Комсомольская правда», сейчас «Шын» («Правда»), основана в 1925 году.

Барык — сносный, посильный, терпимый; река названа по малой длине и незначительной водоносности.

Баян-Кол — богатая, обильная долина.

Боошкун — мешочек для табака.

Буйла — палочка, вдеваемая в нос верблюда.

Даитыг-Кежик — каменная переправа (брод, переход).

Дести — деревянное корытце для мяса.

Дэвиир, ынаа — сборные части юрты.

Ийи-Тал — «два малых тальника», название поселка.

Кадам — уважительное, ласковое обращение к старшей женщине.

Когээржик — кожаный сосуд для араки.

Кулузун — тростниковый.

Кулузун-Аксы — тростниковый белый.

Орус — русский.

Ориээ — обращение к высшим силам.

Сумон — поселок.

Улуг-Хем — великая река, Енисей.

Хаттыг-Тайга: *хат* — ветер, буря, ураган; *тайга* — дремучий лес, снежное высокогорье.

Чаавай — невестка.

Шагонар (Шагаан-Арыг) — белый пойменный лес.

Эми — золотоносная река, в истоках которой добывалось рассыпное золото, и одноименный поселок.



СОНЕТЫ

Пожалуй, в Туве нет человека, кому бы не было знакомо имя Монгуша Кенин-Лопсана. Кто-то скажет, что он выдающийся ученый-историк, для кого-то он — талантливый востоковед, а кому-то любы его рассказы, ну а для абсолютного большинства Монгуш Борахович — пожизненный президент тувинских шаманов, обладатель награды «Живое сокровище шаманизма». В избушке во дворе бывшего музея шаман работает уже больше тридцати лет, самого музея уже там нет. Теперь его избушка официально числится за Центром традиционной тувинской культуры и ремесел. Избушка Кенин-Лопсана известна всем жителям Тувы, туда в первую очередь направляются и гости республики. Кто-то за благословением и добрым советом, а кто-то для удовлетворения любопытства. Равнодушным после встречи с ним не остается никто. Монгуш Борахович — человек вне времени.

Родители Кенин-Лопсана — охотники и сказители. Каждый день маленький Монгуш с нетерпением ждал сумерек, и не для того, чтобы крепко заснуть. С наступлением вечера в лачуге творилось настоящее волшебство — родители рассказывали народные сказки. «Сейчас я с уверенностью могу заявить, что именно в этих сказках и есть мудрость кочевого народа, — говорит Монгуш Борахович — У мамы был очень мелодичный голос. И она сказки не рассказывала, а напевала. Прошло столько лет, а ее голос слышу до сих пор». Отец мальчика, Монгуш Бора-Хоо, был охотником: очень смелым, знаменитым на всю округу. Он еще был путешественником, побывал в Монголии, в Китае. А вот из самого Кенин-Лопсана не получилось хорошего охотника: стрельба в зверей никогда не доставляла ему большого удовольствия. К тому же охотничьи законы дня сегодняшнего сильно разочаровывают шамана. Кенин-Лопсан рассказывает, что в старину, если охотник на пути встречал трех маралов — стрелял только в одного, не трогая других. Нынешний охотник, ничуть не заботясь о сохранении вида, убьет всех троих. То же самое с рыбой в тувинских реках: раньше ее ловили только на обед или на ужин, а современные рыбаки ловят сетями. Природа скоро ответит на это истребление, не сомневается Кенин-Лопсан. Вместо того чтобы охотиться и рыбачить, он любит просто ходить по тайге, слушать ее звуки. «В моменты такого уединения открываются настоящие, искренние чувства, — делится шаман. — Очень важно уметь слушать свой внутренний голос, именно он подскажет правильный путь».

Монгушу Бораховичу посчастливилось учиться в одном из ведущих университетов страны — в Ленинградском государственном университете. Однажды в школу, где учился Монгуш, приехал ученый из Ленинграда. Он провел для десятиклассников экзамен и выбрал будущих студентов восточного факультета. Руководителем факультета был монголист, востоковед Владимир Михайлович Надеяев. Поскольку тувинские ребята в то время еще плохо говорили по-русски, Владимир Михайлович абсолютно бескорыстно проводил для них дополнительные уроки по русской словесности. Научившись читать по-русски, Монгуш сразу взялся за «Евгения Онегина». Сначала читал, а потом выучил наизусть. «Тогда удивлялись все, и педагоги, и сокурсники, — не без гордости рассказывает Кенин-Лопсан. — Объясняется все хорошей генетической памятью тувинцев. Мы дети сказителей, устного фольклора. Те истории, которые нам рассказывали сказители, мы запоминали сразу. А вот многие современные тувинцы утратили связь с предками, их память слишком засорена». Утрату корней, господство компьютера над людьми, всемирную глобализацию шаман считает ключевыми сегодняшними угрозами.

Редакция журнала «Сибирские огни» поздравляет Монгуша Кенин-Лопсана с предстоящим в 2015 г. юбилеем. Замечательному сыну тувинского народа исполнится 90 лет. Здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов.

* * *

Царица птиц Хан-Херети
 Всех птиц однажды созвала,
 Царица птиц Хан-Херети
 Отличья птицам раздала:

«Ты, куропатка, будь всегда
 Как совесть чистая, бела,
 Отныне черен будь всегда
 Ты, мрачный ворон, вестник зла».

Нашлись могучих два крыла
 Для мужественного орла,
 Кукушке — песенка ее:
 Досталось каждому свое,

От воробьев и до ворон.
 Порядок воле не в урон.

* * *

Есть в мире тайная любовь,
 Ей время истинное — ночь,
 Когда бурлит, вскипая, кровь,
 Когда все недомолвки — прочь.

Мы под черемухой с тобой
 Смотрели на Шолбан-звезду,
 Мы были, помнишь, ночью той
 Со всеми звездами в ладу.

Мир грезит равенством давно
 И отступает в крови,
 Но мы-то знаем: есть одно
 На свете равенство: в любви.

Слиянье любящих сердец —
 Всех тайна тайн, всех тайн венец.

* * *

Под вечер жизни, стариком,
 Я вновь на родине отца.
 Тайга знакомая кругом
 Лежит без края, без конца.

Шалаш порушен, в сердце боль,
 И только, удивляя взор,
 Мешочки — в них артыш и соль —
 Висят на ветке до сих пор.

Из корешков пиона чай
 Я в старой чашке заварил,

По капле, брызнув через край,
Окрестным духам подарил.

Поет, шумит река Ак-Хем,
И стихла боль почти совсем.

* * *

Как мне хотелось бы с отцом
В горах устраивать ночлег,
Разгорячившимся лицом
Встречая чистый первый снег!

Помочь отцу костер разжечь,
Соперника далеких звезд,
Нагой спиной к нему прилечь,
В свой малый вытянувшись рост.

Вдыхать отцовской трубки дым,
Шаманский слушая напев!
Я так давно расстался с ним,
Всего дослушать не успев.

С ним в запредельные края
Ушла и молодость моя.

* * *

Струит лучи на бережок
Кривого месяца рожок,
А рядом с ним чуть-чуть видна
Чудачка-звездочка одна.

И снова ночь, и вновь темно,
И небосвод звезду зажег,
Все, как тогда, как прежде, но —
Куда исчез кривой рожок?

Та звездочка, и месяц тот
Сойдутся, встретятся ли вновь?
Так нам покоя не дает
Неразделенная любовь.

Не раз, мой друг, на склоне дней
Вздыхнем мы горестно о ней.

* * *

Увидел матушку во сне,
Увы — то был всего лишь сон.
Она сидела на коне,
Одега в шелк, в нарядный тон.

Совсем как смолоду, легко
 Сошла с высокого седла,
 Сосуд, в котором молоко
 Живительное — подала.

Как, мама, ты меня нашла
 В лесной глуши, на склоне дня,
 Как догадаться ты смогла,
 Что жажда мучает меня?

Скончалась мама по весне,
 Пришла по осени — во сне.

* * *

Лес лиственный — Дыттыг-арыг
 Теперь — название села.
 Березки, ельник и тальник...
 Здесь вместе с ними ты росла.

Жаль, здесь не встретился с тобой.
 Жду: скоро встретимся опять.
 Желанная, моей судьбой
 Ты навсегда сумела стать.

Письмо, как голубь аганак,
 Пускай в ладонь твою слетит,
 Письмо, как голубь аганак,
 Пускай сегодня возвестит:

Душой согрелся я в тиши
 На родине твоей души.

* * *

Вечерний шум всегда как весть:
 Там, в полумраке, что-то есть.
 Косуля выбежит на луг,
 Заржет ли конь — с чего бы вдруг?

А шум ночной — в нем боль и страх,
 Как будто плачет лес в горах,
 В кошаре овцы, сбившись в круг,
 Проснутся, встрепенутся вдруг.

А утренний приветный шум —
 Он сердце радует и ум:
 Восходит солнце, каплет с крыш,
 В кровати гукает малыш.

Кочевник слышит все вокруг,
 Исполнен смысла каждый звук.

* * *

Как поздно внучки нынче нет!
И я не сплю — безумный дед.
Прилечь, уснуть бы — но какой
Тут сон возможен и покой?

Брожу по улице без сна.
Сияют звезды и луна,
И окна дома за спиной,
Где свет горит — не спят со мной.

Прекрасна ночь, и воздух свеж,
Но где ты, внучка, где ты, где ж?
Мне кажется: вот-вот рассвет —
Тебя все нет, и нет, и нет.

Хребты с их снежной белизной —
И те тревожатся со мной.

* * *

Когда пускаюсь в дальний путь,
Когда на звезды я смотрю,
Когда пишу — не с кем-нибудь,
С тобой, с подругой говорю.

Когда в горах я заблужусь,
Когда гляжу не нагляжусь
На ледниковой розы цвет,
Та роза — словно твой портрет.

Когда в печали нахожусь,
Когда я друга хороню,
Я за плечо твое держусь,
Я к твоему клонюсь огню.

Моя подруга, ты одна
На всю мне жизнь, как жизнь, дана.

* * *

Взбирался ли на перевал,
Срывал ли ягоды в лесу, —
Я никогда не забывал
Любовь и женскую красу.

Пусть юность нынче далека,
Я превратился в старика,
И затуманился мой взор —
А все горит любви костер.

Увижу ль круглую луну,
На девушку ли посмотрю —

Я трону верную струну
И песню миру подарю.

Песнь юноши иль старика —
Не различишь издалика.

* * *

Был сын у дяди моего,
Любил он девушку одну.
Я вспоминаю, как его
Мы проводили на войну.

Его навек земля взяла.
Но чудится его отцу,
Что конь сыновний — Сарала —
Мчит парня к отчему крыльцу.

Березы корень взял старик,
Игрушку вырезал — коня,
Он с ним здороваться привык,
С ним говорить в начале дня.

И гладит ласково, и ждет:
А вдруг и вправду сын придет?

* * *

Начнет ли ветер поднимать
Шум в окружающей тайге —
Проверит «пояс юрты» мать,
Прикроет крепче ореге.

Приют наш накрепко к земле
Привязывал аркан-сыдым.
Природа вся вокруг во мгле —
При теплом свете мы сидим.

Мне струсить мама не дает,
Мне колыбельную поет,
И приникал я нежно к ней,
И думал часто: что сильнее —

То ль ветра жуткое вытье,
То ль песня тихая ее?

* * *

Глаза домашних оленей!
Лишь только взглядываю в них —
И нежность материнских глаз
Мне вспоминается тотчас.

Как бережно их теплый взгляд
Ласкает юных оленят!
Так с незапамятного дня
Ты, мама, берегла меня.

Олени Одуген-горы
Всегда мудры, всегда добры,
Ни в злой мороз, ни в лютый зной
Не покидают край родной.

У них учился мой народ
Терпению в часы невзгод.

* * *

Скрипел мороз, и снег сиял.
Стучатся... я к стеклу приник:
Седой, с котомкой, там стоял,
Скривясь от холода, старик.

Я пригласил его в тепло —
На первом, благо, этаже.
Немного времени прошло —
И подружились мы уже.

Сказитель, сельский человек,
Он заблудился в городке.
Он заплатил мне за ночлег —
На древнем нашем языке

Про счастье сказку рассказал.
Я эту сказку записал.

* * *

Один журавль, на землю сев,
Обходит вокруг холма стократ.
Другие, с юга прилетев,
На север дальше полетят.

А этот остается тут
До поздней осени, у нас
К нему привыкли: свой маршрут
Он повторяет много раз.

Придет ли кто с ружьем в руке,
Преступный замысел тая, —
Журавль пасется вдалеке,
Доверчив к тем, кто без ружья.

Он прежде многим доверял.
Он здесь подругу потерял.

* * *

Мы — дети женщины святой
И благороднейшей из всех.
Забуть о ней за суетой
Текущей жизни — страшный грех.

Меня она в далекий день
В перекочевке родила,
И мощной лиственницы тень
Взамен роддома мне была.

Нет мамы, но остался след
Стоянки на реке Чаш-Тал.
Смотри-ка, мама, сын твой сед,
Орденосцем даже стал.

И мнится мне, что я, старик,
Свой слышу первый детский крик.

* * *

Ты крепок телом, свеж лицом,
Глядишься в целом молодцом,
А я — сказитель, из бродяг...
За что же ты со мною так?

Высокомерье — не к лицу
Ни мудрецу, ни молодцу.
А может быть, скажи, сынок, —
Ты просто очень одинок?

Ты человечность не впитал
И сам бесчеловечным стал,
И девушки, других любя,
Обходят стороной тебя?

Как я, бродяга и старик,
Тебя жалею в этот миг!

* * *

Когда уйду из жизни я,
Поставьте свечку в головах
И можжевельником, друзья,
Мой окурите бедный прах.

Привычным именем моим
Меня не называйте вслух,
Чтобы, встревоженный, живым
Не докучал мой скорбный дух.

Не прямиком — обиняком
Поговорите обо мне,

Обмениваясь табаком,
Поговорите обо мне,

И не вином, а молоком
Меня почтите в тишине...

* * *

Когда совсем сойдут снега,
Обряд старинный дагылда
Отец мой совершал, таясь,
Оглядываясь и боясь.

На «пережитки» был запрет,
Посмел нарушить — жди беды,
Хоть смысл обряда и секрет —
Пробить канавку для воды,

Чтобы струилась на поля,
Чтобы щедрой была земля.
Пришел, настал заветный срок
Расчистить родника исток,

И жертвенное молоко
Разбрызгивается легко.

Перевод Ильи ФОНЯКОВА



ДОЛГИЙ ПУТЬ ОДНОЙ ТИШИНЫ

Главы из романа

ТИШИНА

1.

Вы чувствовали настоящую тишину? Наверняка многие ответят утвердительно. Кто-то скажет, что тишина — это безмолвие, кто-то — блаженство, и так далее. И все они будут правы, потому что каждый понимает ее по-своему. Но ведь слышать и чувствовать — совершенно разные вещи, тут не найти золотой середины...

Иногда я вспоминаю эпизод из детства. Теперь уж не помню, сколько мне было — лет девять или чуть больше. Наша юрта уже была на весенней стоянке — весенней, потому что туда мы переезжали прямо с зимней, неважно, когда это было, в конце мая или в начале июня; мы задерживались там около месяца, пока не закончится стрижка овец.

В степи, вблизи реки Тэс, недалеко от государственной границы, мы ставили свою юрту рядом с невысоким холмом. Папа насчет этого холма говорил, что это стратегически важный объект, потому что оттуда удобно наблюдать за передвижением овец. Я брал бинокль и забирался на этот холм. За мной все время, таякая и спотыкаясь, неуклюже бежал наш Чонок — полуторамесячный щенок тувинской овчарки. Катился, слегка подпрыгивая, комочек шерсти с прикольным хвостиком. Я ему всегда отдавал самый лучший кусок баранины из своей трапезы... Нет, неправда. Самый лучший кусок из моей порции мяса доставался не ему, а богу огня. Я открывал дверцу буржуйки, бросал туда лакомый кусочек и, подражая маме, говорил: «О, всемилостивый бог огня! Храни нас от всех бед и никогда не покидай наш очаг!..» Лишь второй кусок я отдавал Чоноку.

Наш холм, конечно же, не был единственным. Вокруг нашей стоянки были и другие холмы. Зато наш был самым высоким, оттуда было видать далеко-далеко, другие казались мне карликами.

Однажды папа взобрался со мной на наш холм и оттуда, рассматривая в бинокль отару, сказал:

— Сынок, ты мужчина. Поэтому ты должен смотреть далеко, а для этого у тебя должна быть своя высота, и ее никому, никогда и ни за что не уступай...

После этого, каждый раз, когда мы с Чоноком забирались на наш холм, я отдавал приказ своему единственному воину: «Чонок! Занять оборону и ни шагу назад!» А он, словно понимая мою команду, заострив свои маленькие ушки, задрав влажный носик, несколько раз обегал меня и настороженно всматривался в дали.

Овец вели на стрижку строго по графику. Стригальный пункт находился на берегу реки Тэс. Стригли механизировано. Вокруг стригального пункта на расстоянии трех-четырёх километров располагались юрты чабанов. С нашего холма можно было и без бинокля сосчитать, сколько юрт вокруг стоянки. В утренние часы, когда солнце не так высоко, юрты казались маленькими жемчужными бусинками, рассыпавшимися в бескрайней степи.

В это время года степь оживает по-особому: обильно цветут акации, с раннего утра до позднего вечера поют птицы, в безоблачных высотах, широко раскинув могучие крылья, кружат орлы; куда ни глянь — везде юрты, всюду пасутся овцы, там и тут скачут всадники, автомобили, деловито гудя, несутся, выдувая из-под колес дорожную пыль, а веселый ветер, словно в каком-то безудержном плясе, подхватывает, кружит и поднимает ее до орлиных высот.

К концу июня заканчивается стрижка овец, и чабаны друг за другом начинают переезжать на чайлагы. Юрты разбирают, грузят на бортовые машины, потом в кузов забираются дети, что помладше, а хозяйка важно занимает место в кабине рядом с водителем, и все уезжают. Отец семейства со старшими детьми седлают лошадей и гонят отару через всю степь к таежным пастбищам, где их ждут сочный травостой, звонкоголосые и прозрачные горные реки Нарын и Качык.

Мама, забрав с собой младшего брата, верхом уехала в село за машиной, а отец со старшими братьями погнал скот на восток, оставив меня и Чонока одних в юрте. Они шли не спеша, иначе нельзя: шутка ли — шестьсот голов овцематок и столько же ягнят. Если в пути от усталости слягут ягнята — все пропало.

Когда они перевалили за наш холм, я взял бинокль и побежал за ними, а вслед за мной, визжа, твякая и спотыкаясь, поспешил шерстяной комочек с прикольным хвостиком. Я взобрался на холм и долго наблюдал: под палящими лучами солнца отец и братья медленно ехали вслед за овцами, то пропадая, то появляясь в клубях пыли. В этой огромной клубящейся массе даже в бинокль невозможно было разглядеть хоть что-то, хотя там, в этом гигантском вихре, брели тысячи овец. А отец и братья горделиво двигались вслед за этим вихрем, словно замыкая шествие огромного войска, идущего в неведомые дали.

Я опустил бинокль и, посмотрев вокруг, оцепенел: вся наша бескрайняя степь бурлила и кипела, словно сам владыка Чингис поднял свои многомиллионные войска и направил их в великий поход. Папа был прав — холм действительно превратился в центральный командный пункт. Тут стоял я, а где-то рядом, пытаясь привлечь мое внимание, визжал и твякал, проделывая свои смешные трюки, наш Чонок, но мне было не до него. Горделиво взирая на происходящее, я, как и любой другой мальчишка, со всей серьезностью представлял себя военачальником неисчислимой армады.

Я наблюдал за происходящим до конца, пока последние мои «войска» не растворились в синеве горизонта. Тут-то все и началось...

Вся степь вмиг опустела, не было слышно ни звука. Я не ощущал даже ветерка. Красное солнце на закате и тяжелое багровое небо вмиг слились в единое целое и превратились в какое-то мифическое существо с единственным кровавым глазом, а тени акаций стали неестественно удлиняться, превращаясь в остроконечные пики в руках невидимого вражеского войска, ожидающего команды на атаку. Чонок жалобно заскулил, поджал подобие хвоста и

прижался к моим ногам. Потом я почувствовал ее. Она медленно и неумолимо надвигалась, наваливалась на нас. Мне казалось — она ждала, предательски притаившись в засаде, долго и упорно ждала и ждала, когда все уйдут.

Убежать я не мог. Страх сковал тело: ноги будто провалились в землю, а руки, словно чужие, не слушались меня. Мне казалось, что я раненный, истекающий кровью беспомощный воин, брошенный всеми на поле боя и окруженный беспощадными врагами.

Она, абсолютно безмолвная, всепоглощающая, продолжала окружать и окутывать нашу высоту. Я знал, что есть спасение. Боковым зрением я все время видел нашу юрту, одиноко стоявшую среди бескрайней степи. Вот только соберусь, заставлю двигаться ноги, добегу до нее, закроюсь — и божество нашего очага прогонит прочь эту нечисть. С мольбой я обратился к божеству:

— Бог огня, пожалуйста, спаси нас, прогони ее прочь с нашей высоты! Прошу тебя, покажи свою силу!..

Но бог огня меня не слышал, да и слышать не мог, потому что у меня не было голоса. Я кричал, но не слышал себя. Сердце бешено колотилось в груди, но его стука я тоже не слышал.

Я собрал все свои силы и побежал к юрте. Чонок при этом замешкался, в нерешительности заметался и не последовал за мной. Я бежал вниз по склону, а по щекам бежали обжигающие слезы стыда, потому что я понял: это бегство — самый позорный поступок на свете. Я предательски бросил своего друга, беспомощного Чонока. Почти добежав до юрты, я оглянулся: холм был сплошь окутан призрачным маревом, лишь макушка оставалась еще не тронутой. Именно там беспомощно метался, ища спасения, мой крохотный Чонок. Я не слышал его, но видел — он звал меня на помощь. Но я опять смалодушничал — засомневался, что смогу вернуться туда, откуда с таким трудом только что вырвался. Нахлынула вторая волна страха. А в это время *она* призрачным маревом все ближе и ближе подползала к Чоноку. Я видел, как он, поджав хвостик, все сильнее и сильнее метался по маленькому пятачку земли. Затем от призрачного марева стали отделяться щупальца — и, извиваясь, нависли над Чоноком. Я собрал все силы и сделал шаг вперед. Я бежал к Чоноку, но у меня не было сил: я спотыкался, падал, вставал и опять бежал. При падении я поранил руки об острые камни — и чувствовал, как бежит по запястьям кровь, не замечая боли. Голоса у меня все еще не было, но я беззвучно кричал: «Прочь! Уйди! Я не боюсь тебя!..» И вот до призрачного марева остаются три шага, потом два, один... И я встретил мощное сопротивление: *она* насквозь пронзила меня невидимыми стрелами, от невыносимой боли я съехался, но устоял; затем она обдала меня могильным смрадом и меня вырвало. Но я продолжал идти вперед.

Сделав последний, решительный шаг, я прыгнул — и мое тело, встретившись с невидимой преградой, повисло в воздухе. Сквозь полупрозрачное марево я видел Чонока: он, оцетинившись, оскалив маленькие клыки, яростно сопротивлялся, бросался во все стороны, давая знать врагу, что готов растерзать его. Это издалека мне казалось, что щенок мечется со страху. Как же я ошибался, думая, что он испугался и не нашел смелости бежать за мной. Победив свой страх, он принял весь удар на себя и, отвлекая врага, давал мне шанс убежать и спастись. Поступок маленького батыра придал мне сил, я вонзил свои пальцы в невидимую плоть врага и, разорвав ее, упал рядом с Чоноком, а он, не медля ни секунды, бросился в мои объятия. Я крепко обнял его и, стоя на коленях, правой рукой нашупал камни и стал швырять в *нее*. Камни беззвучно тонули в зловещей невидимой плоти, будто она их просто засасывала и пожирала.

Я поднялся, прижимая к груди тельце Чонока, и почувствовал, что могущественная энергия рвется из меня наружу. И я закричал:

— Про-о-чь! Уйди-и-и! Я не боюсь тебя-я-я!..

И у меня получилось. Я услышал свой голос, он был мощным и пронзительным. Призрачное марево содрогнулось и вмиг растаяло. Враг отступил. Все еще прижимая к себе Чонока, совершенно обессилев, я рухнул на землю...

Я проснулся от его мокрых поцелуев. Над холмом торжественно сверкали мириады звезд, словно салютуя нашей нелегкой победе. Мы услышали гул автомобиля и увидели свет приближающихся фар.

— Сынок! Ты где?! — кричала мама.

И я в ответ закричал:

— Мама, мы здесь!

Я слышал все: и маму, и себя, и шепот ветерка, и тьякканье Чонока, и все таинственные звуки ночной степи.

Мама зажгла керосиновую лампу, растопила буржуйку и быстро сварила чай. Она налила мне полную пиалу, я жадно и громко пил и пил самый ароматный и самый вкусный чай на свете. В юрте на белоснежном ширтеке полукругом сидели наши родственники и тоже с наслаждением пили мамин чай, а мой братик нежно поглаживал мирно спящего Чонока. Я хотел сказать маме, что мы сегодня отстояли нашу высоту, но передумал, потому что не знал, как все это описать. Я продолжал пить чай, а мама мне говорила:

— Бедненький мой, тебя напугала тишина. Ты ее не бойся — это просто внешняя тишина. Есть и другая тишина, она внутри нас. Никогда не позволяй ей овладеть тобою и всегда защищай свою высоту — это имя твое...

— А как вы догадались, мама? — я спросил шепотом, чтобы невзначай не услышали родственники.

— Я почувствовала сердцем, сынок, — тихо ответила она.

— Мама, я думал, что умру, — сказал я все еще шепотом.

А мама мне ответила:

— Родненький мой, к счастью, для тебя пока небеса слишком высоки, а земля тверже гранита...

Я тогда, конечно же, не понял смысла ее загадочных слов. Я допил свой чай, поставил пиалу прямо на ширтек и прижался к маме, а она нежно обняла меня. Потом я крепко уснул в ее объятиях...

2.

Тишина... Надо мною одноглазое тяжелое багровое небо... Тени сгущаются. Там, на высоте, со страху мечется предательски брошенный мною Чонок. Я со всех ног бегу к нему, но замечаю, что все дальше и дальше отдаляюсь от него, а злое призрачное марево все ближе и ближе подкрадывается к нему. Я кричу, но не слышу себя. Потом спотыкаюсь и падаю. В момент падения я инстинктивно закрываю глаза, ожидая удара о землю, но вместе этого проваливаюсь в никуда, и мое падение превращается в вечность. Затем откуда-то я улавливаю еле слышные отрывистые звуки. Я начинаю различать чей-то далекий детский голос: «Папа, папа, папа-а-а!» Мне кажется, что это голос из другого пространства и времени. Я пытаюсь разглядеть хоть что-то, но тщетно, кругом только крошечная тьма. Я продолжаю падать в эту тьму и всем своим телом чувствую, что она почему-то влажная. «Папа, папа, папа-а-а!» — призыв о помощи я слышу все отчетливее и отчетливее. Не сразу, но скорость моего падения замедляется, и я хотя и смутно, но все же начинаю понимать суть происходящего.

— Папа, папа, папа-а-а! Проснись! Да проснись же!..

Это мой старенький ноутбук. Он кричал голосом моего младшего сына. Написанная, озвученная сыном, а затем интегрированная в операционную систему программка невозмутимо продолжала будоражить мой сон: «Папа, проснись! Да проснись же!.. Пора...»

Не открывая глаз, я высунул левую руку из-под одеяла и попытался на ощупь найти ноутбук — на тумбочке его не оказалось. Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы оторвать голову от насквозь промокшей подушки — ноутбук с открытым дисплеем лежал со мною рядом на кровати, а из его встроенных динамиков продолжал трезвонить голос сына. Я нашел средним пальцем правой руки верхнюю левую кнопку клавиатуры и щелкнул ею, после чего программка, нареченная ее автором «Будилкой», вырубилась и умолкла, и в спальную комнату вернулась обыкновенная тишина и вместе с нею реальность августовского утра две тысячи девятого года.

Я неохотно поднялся, накинул халат и пошел в ванную. Постоял под душем, почистил зубы, побрился, налил в левую руку лосьон после бритья, начал легонько похлопывать ладонями по щекам и подбородку, почувствовав приятную, успокаивающую прохладу и слегка уловимый и до боли знакомый аромат.

Надо обязательно туда съездить, подумал я, в наши степи, на нашу высоту... С тех пор прошло более тридцати лет, страна, в которой навсегда остались мое детство, юношеские и молодые годы, испытав глубокие политические и экономические потрясения, поменяла формацию, а в душах людей происходили долгие и болезненные метаморфозы. Однажды мы поняли, что живем в совершенно иной стране, что наступил век высоких технологий, что мы сами давно уже не те. Но за все это время я так и не понял, что же тогда увидел и испытал в бескрайней степи. Может быть, ничего и не было, и все пережитое — всего лишь игра душевных переживаний, спровоцированных чувством страха перед неожиданно навалившимся одиночеством. Может быть, я лишь потерял сознание, и дальнейший ход событий — это всего лишь бред, иллюзия, кошмарный сон...

Настенные часы в прихожей четырехкомнатной квартиры показывали 7:15. Проходя мимо открытой двери зала, я увидел сына. Он сидел на привычном месте, откинувшись худощавым телом на спинку офисного кресла. Рядом с клавиатурой стояли две банки колы и открытый пакет с чипсами. Его уши были закрыты большими стереонаушниками, и он, изредка переговаривая с членами своей команды, вел стрельбу из автоматического оружия, разнося вдребезги противников. От прямого попадания отлетали головы, отрывались руки, ноги, вываливались внутренности. Действие происходило во дворе какого-то огромного старинного серого замка. Враги, вооруженные до зубов, настигали его и стреляли почти в упор, а он каждый раз ловко уходил от града пуль, демонстрируя изворотливость, совершая прыжки над внезапно возникающими ловушками, усеянными острыми окровавленными пиками. Он действовал так, словно показывал всем мастер-класс, и ему действительно не было равных.

Между мною и сыном лежала незримая огромная пропасть. Она существовала уже давно, появившись как-то незаметно. Наверное, сначала она была еле заметной трещинкой, но со временем становилась все шире и шире.

Я постоял на своем метафорическом берегу и пошел готовить завтрак. Сын остался на своей виртуальной стороне, а пропасть, зияющая между нами, неумолимо продолжала пожирать кромки своих невидимых берегов.

Жена взяла отпуск, забрала с собой дочь и уехала в Монголию, старшие сыновья учились за кордоном и после сдачи летней сессии застряли в интернет-салонах Поднебесной, а младший, наотрез отказавшись ехать и в летний лагерь, и в Монголию, остался со мною.

Со мною ли?..

Сегодня ровно неделя, как жена с дочкой пересекли границу Монголии, и мы уже успели накопить в раковине гору посуды. С фарфоровыми тарелками разного калибра, пиалами, кружками, ложками и вилками я возился десять минут. Набрал воды в небольшую кастрюльку, поставил на плитку и, пока она закипала, достал из холодильника овощи, крупно нарезал их большим кухонным ножом, добавил немного растительного масла, посолил, смешал — салатик готов. За это время вода в кастрюльке начала булькать. Я сварил гречневую крупу на двоих, слил лишнюю воду, добавил сливочного масла, разложил в две тарелки, расставил на пластиковом подносе вместе с кружками чая и подошел к сыну.

— Сынок, позавтракай и ложись спать.

— Щас, — коротко ответил он, словно проверял работоспособность своего микрофона. При этом никаких перемен ни в его позе, ни в положении головы, ни в покрасневших глазах я не заметил. Его худые ноги уходили вниз и исчезали в небольшом неосвещенном пространстве под столом, а кончики пальцев будто срослись с клавиатурой и лазерной мышкой.

— Послушай, сынок, мне надо сегодня кое-куда съездить. Вернусь, наверное, к завтрашнему утру. Я не хочу ехать один: неплохо, если ты мне составишь компанию.

Сын выпустил обойму, выбросил перегревшийся автомат, достал большой боевой нож, сделал мгновенный выпад — и поверженный противник рухнул на землю, захлебываясь в крови. Победитель, вскинув голову, горделиво выпрямился, торжественно поднял руки и растопырил два пальца левой руки, изображая букву «V». В правой руке он все еще сжимал свое оружие: с клинка боевого ножа, медленно стекая, капала багровая жидкость. Он поднялся на пьедестал, издал боевой клич и замер в той же позе, а невидимые видеокамеры облетали его, демонстрируя победителя с разных позиций. На девятнадцатидюймовом жидкокристаллическом дисплее появилась заставка с надписью «You win». Наблюдая за ходом умопомрачительной игры, инстинктивно закрыв рот и нос, с трудом переборов внезапно возникшее желание блевануть, я подумал — хорошо, что мы еще не научились воспроизводить виртуальные запахи.

— Ночью предстоит битва, я не могу оставить свою команду. Без меня они продуют battle. Съезди один или возьми кого-нибудь из друзей. Какой толк от меня, — тихо сказал он, снимая наушники.

— С друзьями ничего не выйдет — кто на работе, кто взял отпуск и уехал.

— Папа, ты как надоедливый спам. Это же тебе надо, а не мне. Что я там буду делать, — ответил он, медленно и тщательно жуя салат.

— Ты даже не спросил, куда мы поедем.

— И куда? — спросил он с полным отсутствием интереса.

— Я хочу...

— Зато я не хочу, — небрежно перебил он.

— Ты сначала дослушай.

— ...

— Мы поедем туда, где жили когда-то твои дедушка и бабушка. Там же прошли мои детские годы. Я знаю — ты помнишь и любишь дедушку, а свою бабушку помнишь едва ли. В последнее время мне все время снятся эти места. По нашим обычаям, если такое часто происходит, принято съездить туда и сделать подношение божествам той местности. Иначе могут начаться всякие жизненные неприятности, так говорят. А то, что сейчас происходит со мною, наверное, именно этот случай и есть. Потом, тебе уже четырнадцать, и я надеюсь на тебя: когда будем возвращаться ночью, ты не дашь мне заснуть

за рулем. Тебе это особого труда не составит, ведь ты по ночам все равно не спишь. В конце концов, подышишь свежим воздухом, отдохнешь от компьютера. Посмотри на себя — в кого ты превратился от своей виртуальной реальности.

Сын впервые за все утро глянул на меня своими покрасневшими и уже сонными глазами; мне показалось, что, откинув спинку офисного кресла, он вот-вот заснет.

— Давай, помоги мне. Ты взрослый человек. В старину, когда мальчик достигал четырнадцатилетнего возраста, для него ставили отдельную юрту, выделяли скот и имущество, подбирали для него невесту и женили...

Сын молчал и смотрел на меня, лишь уголки его губ слегка приподнялись, напоминая едва заметную улыбку. Затем он, опустив глаза, уставился в пол и о чем-то задумался.

Я не знал, о чем он думает: то ли прокручивает стратегию очередной виртуальной битвы, то ли просто засыпает, то ли задумался над моими словами. Но в его поведении что-то все же изменилось.

Я решил — этого вполне достаточно, вернулся в кухню и, выбросив в ведро для мусора две банки из-под кока-колы и пакет с остатками чипсов, принялся есть свой завтрак. Салат у меня получился очень даже ничего.

Закончив с завтраком, я уставился на стену и стал думать о предстоящей поездке, а в квартире опять воцарилась тишина, только в прихожей настенные часы продолжали тикать тихо, бесконечно гоняя по кругу стрелку секундомера. Сидя в тишине, я впервые почувствовал, что та самая метафорическая пропасть, зияющая между мною и сыном, на некоторое время перестала пожирать крошки своих невидимых берегов и что ее глубина уже не так сильно пугает меня.

3.

Мне предстояло съездить на рынок за ячменной мукой, топленным маслом и ветками можжевельника для совершения обряда *сан*. Я оделся, с полки в прихожей взял ключи, проверил — в кармане ли мобильный, затем направился к выходу. Секундомер настенных часов в прихожей тикал все так же монотонно. Перед тем как выйти из квартиры, я взглянул в зал: там царили тишина и полутьма, окна все еще были зашторены, девятнадцатидюймовый безжизненный дисплей зиял черным экраном. Сын спал на диване под летним одеялом, свернувшись калачиком. Увидев его, съжившегося и так крепко спавшего, я подумал, что между нами нет той пропасти, мы близки как никогда. Вот он, мой сынок, со мною, совсем рядом, и пропасть нереальна, выдумана мною, она просто метафора, и нас ничто не разделяет... Но, закрыв глаза, я опять почувствовал что-то, но на этот раз нечто совсем иное — мне показалось, что ход секундомера настенных часов стал замедляться, увеличивая интервалы. Я открыл глаза и, толкнув стальную дверь своей квартиры, очутился на лестничной площадке. Затем, тихонько закрыв за собой дверь, повернул дверную ручку против часовой стрелки — и моментально сработал скрытый сложный механизм секретного замка, заперев мой страх и мою квартиру прочно и надежно от всякого рода несанкционированного доступа.

Я стоял на лестничной площадке третьего этажа нашего крупнопанельного пятиэтажного дома. Подъезд всегда был плохо освещен. На многих этажах вот уже несколько месяцев отсутствовали лампочки. Вдоль лестницы вереницей располагались стальные двери соседствующих квартир. Двери эти исчезали в полумраке плохо освещенного подъезда, создавая иллюзию бесконечности. Постояльцы нашего дома — самые разношерстные. Это можно узнать, взглянув на двери квартир: в квартирах, где двери сделаны кустарным

способом из простого толстого стального листа, живут те, кто зарабатывает плохо или вовсе живет только на пенсию или пособие; а там, где живут люди, имеющие средний уровень достатка, стоят двери уже фабричные, китайского или российского производства. Помимо них есть люди, способные позволить себе тратить больше денег. Их квартиры наглухо закрыты дверьми, оснащенными домофонами и скрытыми видеокамерами, и приобретены они в дорогих фирменных магазинах. Такая же стальная дверь итальянского производства только что закрылась за моей спиной.

Я стоял и смотрел на двери. На наши двери из холодной стали, оснащенные стеклянными безжизненными, близорукими глазками и встроенными невидимыми видеокамерами. Они окружали меня со всех сторон, все — темного цвета. И мне даже почудилось, что я стою в мире, где есть только одни стальные двери, мириады наглухо закрытых дверей из холодной стали, и у меня нет ключей ни для одной из них. Мне захотелось закричать что есть мочи, и я закричал: «Помоги-и-ите!» Мне показалось, что от моего крика задребезжали лестница и бетонные стены, а стальные двери даже не шелохнулись. Тишину, царившую во всех квартирах, ничто не потревожило, мой сын продолжал сладко и крепко спать в своей постели, лишь в нашей прихожей настенные часы монотонно тикали, отсчитывая время.

ХАРТЫГА

Насколько я помню, за все мои детские годы собак у нас было всего три. Еще до появления щенка по прозвищу Чонок, был у нас один охотник, Хартыга, что в переводе означает «сокол». Его родила бродяжка чистокровной тувинской породы, а отцом был, скорее всего, пес из европейских овчарок, и отличался он от всех соседских собак своими заостренными ушами и необычным для собак тувинской породы окрасом, характерным только для овчарок из Европы.

Пес тот охотился на лис. Это было его любимым занятием. В зимние дни он с нетерпением ждал, когда же начнется охота, и, едва завидев отца или старшего брата с ружьем, начинал вилять хвостом. Затем, приняв важный вид, обязательно гавкал три или четыре раза, пристально всматриваясь в даль.

Охотиться с ружьем отец разрешал только старшему брату, остальным строжайшим образом было запрещено прикасаться к оружию.

В один из зимних дней, когда наш второй старший брат, припрятав от родителей отцовское ружье под длинный *тон*, вышел из юрты, чтобы поохотиться самостоятельно, без участия старших, Хартыга со своим собачьим чутьем раскусил тайное намерение брата, подбежал к нему, а тот, испугавшись, что гавканье его выдаст, прошептал:

— Тс-с, тс-с, Хартыга, тихо, тихо!

Хартыга, услышав тихую команду, притих, стал серьезным, смешно нахмурил брови и, приподняв одну из передних лап, пристально начал всматриваться в даль, будто выискивая будущую жертву...

Охота на лис была единственным серьезным занятием для пса. Когда приходил сезон охоты, если не шел никто из старших, он уходил один. Что удивительно, никогда ни одного лиса сам он не задавил, но во время погони заставлял лиса бежать прямо к зимней стоянке. Приближаясь к юрте, пес на бегу азартно лаял со странным поскуливанием, давая знать, что он не один, и, если кто-то был дома, охота Хартыга завершалась удачно. После удачной охоты мы теребили его за ухо и говорили, что он молодец. Довольный, он деловито садился перед нами и подавал одну из лап.

Однажды летом родители уволились из чабанской бригады и переехали на молочно-товарную ферму. Мама ухаживала за телятами, а папа стал оператором огромного, выше человеческого роста, механического сепаратора, установленного в самой большой юрте, привезенной из Монголии специально для этого сепаратора. Сепаратор состоял из нескольких частей. На самом верху устанавливался большой алюминиевый котел для молока, далее торчали два сопла — первое предназначалось для выделения сметаны, второе для обрат, обезжиренного молока. Внутри с бешеной скоростью вращался конусообразный стальной барабан, состоящий из множества специальных тарелок из тонкой стали. Далее шел уже сам корпус, а внутри него — разного калибра шестеренки, приводящие в движение одну единственную ось, на которую устанавливался тот конусообразный барабан. Если взглянуть внутрь корпуса, шестеренки эти наполовину утопали в жидком машинном масле. На задней стороне корпуса устанавливалась кривая ручка. Если посмотреть издали, сепаратор походил на человека-уродца с огромной головой и одной худющей и кривой рукой. Было не так-то просто заставить работать эту махину. Папа со своим напарником вдвоем налегали на ручку этой бандуры, чтобы начал свое вращение огромный тяжелый барабан, и сепаратор с трудом и медленно начинал набирать обороты, издавая звуки, чем-то напоминавшие жужжание огромной юлы. Когда наш уродец набирал нужные обороты, звук вращающегося барабана походил на мощное горловое пение, и можно было одному без труда вращать его кривую ручку. Надо было только стараться, чтобы он не потерял набранные обороты.

Женщины доили коров вручную. Сорокалитровые алюминиевые фляги, полные молока, помогая друг другу, с трудом притаскивали отцу. Отец, облаченный в белоснежный длинный халат, деловито замерял объем молока, кое-как, коряво и с ошибками, записывал фамилии доярок в журнал. Рядом с фамилиями он ставил такие же корявые цифры, затем оприходованное молоко наливал в огромный чан из чугуна. Чан этот стоял на огромной буржуйке. Затем отец закидывал дрова в буржуйку, разжигал огонь и грел молоко. Ему нельзя было отвлекаться, молоко могло вскипеть и убежать. Он брал большой ковш, набирал из чана молоко — и медленной струйкой лил обратно в тот же чан, поднимая ковш все выше и выше. Под льющуюся молочную струю он подставлял мизинец левой руки — таким образом он контролировал температуру молока. Когда прогрев молока достигал нужной кондиции, он, ловко орудуя кочергой, раскидывал горящие в буржуйке дрова, усмиряя полыхавший огонь. Затем набирал молоко в ведро и, поднявшись на большой стул, переливал его в котел сепаратора. Если к тому времени сепаратор успевал набрать нужную скорость, отец осторожно открывал закрытый клапан котла, молоко начинало бежать через небольшое отверстие на дне, попадало внутрь бешено вращающегося барабана, и там, под воздействием центробежной силы, начинался долгожданный процесс отделения сливок.

Струя обрат непрерывно бежала в большие фляги, и в конце работы, когда наполнялись все они, обезжиренное молоко выносили на улицу и переливали в огромные корыта, выдолбленные из стволов многолетних лиственниц. Телята выстраивались в ряд и, суетливо расталкивая друг друга, начинали выщипывать переливающееся через края корыт молоко. Собаки стояли чуть поодаль и терпеливо ждали своей очереди. Когда насытившиеся телята расходились, собаки подбежали к корытам и, закрыв глаза, лакали молоко, оставшееся от телят. А вот сливки, по сравнению с быстро убегающим обратом, еле движущейся улиткой выползали из сопла и столь же медленно, жемчужными капельками долго-долго падали в большую кастрюлю; если в обрат уходило около пятнадцати сорокалитровых фляг молока, то сливок набиралось лишь на одну десятилитровую кастрюлю. Однажды я спросил у

отца — почему из такого огромного количества молока получается так мало нужного продукта? Отец задумчиво ответил мне:

— Наверное, из-за того, что в этой жизни, сынок, хорошего всегда очень мало, очень и очень...

Работу отец со своими часто меняющимися напарниками выполнял каждый день, поднимаясь спозаранку и возвращаясь поздним вечером. Так он вкалывал круглый год, без выходных и праздников, отдавая всего себя работе и взамен от жизни получая самую малость.

Зимой вся ферма переезжала на зимнюю стоянку. Она находилась всего в трех километрах от села. Рано утром, еще затемно, отец запрягал коня и вез нас в школу. Мы забирались в сани и удобно устраивались на подстилке из сена. По утрам трескучие морозы всегда усиливались, и мы залезали под огромное одеяло из овчины, сшитое мамой специально для нас. Под одеялом всегда пахло сеном, и этот аромат напоминал о цветущей степи и солнечном лете.

Ухабистая и сильно петляющая дорога шла через лес. Хартыга каждое утро провожал нас до опушки леса, а когда мы после полудня пешком возвращались с уроков домой, он встречал там же, на той же опушке. Увидев нас, он смешно подпрыгивал, затем, упершись лапами в наши плечи, начинал облизывать, и его радости не было конца.

Однажды мои занятия в школе закончились чуть раньше, чем обычно. Тогда я был первоклассником. Я обрадовался, что смогу подольше погостить у старшей сестры — пока идут уроки у братьев. У родителей было шестеро детей. Самая старшая у нас — сестра, затем родились пять мальчиков. Я — предпоследний сын. Когда мы навещали сестру, она угощала конфетами, буквально запихивая их в наши карманы, и мы по дороге домой с наслаждением лопали их, но каждый всегда оставлял заначку для младшего брата и Хартыга.

Я прибежал к дому сестры, но дверь была закрыта, вместо замка в замочную петлю был вставлен тоненький деревянный колышек. Соседка сестры, проходившая мимо, сказала, что та ушла на работу. Следующие сорок пять минут показались мне вечностью. Я сходил в сельский магазин, на карманную мелочь купил пачку печенья за девять копеек и, упорно борясь с его заманчивым ароматом, запихал в карман пальто. Затем на улице подобрал кусок картонки и несколько раз успел скатиться на нем с горки. Но все равно время тянулось медленно. Тогда я решил идти домой без старших братьев.

Снег под валенками издавал равномерный веселый скрип, лучи солнца сверкали на снежинках. Я то и дело поглаживал в кармане гладкую обертку сладко пахнущего печенья, стараясь шагать как можно быстрее, и дыхание застывало тонким слоем серебра на моих ресницах и на воротнике зимнего пальто. Я шел и думал — вот-вот закончится лес, и на опушке, как всегда, встретит меня Хартыга. Он будет прыгать и бить хвостом, затем упрется в плечи передними лапами и облизнет мои покрасневшие от мороза щеки, а я угощу его сладким печеньем, и мы наперегонки побежим домой.

Мне ничего не стоило пересечь лес шириной всего три километра, и он действительно стремительно редел. Вдали показались заснеженные крыши нескольких избушек нашей фермы. Я вышел из леса и в недоумении стал замедлять шаги: Хартыга на месте не оказалось. Я остановился возле высокой ели, занесенной толстым слоем снега, и, с трудом открывая противно слипающиеся от инея ресницы, посмотрел вокруг, но моего четвероногого друга нигде не было. Я окликнул его:

— Хартыга, Хартыга!.. Ко мне! — но вместо радостного лая зимний лес несколько раз коротко ответил мне сухим и трескучим эхом.

Когда слова безвозвратно растворились в глуши зимнего леса, вдруг обрушился весь снег с веток рядом стоящей высокой ели, оголив ее

темно-зеленую колючую хвою. Затем какая-то тяжелая тоска и необъяснимая тревога стали прокрадываться в мою детскую душу, и мне показалось, что даже та самая многолетняя ель не выдержала и тревожно задрожала всеми своими совершенно голыми и колючими ветками.

После полудня из школы вернулись мои братья, они тоже звали Хартыга, но его нигде не было. Отец сказал — может быть, он пошел на охоту, и на всякий случай приготовил ружье. Тогда мы, несколько успокоившись, по очереди стали выходить на улицу и внимательно прислушиваться, но вместо долгожданного азартного лая нашего охотника мы вынуждены были слушать убийственную тишину. И без того долгая зимняя ночь превратилась в самую настоящую невыносимую вечность.

Отец встал рано и растопил печку, и мы, не дожидаясь, когда прогреется избушка, вскочили и оделись. Мама варила утренний чай, а отец взял ружье и вышел. Тогда мы в спешке тоже стали одеваться, чтобы пойти за ним.

— Сегодня же воскресенье. Куда вы? — спросила мама, наливая из чана чай в большой китайский термос.

— А Хартыга?.. — выпалил я в надежде услышать что-нибудь утешительное.

Мама, расставив на столе пиалы и разливая ароматный утренний чай с молоком, тяжело вздохнула и сказала:

— Его так и нет. Отец поехал его искать.

Мы тихо сели вокруг стола и, даже не прикоснувшись к ароматному чаю, стали с нетерпением ждать возвращения отца.

Как и накануне, мы по очереди выходили на улицу и смотрели в ту сторону, куда уехал отец. Рядом с нашей фермой грядую тянулась цепь невысоких каменистых гор. Отец направился к вершине одной из них. Мы даже некоторое время видели его силуэт. Он стоял рядом с конем и тщательно оглядывал в бинокль округу. Затем он вскочил в седло и, перевалив за грядую, исчез. Нашим ожиданиям, казалось, не было конца.

Прошли два или три утомительного часа. Была моя очередь, и я, потирая варежками замерзающие щеки, смотрел в гору и ждал отца, а в кармане пальто так и лежала нетронутой пачка печенья. Время шло и шло, а я упорно смотрел и смотрел на гору, и вдруг совсем рядом отчетливо услышал топот копыт и фырканье. Я резко повернулся в сторону коновязи и увидел отца. Отец верхом на коне приближался к коновязи, а поперек седла, свесив голову и хвост, беспомощно лежал наш Хартыга. Я закричал:

— Хартыга! Хартыга! Нет, не-е-ет!

Братья выскочили из избушки. Мы, страхась увидеть самое плохое, стали медленно приближаться к коновязи, куда только что подъехал отец. Отец, остановив коня, полными печали глазами посмотрел на нас. Хартыга не двигался. Наступила мертвая тишина. Потом, всхлипывая, тихо начал плакать наш младший братишка. В это время мы услышали еле слышный визг, голова нашего охотника медленно приподнялась — и мы все, ликуя, гурьбой ринулись к нему.

Хартыга был жив, но обессилен. Мы сначала даже не поняли, в чем дело. Отец, все еще сидя в седле и бережно передавая пса старшему брату, с горечью коротко сказал:

— Капкан. Он угодил в капкан.

Лишь тогда мы увидели, что его передняя лапа перебита и безжизненно свисает, болтаясь на маленьком клочке шкуры. Увидев нас, Хартыга жалобно заскулил, и на рукав телогрейки старшего брата из глаз пса хрустальными капельками тихо упали горячие слезы...

Перевод Эдуарда МИЖИТА

ЮРТА ВСЕЛЕННОЙ

*

Пыль Вселенной — плодоносная почва.
Сдунешь пыль, куда пойдешь, пыль глотая?
Будь пылинкой и расти до Вселенной.
Вновь пройдешь ее от края до края.

*

Нет судьбы — тогда одно бездорожье.
Бездорожье без костра кочевое.
Без костра Вселенной — тьма заблуждений,
Где не видишь ничего... ничего и...

*

Кроме тяжести вседневной поклажи,
На горбе своем несем ложь и зависть.
Жизнь и смерть несем по пыли Вселенной.
И невольно жизни новую завязь.

*

Нету крыльев. Хороши будут крылья.
Крылья лучшее лекарство от гнева.
Если есть в тебе Любовь — песня льется.
От Любви стихи идут... небо, небо.

*

Изнемог в пути — найдется опора.
И защита беззащитная наша.
Цитадель Любви хранит во Вселенной —
Столб тотемный и небесная чаша.

*

Голос милой ни царю, ни герою
Не подарит мирноносного масла.
Благодать любви вкушай, жизнь прекрасна.
Как далган в топленном масле прекрасна.

*

Если радость вдруг покажется счастьем,
Озеро в степи покажется морем.
Не гневи судьбу напраслиной праздною.
Океан судьбы — обрушится горем.

*

Сосчитать богатства счетом несметным
Хватит сил и счетоводов наемных?
За молитву дай на бедность бездомным,
И молитвою живи от бездомных.

*

Если ты на кряж взобрался высокий,
Дальше вверх не смей мечтать воздыматься.
Есть предел любой мечте и гордыне.
Упадешь... и не посмеешь подняться.

*

С человеком, чья душа благородна,
Разговаривать — есть светоч и посох.
Дураки, природа их неизменна,
Нас обманут в самых детских вопросах.

*

Если груз собрал, свой скарб суетливый,
Своелишний тюк сложил на телеги,
Понапрасну всю проделал работу.
Кто заплатит за довольства и неги?

*

На протоке одинокая цапля
Круглый день стоит, мальков карауля.
Время наше — не летать, но дежурить,
Плечи гордые бескрыльем сутуля.

*

Если глупый тебя так и обидел —
Сам себя обидел, глупому вторя.
Время выждать, друже, — мудрый поступок,
Нетерпенья кобылицу пришпоря.

*

Бык великий покачнулся на скользи,
А подвластные уж празднуют тризну.
Что пиры нам на весь мир? Что бахвальство?
Лишь от мудрого прими укоризну.

*

Мать — безбожница, когда любит сына.
Любит так, что содрогаются горы.
Сатана был светлый Ангел началью,
Сына дал — к чему никчемные споры?

*

Глаз, не веющих теплом — долгий холод.
Беспросветная зима на чужбине.
От погасшего огня нет спасенья.
Век холодный нелюбви от гордыни.

*

Вьюга встанет высоченной стеною,
Может быть, твоя последняя вьюга.
Все друзья укрылись в юртах далеких.
Одного ищи, но верного друга.

*

Лютый враг попал судьбине в немилость.
Преступи себя — прости ему лютость.
Старцы скажут о тебе: «Победитель».
А юнцам не верь — воинственна юность.

*

Если яд клеветника точит душу,
Никаких противоядий не надо,
Врачеватель твой — молчащее Время.
Клеветник умрет от тихого яда.

*

Гости съехались, а ты не приветил.
В настроении был дурном ... и так дале...
Так не жди в ответ от них угощенья.
Жди позора в материнском аале.

*

Если даже твой сундук полон золотом,
Не твоя рука, но Время считает.
Только щедрый спит как голый младенец.
Бог по душам щедрых — книгу читает.

*

Многоцветна есть душа человека,
Но когда на ней столетняя копоть,
Тень судьбы ведет слепого к могиле,
И не видит он разверстую пропасть.

*

Весела, бела, легка, лучезарна,
Молоком земли и неба полдневна
Ты полна, душа моя, — темным силам
Не подвластна луноликая дева.

*

Честь мужчины — высота боевая.
Если выстоит, то храбро и честно.
А подруга изменила, так что же,
Подрастает для героя невеста.

*

Дом родимый — это Юрта Вселенной —
Юным крепость и опора старшинам.
Если мудрым наставленьям не верить —
Будет путь закрыт к заветным вершинам.

*Вольный перевод с тувинского
Станислава МИХАЙЛОВА*

СВИДАНИЕ ПОСЛЕ ОХОТЫ

Р а с с к а з

Каган уйгурского эля Моюн-чур, не тревожимый никем, погрузился в глубокие размышления, словно в озерные воды Тере-Холя...

«Я должен приказать подданным поставить большую стелу и там высечь грозные, проникающие в души слова, свидетельствующие о славе и могуществе. Конечно, о моей славе! Если я оставлю письмена, подобные письменам, высеченным на памятниках кагана тюрокв-тюкю Могиляна, прозванного Бильге-Мудрый (о, как обидно, ведь это я, это я — единственный настоящий Бильге-каган!), его воинственного брата Кул-тегина и хитроумного лиса степей Тонукока, то мое имя останется даже после того, как я оторвусь-уйду от желтого мира живых, и оно подавит своим величием раздутую, никчемную славу тех же самых тюрокв-тюкю».

Так размышляя, каган долго сидел, пребывая в довольстве, наслаждаясь картинами своей объемлющей дали мечты. Но эту сладостную, непоколебимую, как стоячая вода, мысль-мечту оборвали гораздо более тревожные, страшные, неотвратимые, как каменный обвал, хватающие за горло мысли, предвещающие беду...

«Злобные черные карлуки, остатки тюрокв-тюкю, которых я победил и рассеял, а также ничтожные таежные племена, обитающие между реками Абы и Кем, хотят, объединившись, напасть на меня, на мое государство. Каган закогменских племен, где верховодят кыргызы, вот мой опаснейший враг... да, именно он. К тому же называет себя каганом! Когда есть единственный каган — я... как он посмел! Лучше не дать им собраться, уничтожить поодиночке. Надо послать в землю чиков отборную тысячу. Ведь если донесение Тулун-бега, вставшего под мою руку, правдиво, то скоро туда нагрянут летучие отряды хакасов и будут подстрекать чиков на восстание. Злобные мерзавцы! На мое счастье, нашлись продажные тюркские вожди. Ведь есть, никуда не делись, среди них лстивые собаки, которые, если дашь должность-чин наподобие дархана, шелк и золото-серебро, прибегут, виляя хвостиками; есть эти волчата, которые будут драться за верховное звание тутука и отбрасывать друг друга, стараясь показать свою преданность мне, на мое счастье. Благодаря таким, я узнал про этот заговор. Иначе эти сволочи могли бы, объединившись, усилиться и потревожить мой покой. А на следующий год стоит переправиться через Иртыш и наказать карлуков. К тому же, говорят, что среди моего народа поднимают головы странные люди, верящие человеку по имени Христос, и распространяют проповеди, поднимают смуту против меня. Да, надо срочно подавить этих людишек, не спускающих с языка Три Святыни, и обдумать все о нашей вере. Возможно, некоторые мои советники правильно говорят, что нашу веру в Денгера или же в мирного бога по имени Будда, который призывает быть милосердными, стоит изменить. Что если принять во внимание советы тех, кто говорит, что стоит поклоняться богу Мани?...»

По случайному совпадению именно в это время предводитель чикского войска по имени Сайды — мужчина возраста, приближающегося к сорока годам,

могучий, с решительным обликом, громким голосом, который с самого детства не слезал с седла и единственной работой и заботой которого было сражаться, — с десятью спутниками перевалив через Когмен, следовал по постепенно расширяющемуся узкому руслу Абы, торопясь на встречу с кыргызским каганом. Поскольку племя кыргыс, выдвинувшее кагана, было самым сильным среди других племен, подчиняющихся своим эльтеберам, главой этого эля всегда был вождь кыргызов, и чикской делегации надо было предстать перед ним.

«Кыргызский дозор, где так часто мелькают воины со светлыми головами и красновато-белыми лицами, уже ускакал, чтобы сообщить кагану о нашем прибытии. Теперь не стоит так торопиться, мы же не звери, загоняемые хищниками; будем не спеша продвигаться к цели, изредка переходя на рысь. Когда гонцы отнесут послание, пусть каган кыргызов спокойно обдумает все и сам решит, как принять нас...» — с такими соображениями Сайды, возглавляя спутников, степенно спускался в равнину.

Переночевали на берегу реки Авы, или Авыган, впервые после отъезда разложив костер, а назавтра в длинный полдень приехали в городище на устье Уйбата. Здесь стоял центр хакасского или кыргызского эля, основательно укрепленная крепость Ажо-кагана Ынанчы. Навстречу чикским посланникам выехал представитель кагана по имени Алакет-бег и, отведя их к двум юртам, где они будут отдыхать и жить, доложил, что прием кагана и большие переговоры будут послезавтра, а завтра в тайге состоится охота, к участию в которой чики тоже приглашаются. Делать нечего, пришлось ждать и принять приглашение.

Когда солнце, словно смущаясь, незаметно начало выглядывать из-за вершин гор, свита кагана числом больше ста человек и гости из Кема и Кемчика большой толпой отправились на место охоты, до которого было довольно далеко, и только в малый полдень приехали в какую-то тайгу и разбили временный стан. Урандай, племянник Сайды, который был выращен и воспитан дядей, молодой двадцатилетний парень, с огромным интересом разглядывал новые земли и людей другого народа, особо приглядываясь к оружию кыргызских воинов. Воины в панцирях, с длинными копьями и луками со стрелами, на своих крупных лошадях тоже надевали броню.

«Зачем такое вооружение для охоты? Наверно, хотят показать пришлым гостям свою мощь», — подумал Урандай.

Также было много легковооруженных воинов. Внимательно посмотрев на одного воина с тонким станом, оседлавшего лошадь белой масти, Урандай разинул рот: оказалось, что воин не мужчина, а девушка! Как здесь говорят, эпчи. Она не ездил в строю, как другие воины, все носилась туда-сюда, вела себя своевольно, даже дерзко. Вот она прискакала к Ажо-кагану и обменялась с ним словами, а тому хоть бы что, не сердится, наоборот, улыбается — очень странно!

— Все смотришь на дочь кагана... Да, Урандай, и вправду говорят, что она красавица. Старшая дочь Ажо, она выросла наравне с мальчишками, а как владеет мечом и стреляет из лука — ничем не уступает мужчинам, уж не знаю, правду говорят или лгут, но так я слышал, — это Сайды, оказавшись около племянника, выпалил довольно много слов, что было на него не похоже.

— Нет, дядя, просто я думал, что это парень, — Урандай зачем-то оправдывался.

Наступал вечер. Разгар охоты прошел, настало время собрать добычу, подвести итоги. Несколько человек, погнавшиеся за кабаном, удалившись от основной группы, разредились так, что стали терять друг друга из виду. Среди них был и Урандай. Он все время держался вблизи той девушки на белой лошади, которой утром заинтересовался, незаметно наблюдая за ней, и, чтобы не терять ее из виду, давно отстал от сородичей. И в самом деле, он своими глазами видел все — и поверил, что она очень удалая, настоящая охотница. Ее добыча

уже составляла груз нескольких лошадей. Урандай очень старался, чтобы ему, мужчине, не краснеть перед ней, но вряд ли обошел дочь кагана в охоте.

Девушка краем глаз увидела, как секач с огромными клыками, наверно, не раз попадавший в облаву, не стал выходить на открытое место, а побежал в сторону скалистой вершины лесистой горы. Охотница, давно преследовавшая зверя, помчалась за ним. Когда скакун почти догнал кабана, нашелся другой «охотник» — из-за скал выскочил барс, заметивший секача. Хищник также заметил несущегося всадника. Всегда осмотрительный, боящийся людей, он, не желая отдавать добычу, что сама просилась к нему в рот, не убегая и озлобляясь, зашелся хрипом в мощной груди. Кабан, увидев барса, оборотился и от безысходности понесся на лошадь. Аялза (так звали девушку) метко метнула копьё ему в загривок. Раненный зверь, собрав последние силы, стремился раскрыть клыками грудь лошади. Аялза, соскочив на землю, взяла меч. Когда кабан бросился на нее, она направила оружие ему в грудь, и секач, с разбега напоротившись на острие, наконец-то упал и испустил дух. Девушка, заподозрив неладное, быстро взглянула на скалу и, будучи не трусливой, вскрикнула: похожий на огромного кота барс, хищник пострашнее лежащей добычи, стремительно напал. Он был быстр; глаза, что красные угли, рот весь скалился зубами. Меч девушки был на груди кабана, подмявшего его под собой, и не было времени вытащить, а копьё сломалось, колчан со стрелами опустел. Решив — будь что будет, вытащив нож, последнее оружие, она встала, всматриваясь в приблизившегося хищника. Лошадь ее тревожно заржала.

Издаലെка наблюдавший за всем этим Урандай, мгновенно привстав на стременах, заклиная, выпустил стрелу с железным наконечником из своего тугого лука. Барс, готовый вцепиться в горло человека, который отобрал его добычу, на расстоянии последнего прыжка от девушки внезапно упал навзничь, и его конечности задержались на каменистой почве. Остолбеневшая было девушка, сразу же очнувшись, выхватила меч и решительно добила зверя. То ли от сильного замаха, то ли от всех тревог Аялза, тут же присев, хотела быстро вскочить, но не смогла. Урандай, ловко соскочив с седла, протянул руку девушке; в его широкую, жесткую ладонь нырнула девичья рука, хоть и знающая рукоять меча. И ему так не хотелось отпускать эту руку... В это мгновение взгляды двух молодых людей встретились. Гордая девушка, привыкшая к поклонению, все же первой отвела взор. Так началось их знакомство...

Спустя пять дней чикские посланники, устроив свои дела, отправились домой. Они теперь возвращались не одни, а с сотней хакасских воинов. Они были подтверждением договора с кыргызским каганом о совместной борьбе с уйгурами и первым летучим отрядом хакасов, имеющих целью поднять восстание чиков.

Перед тем как союзники, почти перевалившие за Когмен, уже взошли на последний большой перевал, после которого вступили бы на родную землю, вождь Сайды, медленно подъехав к племяннику Урандаю, который за всю дорогу не выдал из себя ни слова, будто самец верблюда ударил ему в рот, строгим тоном сказал ему:

— Слушай меня. Ты мужчина, ты удалой воин, ты будущий глава нашего рода, который сменит меня. Выбрось из души грустные мысли о той девушке. Думай о борьбе за лучшую долю, за право свободно жить, о соперничестве с неприятелями. Каган никогда не отдаст единственную дочь нам в невестки. Мы — племя, побежденное уйгурами... и просящее о помощи, находимся на ступени ниже, чем та, на которой находится Ажо. Таково наше сегодняшнее состояние. Если мы посватали хотя бы дочь Алакет-бега — возможно, отдадут, ведь ее мать из рода соян, почти родня нам, чикам. А мысль Ажо-кагана простирается далеко, и не зря он поддерживает нас, с умыслом. Он хочет границы своего государства перенести южнее озера Успа, в долину

реки Орхон, и установить прямые связи с табгачами. А нас Ажо использует в нужное время, а потом, может, сделает своими данниками-кыштымами. Так что будем же умнее, осмотрительнее, Урандай.

Племянник, прямо посмотрев на Сайды, крепко сжав рукоять меча, решительно ответил:

— Понял, дядя.

Разговор на этом вроде завершился. Но не знал дядя, что руки молодца не забыли волшебное тепло гибких пальцев Аялзы, а его неприрученное сердце буйным костром горело на соблазнительном огне черных глаз девушки, которые, прямо посмотрев, замигали и отвернулись. Между тем подул холодный ветер, а кони, изгибаясь под тяжестью хозяев и их поклажи, еле поднялись на перевал. Теперь осталось держать путь на Кемчикскую долину, только домой...

Урандай и Аялза после охоты еще раз свиделись вдвоем в безлюдном месте. Они очень старались увидеться тайно, но всевидящие глаза с обеих сторон ни одного их шага не пропустили. Вот почему Сайды так говорил с племянником. Он был муж бдительный, подозревающий всех и вся, искусный, и, узнав про ту встречу, был вынужден открыть глаза Урандаю, объяснить действительное положение вещей.

«К черту все это, как нам посвататься к Ажо-кагану, только потерпим унижение... Одна встреча с течением времени забудется, останется позади. Мой племянник пусть женится на другой. Разве оскудели красавицами туматы, сояны или иргиты, устройте смотр, выберу одну из них и сосватаю, ведь и в самом деле мужчина должен иметь потомство, вот какой я глупец, что раньше об этом не подумал...» — с такими думами ехал Сайды после недавнего разговора.

А когда кагану доложили о той встрече, он, выражая крайнее недовольство, распорядился:

— Дочь мою сейчас же отправьте в другой стан, не давайте ей больше встречаться с чикским парнем.

Никто не знал, что Ажо на счет дочери имел одну крылатую мечту, которая в мыслях улетала за видимые глазом хребты и реки, а потом еще дальше, за другой край Великой степи. А вот какая дума сверлила душу Ынанчы, колола его печень. Он хотел, победив уйгуров, довести пределы своего эла до Тана и, не питая пустых мечтаний, завоевать это могучее, кишашее населением государство, договориться с ним о добрососедских отношениях, обмене послами, о взаимовыгодном устройстве мира — чтобы разделить подвластные территории, страны, зависимые народы-племена, не мешая друг другу. Вот чего он хотел добиться. Один из удобных способов налаживания связей он видел в своей дочери. Пусть не сын, не наследник, но она должна послужить замыслам отца. Ближайшей большой целью Ажо-кагана было отправить ее с посольством в Поднебесную и выдать замуж за одного из влиятельных принцев Танской династии. А в ответ он хотел получить в жены одну из многочисленных принцесс — для себя или для сына. (Как же Ажо-каган будет хуже Моюнчура, женившегося на китайской принцессе!) Поэтому нельзя подпускать никого к Аялзе, ни один мужчина не должен ее касаться! А этот молодой воин, хотя и родом из чикских бегов, разве может равняться с его дочерью?!

— Пока я не разгневался и не приказал отрубить голову ничтожного чикского посланника вместе с шапкой, пусть убирается восвосяи и, даже сам не понимая, поможет осуществлению хотя бы частицы моего великого дела, но пусть не посмеет помешать моей конечной цели, связанной с дочерью!..

Урандай, не имея возможности даже предвидеть все это, унесся прямо в небо естественным молодым порывом души, заинтересовавшись той девушкой. Зажглось все от взглядов. Разговаривать, общаться им было совсем не трудно, друг друга понимали легко. После того как расправились с кабаном и барсом, успели только обменяться несколькими словами, узнать имена. Сразу

же примчались обеспокоенные охотники, телохранители кагана и помешали общению. Но парень успел, осмелев, спросить:

— Можем ли там, в крепости, вечером встретиться?

Девушка, улыбнувшись уголками губ, тихо, но внятно ответила:

— Когда взойдет Шолбан, буду в лесочке за холмом, что напротив главных ворот.

И в самом деле, молодые встретились там, в условном месте, оставив лошадей, тихо выскользнув из крепости. Там, в лунную ночь, быстро научившись смотреть друг другу в глаза, свободно, от души поговорили. Девушка была очарована чикским парнем, иначе этому свиданию не бывать. О том, что дочь главы эла-государства должна иметь отличные от других манеры, она много слышала от воспитателей, да и сама думала о том, как себя нужно вести, знала правила приличия. Но на этот раз, в этот тихий вечер Аялза была сама не своя: сотворила себе свидание (а как эту первую встречу еще можно назвать?) с парнем, которого видела только раз, да еще и чужеземцем! Но не смогла сопротивляться желанию, совсем недавно появившемуся в душе.

Поскольку и у парня, и у девушки не было возможности полностью распоряжаться собой, поступать по своей воле, встреча оказалась короткой и длилась столько времени, за сколько можно было дважды вскипятить чай. Прощаясь, парень вручил девушке только что расцветший бубенчик цветка сараны и во второй раз, лаская, погладил ее гибкие пальчики. Сильнейшее притяжение, подобное удару молнии, снова сотрясло их, и в последний раз без стыда встретившиеся взгляды сказали о многом. И никто не знал, что будет дальше, только затаившаяся надежда, что благодаря заступничеству Неба и матери-богини Умай все может уладиться, что посчастливится судьбам сплестись в один узел — освещала и согревала души.

После того как чикские посланники прибыли в родную землю, на берега Кема, тихо разгоравшаяся борьба против уйгуров вспыхнула открытым пламенем. Несколько племен, объединив усилия и договорившись, напали на укрепленный стан уйгурского войска в Чаа-Холе. Но странно, что враг, будто заранее зная об этом, встретил союзников полностью подготовленным и отразил нападение. Из-за множества потерь повстанцы, возглавляемые чиками, вынужденно отступили и разбежались. Во время сражения Сайды был смертельно ранен. Когда долго вытаскивали железное острие стрелы, впившейся в правый бок, пролилось много крови. Потом рана, воспалившись, загноилась, и старик-травник, лечивший Сайды, при виде его близких стал только качать головой, ничего не говоря. В одно утро дядя, вызвав племянника, с усилием вытаскивая слова, дал последний наказ:

— Среди нас есть предатель... Остерегайтесь Тулуна, наверно, он предал нас... Пока особенно не надейтесь на помощь Ажо-кагана... А в будущем, в единой связке, объединив усилия, думайте, как жить свободно, не подчиняясь никому... вот наказ, племянник...

Говоря так, Сайды закрыл глаза и заснул долгим сном.

Когда не стало дяди, который вырастил его, заменив отца, павшего в схватке с уйгурами, Урандай, хотя и был объят сильным горем, став вождем племени, поклялся Небу-Денгеру, земле-ганды, а также себе исполнить наказы дяди. По обычаям, согласно славным делам и званию, похоронили Сайды; поставили на могиле камень-стелу, придумали поминальные слова и нашли искусного резчика, который сразу же начал работу. Тогда пришло время Урандаю думать о делах близких и дальних...

Между тем пришла весть, что очередная летучая группа хакасов, перевалив Когмен, на беду свою попала в засаду, окруженная на узком месте между Кемом и Кемчиком. Чикский гонец с вестью: «Спасите наши жизни, мы в

тяжелом положении» — во весь опор прискакал к Урандаю рано утром. Тот же гонец сказал ему:

— У меня есть еще письмо, только для вас.

Молодой вождь знал множество писем, высеченных на скалах, стелах, но никогда не получал посланий, адресованных лично ему. Когда гонец выгасил из-за пазухи и сунул ему письмо, нацарапанное острием ножа на березовой коре, Урандай степенно, будто ничего особого не произошло, взял и легко прочитал написанное. Ничего удивительного, ведь многие чики знали грамоту, а Урандаю дядя еще в детстве открыл тайну непонятных знаков. Прочитав, вождь чиков еле сдержал крик — оказалось, Аялза находилась здесь, среди перевалившего к Кемчику и окруженного небольшого хакасского войска! В письме было мало слов, смысл их заключался в следующем: знай же, что это я, Аялза, хотела встретиться, поэтому нахожусь тут.

Урандай сразу же начал действовать. Он собрал всех воинов, которые были поблизости, отправил гонцов к сородичам в дальних стойбищах с зовом о помощи и в малый полдень выехал во главе войска.

В полдень дозорные Урандая столкнулись с дозорными уйгурского войска. Они подошли вплотную к главным силам уйгуров и стали изучать, откуда удобнее прорвать их строй. И сразу же стало ясно, что осуществить это крайне сложно. Враг засел на высокой горе, и напасть на него и хакасам, окруженным в теснине, и чикам, вставшим на плоскогорье, нелегко. Разведчики донесли, что сюда следует другая воинская группа уйгуров. Если замешкаться, то многочисленные чики сами неизбежно попадут в окружение. Единственный способ — с ходу протаранить их оборону! Бить врага до панического бегства!.. Но сказать-то легко, а исполнить и тяжело, и опасно. Увидев малочисленность напавших чиков, уйгуры, привычные сражаться, не дрогнув, наоборот, воспрянут духом...

Но делать нечего, решили идти в прорыв. По договоренности, отправленной самими хакасами в письме, передали им дымовую весточку, поджигая костер на противоположной горе. Узнав о приходе помощи, хакасы должны были вступить в битву.

Пронзительно зазвенели холодные клинки, грозно засвистели окрыленные смертью стрелы, от утесов и прибрежных скал отражались горестным эхом крики и стоны, — так в самый жар большого полдня разразилась суровая битва. Ни одна стрела Урандая не пролетела мимо цели, рука с мечом не уставала разить, но сам он старался беречь себя — не хотел пасть раньше времени, не увидев любимую. Воины, видевшие, как их вождь рьяно бьется, хотя и было их мало, теснили многочисленных уйгуров, готовые вот-вот взойти на гору.

Не знал Урандай, что тем временем в хакасском стане открылась тайна Аялзы. Вновь пришедший летучий отряд возглавлял сам Алакет-бег. Его главной целью было не воевать во главе маленького отряда, а по специальному поручению кагана объединить действия разрозненных родственных племен, живущих на Кеме и Кемчике, а также на берегах Успа-Холя и Копсе-Холя, на склонах хребтов Саян, Танды и в других местах, создать могучий, способный на решительные действия союз и подготовить нападение на уйгуров с двух сторон. Не ограничиваясь редкими, почти безрезультативными столкновениями, разжечь огонь настоящей войны, чтоб разбить уйгуров: нужно уничтожить сопротивляющихся, а остальных разогнать, рассеять.

Даже не начав выполнять сложное задание Ажо-кагана, Алакет-бег попал в засаду. Поняв, что находится на грани уничтожения, он, чтобы передать срочную весть союзникам, нашел местного гонца из чиков, который заверил, что один сможет выбраться из кольца окружения, и отправил его. Будучи наблюдательным, Алакет-бег увидел, что перед отъездом гонца один

из его людей встретился с ним и, передав что-то плоское, обернутое в ткань, обменялся какими-то словами. «Что все это значит, и что он сунул гонцу, не уйгурский ли это шпион, состоящий в заговоре с тем чиком? Но как такое может быть, ведь привели сюда самых проверенных... Схватить ли гонца прямо сейчас или довериться ему? Даже если не поверим, что из того, не в нем ли наш последний шанс, ведь сами мы отсюда ни за что не выберемся...» Так мучился он, весь в сомнениях, не зная, что и предпринять, а гонец исчез, будто протиснулся в трещину на скале. Придя к заключению, что надо следить за тем подозрительным воином, Алакет-бег вдруг понял, что ничего о нем не знает. Поспрашивал у других, только один воин вспомнил:

— Прямо перед отправкой заболел сагаец Эдил, вот он его и заменил.

После этого подозрение Алакета усилилось, и он вместе с двумя воинами позвал в сторону того мутного, как поток после ливня, воина.

— Ты кто? Не скрывай правду, мы знаем, что ты шпион, а гонца, с которым ты был в сговоре, мы поймали, и он признался.

На эти грозные обвинения воин, ничуть не смущаясь, спокойно давал ответы. После истечения некоторого времени, так и не добившись признания, Алакет-бег приказал бить его плетью. Тогда случилось неожиданное. Воины уже начали снимать доспехи с «предателя», когда тот, посмотрев прямо в глаза бега, негромко, но внятно сказал:

— Давай поговорим с глазу на глаз. Прикажи освободить меня, иначе потом сам очень пожалеешь, за проступок свой ответишь по полной.

Всмотревшись в черные, полыхающие ровным пламенем глаза молодого парня, то ли от тайной догадки, то ли от раскованного, вольного поведения воина, Алакет-бег, и сам не зная отчего, уступив ему, пошел за большую скалу поговорить с ним.

— Ну что? В чем хочешь признаться? Говори правду.

— Да, кажется, пришло время быть правдивым. Вы не узнали меня — Аялза я, дочь кагана.

Сказав так, воин, казавшийся мужчиной, снял шлем, и бег наконец-то узнал дочь своего кагана.

«Что за дела? Как я раньше не заметил. Беда, беда, как же так, когда наши жизни вот-вот оборвутся, узнать такое. Теперь буду думать не только о том, как самому спастись, главное теперь — как ее спасти, ну что за судьба у меня...» — мысли Алакет-бега, как горный обвал, с грохотом срывались вниз.

И в тот самый момент прибежал воин, который увидел дым сигнального костра, о котором условились с чикским гонцом. Некогда стало вести разговоры, надо было срочно действовать. Алакет, чтобы не упускать Аялзу из виду, наказал ей: «Будешь рядом со мной», — а сам тайно приказал двум самым сильным своим воинам беречь ее как зеницу ока. Потом, удостоверившись, что чики напали на врага, отдал приказ своим воинам начать прорыв окружения.

Попав в засаду после тяжелой дороги, хакасы провели в окружении два дня и ночь, но у воинов боевой дух вовсе не угас, что сразу же стало ясно. Воодушевленные приходом союзников, бойцы решительно пошли на штурм горы, где засели уйгуры. И опять зазвучали на узких ущельях Кемчика и Кема громкие звуки битвы, крики, проклятия. Красно-алая кровь убитых и раненных соперников, словно очередная дань неутолимой жажде божества войны, стала поливать покрытую галькой, крупными камнями и невысокой редкой травой горную гряду.

Группа Урандая первой взошла на вершину горы. Молодой вождь чиков, посмотрев на сторону хакасов, увидел, что воины Алакет-бега, храбро сражаясь, опрокидывают уйгуров. Вражеские воины начали терять волю к сопротивлению и, привыкнув сражаться на равнинных местах, собравшись в кучу на склоне, думали, как бы быстрее убежать с этих горных круч.

В то время Урандай, на миг потерявший бдительность, не заметил, как один меткий уйгурский воин, не спуская с него глаз, тщательно прицеливается, и стрела, свистя в полете, воткнулась в основание шеи удалыца. Тяжело раненный, он, ощущая близость смерти, все еще не падая, сделал несколько шагов вперед, наткнувшись на двух убежавших уйгуров. Телохранитель, заметивший ранение Урандая, находился далеко, не успел защитить вождя. Меч молодого героя сделал последний замах и разрубил одного из уйгуров, но безжалостный меч второго вонзился ему в грудь, и тотчас ясное небо потемнело, сознание покрылось темным, неподъемным покровом, и не было сил даже произнести: «Аялза...»

Подбежавший чик заколол уйгура копьем, но душа Урандая уже улетела в небеса, тело же начало остывать. Еще один великий богатырь чиков, не насытившись матерью-землей, элом и народом, любимой девушкой, оторвался от мира всего живого, о горе!..

Уйгуры, обходя редкий строй чиков, бежали под гору. У оставшихся в живых чиков и хакасов не было сил преследовать врага — страшные потери обескровили их. Алакет, доверив Аялзу защите своих земляков, отправился к вождю чиков, но выяснилось, что он опоздал. Хакасский бег всмотрелся в побелевшее мертвое лицо молодого чикского вождя и узнал того воина, что недавно приезжал в их землю-эл. «Да, ошибки нет, тогда чикских посланников возглавлял Сайды, а это тот самый парень, племянник его. Тот, что встретился с Аялзой и спас ее от барса... — Алакет, вспомнив ту встречу, встрепенулся. — Да, помню, после того, как этот воин встречался с Аялзой, каган был сильно разгневан и немедленно отослал дочь в другое место. Теперь дело проясняется. Чересчур упрямая девушка, влюбившаяся в этого парня, захотела его увидеть и тайно перевалила через Когмен. В этом вся причина. И послала ему весточку. И как теперь быть?..»

Между тем, не щадя лошади, на крутой подъем взобрался чикский разведчик. Он доложил:

— Сюда скачет большая группа уйгуров, объединенная с бежавшими, скоро они будут здесь.

У немногочисленных союзников теперь не было возможности противостоять врагу. Времени было в обрез; навьючив на лошадей и положив на волокуши раненых и убитых, надо было поскорее скрыться в тайге, затеряться в густых лесах.

Мысли Алакет-бега снова стали скатываться обвалом, рокотать водопадом: «Лучше будет скрыть от Аялзы, что тот парень здесь пал, немедленно ехать домой. Потом вернусь, чтобы исполнить поручение, удача моя в благополучном возвращении дочери кагана — надеюсь, господин простит меня...»

Он стал действовать. С чиками было решено идти в разные стороны. Хакасы зайдут в лес и, запутав следы, выйдут на дорогу, ведущую в родные места, а самые сильные из оставшихся, отвлекая уйгуров, выйдут навстречу им и, немного постреляв из луков, умчатся в таежные заросли. А чики, увозя раненных и погибших товарищей, в это время уйдут в другую сторону. Решив так, союзники начали делиться на три группы.

Алакет-бег вернулся к своим и приказал срочно готовиться к отходу в тайгу. Тогда Аялза решила на откровенный разговор:

— Я приехала сюда встретиться с племянником вождя чиков Сайды Урандаем. Вчерашний гонец должен был отнести ему мое письмо, и он должен был приехать с этими чиками. Кажется, он не приехал, а раз так, то я останусь с чиками, возвращусь потом.

Услышав это, Алакет чуть не лишился ума, но сдержал себя и, в один миг обдумав все случившееся, нашел выход:

— О, дочь моего кагана! Сестренка, Аялза, плохая нам выпала доля. Урандай, ради которого ты приехала, три дня назад ушел из этого мира, бедный,

теперь не числится он среди живых. Только что я услышал об этом, гонец, с которым ты говорила, не успел узнать скорбную весть. Вот потому-то и нет его здесь. Что нам остается, только крепиться, смириться. Давай вместе уедем, дочка, подумай про папу и про меня, его верного подданного: если я вернусь без тебя, то отец твой рассердится и голову мою возьмет вместе с шапкой...

Так Алакету удалось уговорить Аялзу, остолбеневшую от внезапно свалившегося глубокого горя, лишую слезы ручьем. Он усадил ее на коня, которого, взяв в свои руки повод, сам повел. После этого оставшиеся воины отправились в путь.

Земля, где недавно закончилась битва, вершина и скалистые склоны горы, ее подножие, слившееся с плоскогорьем, окутаны тишиной, опустели. Опередившие других птиц коршуны пировали. Сломанные древки копий, стрел и тела уйгуров остались свидетельствовать, что здесь произошло жестокое сражение.

Тело Урандая воины увезли, навьючив между двух лошадей, чтобы похоронить, оказав последние почести. Аялза, с воспаленными глазами, еле живая, чуть не сваливаясь с седла, ехала за Алакетом. Свидание молодых так и осталось без продолжения, словно песня, оборванная в один миг.

Назавтра хакасский отряд взошел на последний перевал Когменского хребта и готовился спуститься на северную сторону. Тогда Аялза, обернувшись, в последний раз покрасневшими глазами посмотрела в сторону ущелья Кема и Кемчика. Потом, засунув руку за пазуху и пошарив там, вытащила засохший бутон цветка сараны и, кроша, дунула назад.

— Прощай, мой удалец, приехала в поисках тебя, мечтая о встрече, но только услышала проклятую черную весть о твоей гибели. Отныне моя судьба-дорога станет тропой заблудшего в темных зарослях, ведущей в тупик. Прощай... в будущей жизни, если возродимся, будет ли нам судьба встретиться?..

Алакет-бег вздохнул и потянул повод лошади Аялзы. Остаток хакасского летучего отряда начал спуск к родной долине.

Словарь тувинских слов

Эл — государство.

Тере-Хол — озеро в восточной Туве, где была возведена древнейгузская крепость Пор-Бажын.

Абы и *Кем* — реки Абакан и Улуг-Хем, Енисей.

Когмен — старинное название Западных Саян.

Чики — урянхае-тюркское племя, обитавшее в центральной Туве, одни из предков современных тувинцев.

Три Святыни — имеется в виду Святая Троица, по-уйгурски: Уч Ыдык.

Эльтебер — титул предводителя племени.

Кемчик — река в западной Туве, наиболее крупный приток Улуг-Хема, ныне называется Хемчик.

Табгачи — так называли в то время северных китайцев династии Тан.

Туматы, *сояны*, *иргиты* — урянхайские племена, участвовавшие в этногенезе тувинского народа.

Тан — название могучей китайской империи.

Шолбан — Венера.

Чаа-Холь — название местности в северо-западной Туве, ныне один из районов Тувы, когда-то здесь был своеобразный центр Тувы, перекресток дорог.

Упса-Хол и *Консе-Хол* (озера Убса-Нур и Хубсугул в Монголии) — крупные озера в Центральной Азии, в то время принадлежавшие тюркоязычным племенам — предкам современных тувинцев.

«ТЫ НОСИЛА МЕНЯ НА СПИНЕ...»

Баллада о матери

1.

Мама носила меня на спине.
Как кобылица в степном табуне,
Легкая на ногу и молодая...
Я жеребенком вязался за ней —
Нет беззаботней тех солнечных дней!
Мир открывал я, резвясь и играя.

Я подрастал, но в аале один
Не оставался — за мамой ходил.
Берег песчаный, прозрачные воды...
Мама носила меня на спине —
Небо и свет приближались ко мне!
Тихо несую эту память сквозь годы.

Молвят в народе, что шар наш земной
Матери мира несут за спиной,
Все отдавая, себя не жалея...
Жизнь на Земле, по преданьям веков,
Вскормлена белым их молоком.
Да и на млечном высоком пути
Мамины руки согреют...

2.

Матери моей давно не стало —
Косточки рассыпались в песках,
С камешками их перемешало...
Но остался на моих глазах

Поцелуй ее... да божия коровка
Памяти, что тихо подползет...
Помню рук натруженных сноровку,
И поет мне мама, все поет.

Мама никогда не уставала:
Шила ли, ходила ль за водой,
Кошмы ли катала, кожи мяла —
Помню маму стройной, молодой.

Шла по лугу, словно бы порхала,
 Чтоб траву упругую не мять...
 Незаметно и она устала —
 Время никому не обогнать.

3.

Бабочки ночные над травой порхают.
 Может, то лопатки мамины мерцают.
 Может, это мама в темноте ночной,
 Охраняя сына, вьется над землей.

Если вдруг закружит в омуте степном —
 Иногда случается такое с чабаном, —
 Бабочки ночные мне укажут путь,
 Мамино дыханье обогреет грудь.

Ах ты, степь ковыльная среди синих гор!
 С песней материнской я вышел на простор.
 И меня по жизни как челнок несло...
 Руки материнские были мне весло.

4.

«Почему старики, — я у деда спросил, —
 На лопатках бараньих гадают?»
 «Расскажу только то, — дед глаза опустил, —
 Что от дедов и прадедов знаю.

Дело было давно... Кочевал наш аал,
 Вдруг — река на пути, половодье:
 Словно буйный безумец — поток бушевал.
 Встали всадники, бросив поводья.

А в аале и лама-мудрец проживал,
 Вышел на берег, смотрит на реку,
 Но молитвами дикий, бушующий вал
 Не дано усмирить человеку,

Пусть он близок богам,
 И доносит до них
 Пожеланья и весточки
 Маленьких сих...

*

Думал лама. И что же — к животной спине
 Сумку с сутрами он приторочил,
 И не тонет животное в бурной воде,
 Словно гибель Всевышний отсрочил:

Вздудась легкая сумка — воздушный пузырь —
 Пронесла жоака по стремнине.
 Покорилась писанию водная ширь —
 Это подвиг отсель и доньне...

Или сутры спасли,
Или сумка-пузырь...
И не зря же в отарах
Козел — поводырь...

Ладно...
И скот, и домашний весь скарб
Бурная речка на дно унесла,
Но пощадила лишь детище скал —
С книгой святой на лопатках — козла...

Тушу его поделили араты —
Голод не тетка, — но изрекли:
“Слушайте, мясо с козлиных лопаток
Поровну надо на всех разделить —

Книга святая лежала на них!”»

Дед мой вздохнул и надолго затих...
Трубка дымилась и гасла не раз,
Прежде чем старец закончил рассказ:

«Годы и дни над землею кочуют,
Снег уступает жаре и росе,
Но до сих пор то поверье бытует:
Мясо с лопатки — делить на всех».

5.

Белую лопатку, как бумаги лист,
Рассмотри внимательно, и на ней,
Под узором вьющимся, ляжет жизнь —
Радости и беды матери моей...

Приложи лопатку белую ко лбу,
Вдумайся, смежив плотнее веки:
Есть ли тот, кому не свою судьбу
Поверяшь, смертный, не видя смерти?

Две лопатки — это два весла,
С ними плыть по жизненным просторам...
Мама на спине меня несла,
И она мне до сих пор опора.



ЖЕЛЕЗНЫЕ КРЫЛЬЯ

Рассказы

ХЛАМ

Один мальчик любил копаться в отцовском ящике с инструментами. Сколько же всего в нем было! И интересного, и занимательного, и непонятного. Порой сын мог провести весь день, разглядывая детали неизвестно чего и диковинные шурупы. И то и дело задавал отцу вопрос:

— Пап, а почему ты из этого всего ничего не соберешь? Машину! Ракету! Робота!

В ответ отец лишь посмеивался и трепал его по голове.

Прошло много лет, и мальчик, став старше, чем даже его отец в те годы, оглянулся на свою жизнь и вдруг увидел ее как тот же ящик с инструментами. Дни серой рутины представились крепкими болтами, их было много, но нечего было ими крепить. Дни праздности — гнутые гвозди без шляпок. Попадались красивые блестящие штуковины — как закат у моря или первый поцелуй. Такие блестяшки были красивы, их хотелось вертеть в руках, но не к чему было приладить. Встречались и совсем непонятные детали с микросхемами и пучками оборванных проводов, такие, как потеря близкого, крах отношений. Разбираться в их устройстве было мучительно.

И можно было со спокойной душой сказать себе, что человек не обязан ничего из этого собирать, ведь нигде нет ни списка нужных деталей, ни точной инструкции, только инструменты были здесь же.

Бывший мальчик провел пальцем по лезвию интеллекта, затупившемуся о тривиальные задачи, стер пыль с рукояти стремления, коснулся новехонького, ни разу не использованного воображения. И глубоко задумался, подперев подбородок кулаком.

Тут он заметил собственного сына, уже давно с жадным интересом наблюдавшего за отцом.

— Пап, — вкрадчиво обратился малыш, — а ты сейчас что-то сделаешь, да? Самолет? Машину? Смотри, сколько у тебя всего!

Тогда давно уже не мальчик взъерошил сыну волосы жестом, запомнившимся с детства, и сказал то, о чем его отец только думал:

— Сынок, из этого хлама не собрать ничего.

ЖЕЛЕЗНЫЕ КРЫЛЬЯ

Раз в краю летучих людей родился мальчик с железными крыльями. Крылья переливались на солнце полированными гранями железных перьев и звенели, как колокольчики.

Шли годы, ребятишки в деревне один за другим вставляли на крыло, мягкость перьев увлекала их ввысь, навстречу неизведанному. Железные же крылья год от года становились больше и тяжелее. Словно причудливое изваяние, которое изо дня в день нужно носить на спине. Мелодичный звон сменился лязгом и бряцанием. Вскоре мальчик даже не мог подтянуть свои крылья к спине, и они безвольно волочились за ним по земле, со скрежетом бороздя ее острыми кончиками.

Пожалуй, каждый в деревне порой являлся поглядеть на диковинного мальчика. Кто помоложе и поглупее — смеялись над тем, как он падает в пыль, зацепившись крылом за камень; кто постарше — сочувственно качали головами и помогали, когда мальчик поднимался, опираясь ладонью на расцарапанную коленку.

Небо так же манило мальчика, как и других, а его недостижимость вместо отчаяния породила неодолимое упорство. Каждый день посреди деревни у колодца вновь и вновь он пытался превозмочь свои крылья, раскрыть их, поднять над собой, хоть для этого и нужна была титаническая сила.

— Гляди, опять к колодцу, — показывали пальцем насмешники.

А мальчик, не знавший победы в этой войне с собственными крыльями, не видел и своих поражений.

Снова он склонился, словно бегун перед стартом, глубоко вздохнул. С металлическим скрипом и воем крылья стали дюйм за дюймом приподниматься над землей. Побелевшие пальцы распахали утоптанную сухую землю, и поднявшаяся пыль осела на покрытом испариной лице.

Спина молила о пощаде, а мальчик в ответ умолял ее поднять еще хоть немного повыше. И еще немного. Вдруг натужный скрип сменился тихим шипением, словно сработал механизм, и крылья раскрылись, показав свой исполинский размах, погрузив в настороженное молчание тех, кто летал невысоко и недолго. Сверкнув отточенными гранями, железные перья закрыли собой солнце. Сейчас могучий взмах сдует солому с крыш и унесет хозяина необыкновенных крыльев на невиданные высоты...

Вместо этого железные суставы жалобно застонали... и в следующую секунду погребли своего обессиленного обладателя под бесформенной грудой металла.

Облегченный вздох раскатился над деревенской улицей. Но этот вздох и предшествовавшее безмолвие были слаще любой музыки для мальчика с железными крыльями. От усталости не в силах даже подняться из пыли, он лишь с улыбкой закрыл глаза и прошептал:

— Теперь — взмахнуть.

ПЕРЕВАЛ

От всего остального мира мой дом отделен перевалом. Куда бы я ни отправился, в каждом путешествии первым шагом становится преодоление перевала. И последним тоже. После долгих скитаний это — как перешагнуть порог родного дома. Очень высокий порог. Это не полет на самолете, они все похожи один на другой. Это не путешествие поездом, который едет по проложенным заранее рельсам. Свою первую поездку через перевал я запомнил как фантастическое путешествие в другой мир. И не так уж сильно ошибся.

Перевал всегда разный, будто меняется его настроение. И по настроению эта извилистая дорога умеет менять свою длину. По ней можно непринужденно прокатиться летом или еле ползти зимней ночью.

Я стал задумываться о том, что перевал — совсем не простая дорога. Для меня поездка через него стала магическим действием, ритуалом. В эти часы очень многое меняет свое значение. Прошрое отдалается и кажется незначительным. Никто из прошлого не может мне позвонить, потому что мобильник, по волшебству перевала, превращается в экранчик с часами.

Будущее становится туманным и зыбким. Можно строить великие планы, но любой скользкий поворот, лавина, встречная машина могут смять их с великолепной небрежностью. Так перевал отсекает от времени и пространства. Есть только здесь и сейчас. В машине, на дороге, на скорости.

В последний раз перевал был в дурном настроении. Он обсыпал себя крупными хлопьями снега и разбитыми машинами. На лобовом стекле, куда не доставали дворники, выросла мокрая снежная корка. А если дворники выключить, то потом, включаясь, они выстреливали во все стороны осколками успевшего покрыть их льда.

Мы ехали под белым небом среди белой снежной бури по белой дороге на краю белой пропасти. И в этой бесконечной белизне невозможно было одно отличить от другого. Мириады снежинок летели навстречу с дикой скоростью и походили больше всего на пущенные из пустоты белооперенные стрелы.

Нигде и никогда больше я так ясно не чувствовал себя целиком во власти рока. Мы проехали, и через несколько минут на перевале сошла лавина. А потом — еще три.

Вниз с перевала и дальше — чужая обыденность, в которой я лишь мельком. Дорожный знак, не видно какой, засыпанный до самой макушки снегом. Стадо заснеженных коров. Наст, разорванный в клочья грузовиками, что едут на цепях. Машина, осторожный водитель которой пережидает непогоду на обочине. Тоже заваленная снегом. Когда мы приблизились, где-то в глубине этого сугроба заработали дворники. Будто пушистый белый зверь проснулся от рыка мотора и попытался проморгаться со сна.

Все как обычно. Снова все как обычно.

Однажды перевал накрыло туманом. Холодным, густым, непроглядным. Мы ехали — и будто не двигались с места. Время остановилось, и цель не приближалась ни на километр. А пространство начало шутить и кривляться. Перевал то был уже позади, то мы снова лишь подъезжали к нему. Из тумана выплывали незнакомые деревни, одинокие домики, которых там быть не должно, которые в моей памяти расположены совсем в других местах. В тот день я пытался объяснить себе происходящее, потягивая кофе в придорожном кафе, которого никогда не видел на той трассе ни до, ни после.

ПАМЯТНИК СЕБЕ

Никто точно не помнит, когда и с кого началась мода на прижизненные памятники. Сначала она была незаметна, а когда стала видна всем, было уже поздно искать.

Бессовестная коммерция сделала свое дело. Аренда постаментов? Пожалуйста! В центре дорожке!.. Отливка? Конечно! Нет, металл вы не потянете. Пластик! Ну нет, что вы, на глаз и не отличить!..

И город стал наполняться пластмассовыми людьми. Пустотелыми и с такими же пустыми рыбьими взглядами. Сначала десятки, потом сотни и тысячи. Молчаливые захватчики стояли на улицах, во дворах, в парках.

Кто-то хотел возвышаться над всем городом, и для таких крепили постаменты на крышах.

Первые памятники издалека напоминали настоящие, но позже что-то случилось с поставками пластика, и истуканы стали черными, потом белыми, оранжевыми, синими, да так и остались.

Синие чучела опрокидывали, раскручивали на части, иногда жгли, и тогда они медленно растекались, исходя ядовитым дымом. Черные облака плыли над городом, оседая на земле, на стенах домов, на лицах людей.

Банкир Сидоровский на старости лет решил увековечиться наверняка. Большая часть нажитых денег ушла на откуп лучших постаментов и отливку двадцати одинаковых Сидоровских из настоящей бронзы. Драгоценные фигуры, установленные в один день, гордо поблескивали на солнце. Той же ночью кто-то на грузовике объехал город и двадцать Сидоровских сдал на металлолом.

Гораздо дольше простоял памятник начинающему поэту Карманову, который ради шутки установили друзья. Синий Карманов сидел на краю постамента, свесив ноги, и сквозь очки смотрел на институт через дорогу с такой задумчивостью, что многие, проходя мимо впервые, пытались проследить за его взглядом. Этот памятник и остался, когда прочие пластиковые монстры сгорели, рассыпались, пропали. А через десяток лет вдруг превратился в бронзовый.

Модный художник Иващев до последнего не хотел ставить памятник, но поклонники желали обязательно видеть кумира по пути на работу, между певцом и политиком. После долгих уговоров художник согласился подарить себе памятник на день рождения.

Пришедших на полуторжественное открытие угостили памятником, который оказался съедобным. Торты-Иващева в полный рост хватило на всех, а живой Иващев размахивал ложкой и, демонически хохоча, грозился впредь воздвигать себе по памятнику на каждый день рождения.

С тех пор каждый год в центре города съедали торт Иващева. Модные когда-то картины забылись, а памятник появлялся и исчезал каждый год, даже когда люди забыли, кто такой был Иващев.

Старенький Владимир Тимофеевич захотел себе памятник тогда уже, когда бум на них прошел, рухнули игрушечные постаменты, и все молодые предприимчивые торговцы синей пластмассой сгинули бесследно.

Во всем городе нашлась только мраморная плита. Не хватило денег вывести имя. Не хватило на перевозку, только на саму плиту. Но очень уж хотелось, чтоб памятник. Чтoб смотрели и помнили, что был такой Владимир Тимофеевич. А имя и так накорябать можно.

Он понес плиту через сквер. Краснел, пыхтел, потом обливался. Сначала нес, потом волок, потом перекачивал. Прилег на траве передохнуть — и умер. А плита без имени осталась.

На ней потом написали «Ваня + Вера».



«ЖИЗНЬ МОЯ...»

* * *

Иноходец воспоминаний скачет стремглав, оседланный мною.
Скачет туда, где детства моего простираются дали.
Казалось мне — повернула коня к водопою.
А оказалась там, где в сайзанак¹ мы играли.

Наши «юрточки» заговоренные, игрушечные домики наши
Средь акаций горных мне вдруг воссияли.
Подружки «за покупками» ушли, чтоб как полные чаши
Наши «юрточки» девчоночьи стали.

Наведя порядок в «юрточках» и «обед для семьи» приготовя,
Начинали мы друг дружку в гости звать «на чашку чая».
Посудачить власть «о детях, о мужьях, о здоровье»,
Все по-взрослому — смеясь, ворча и причитая.

Чаепитие наше сладкое все длилось и длилось.
По домам подружки пошли уж под вечер.
Конь зафыркал, сердце больно забилося.
Сайзанак мой, до свиданья... до встречи.

ЭТО ТЫ

Вижу себя цветком засохшим, цветком в пыли.
Поле раскалено, и пепел вместо земли.
Кажется, потеряла и последнюю из надежд.
Одна осталась в пустыне — жизни и смерти меж.
Но молния вдруг сверкнула и гром вдруг с высоты.
И хлынул дождь проливной — это ты.

* * *

Тоненький серпик месяца
Отрадой мне был во тьме.
Туча надвинулась и поглотила его.

¹ Сайзанак — детская тувинская игра «во взрослых».

В комнате моей одинокой
Светильник масляный едва дышал.
Погас огонек, и растаяла робкая радость.

И только надежда на встречу с тобой,
Что горит, не сгорая, в моей груди,
Сколько-то согревает зябкую душу.

* * *

Все туманом окутано, дымом зловонным несет.
Ветер кружит и студит сырые октябрьские листья...
Пусть Вселенная движется — что мне ее поворот?
Ведь куда ни пойду — за преградой преграда встает...
Где же я?

Сам себя не пойму — не узнать меня, нет, не узнать,
Мельтешат мои мысли, как листья, накрытые мглою.
Слышу крики и вопли, отчаянья их не унять.
Это боль моих лет, разлученных с родною землею.
Кто же я?

* * *

Рядом милый мой — я зарей горю,
Таю, словно первый снежок.
Как на первоцвет — на него смотрю,
И сама весенний цветок.

Милый мой вдали — неба нет, земли.
Серой ивы безмолвен зов.
Все пути к нему листья замели.
Все и так понятно, без слов.

* * *

Моя любовь к тебе
Из нитки короткой, что пальчик обернет,
Сошьет тон с широким подолом.

Моя любовь к тебе
Из масла крошечного, что пальчик обмакнет,
Станет пылающим блюдом лепешек.

Любовь моя к тебе,
Если подрастешь, мальчик-с-пальчик,
Станет землею и небом.

Перевод Станислава МИХАЙЛОВА

* * *

В день ветренный я шла почти бегом,
Стремительно, земли едва касаясь.
Вдруг слышу ясный хруст под каблуком. —
Жук-рогоносец там, как оказалось.

Бледно-зеленой кровь его была.
Он дернулся в последний раз и замер.
Раздавлены два маленьких крыла.
Он не прошел дорожный свой экзамен.

И солнце с небом стали угасать.
И ужас по спине прошел жуками.
Природа, исподлобья, упрекая,
Меня спросила: «Где твои глаза?»

Перевод Юлии ПИВОВАРОВОЙ

* * *

Весеннее солнце откинуло полог,
Смеясь, разбудило округу лучом:
«Был сон твой, сынок, непростительно долог!
Проснись же с отрадным и первым лучом!»

Как сонный и кругленький голый ребенок,
К лучу потянулся комочек земли,
Оделся и вышел играть, постреленок,
В веселой дрожащей весенней пыли.

* * *

Жизнь моя —
Сначала, в младенческой тесной неволе,
Спала я спеленутым глупым комком.
Потом, утверждая бессмертную волю,
За мамой упрямо стремилась ползком.

Жизнь моя —
Я чудом согрела застывшую руку,
Когда на горе заливала каток,
И полужаснула за школьной наукой:
Забыла заранее сделать урок.

Жизнь моя —
Овечьи отары пасла с малолетства,
И радостно пела, и слезы лила.
Железная печка согрела мне детство,
И бабушкин чай, что я в стужу пила.

Любила помочь говорливым девицам,
Что ткали затейливый пестрый ковер,
Родительский дар не забыл проявиться
Во мне — и я вышила первый узор.

Жизнь моя —
При встрече с любимым, зардевшись от страсти,
Я прятала нежный девический взгляд.
И знания тоже дарили мне счастье,
И были оценки дороже наград.

Жизнь моя —
Не знаешь ты рамок, программ, расписаний —
Ты соткана вся из минут и годов.
О, время исполненных чудных желаний,
Печальных свершений и горестных снов!

Перевод Елены БОГДАНОВОЙ



ИЗ ЦИКЛА «СУРОВОЕ ЧУДО ЗЕРКАЛ»

* * *

Любовно целовала ноги
Мне пыль родимой Матери-Земли,
И взглядом охраняя долгим,
Черемухи весенние цвели.

За холмик вдаль вела тропинка,
Открытий дивных мне сплетая вязь,
И нежно каждая травинка
Лодыжки щекотала мне, смеясь.

Цветы навстречу улыбались,
А шмель шутиливо гнал меня, жужжа.
На зов мой птицы откликались,
И дождь, как ангел, надо мной дрожал.

И в их любви я младшим братом
Купался, словно воробей в пыли,
Пока меня лучи заката
В плененной мысли край не увели...

* * *

Легко танцуя, жизни пламя
Игрой веселой подманило.
Душа ладошку протянула.
И вмиг наивность опалила.

Так мысли дух — двуликий Янус
Своей двуглавою секирой
Рассек и сжег мою слиянность
С душой своей и с этим миром.

С тех пор стоит он, вперив очи
Вовне и внутрь одновременно,
Следя за сменой дня и ночи
В моей душе и в мире бренном.

Секиры лезвие двойное
Анатомирует природу
И духа внутренней войною
Меня безжалостно изводит.

Так, мысль моя, как страж у двери,
Что некогда была открытой,
Стоит и ничему не верит,
И проверяет все под пыткой.

И до единого все чувства
Через меня все это тащит,
И разлагает красок буйство
На составляющие части.

У дела всякого в начале
Сомнений роет рвы без счета,
В конце, равняя с идеалом,
Пристрастно требует отчета.

В прошедшем видит она горько
Лишь тьму падений и ошибок,
В грядущем обещает только
Тупик бессмысленности гиблой...

Так ясная прозрачность мира
Сгустилась темным лабиринтом,
А с лезвий алчущей секиры
Стекает кровь незримой битвы.

СВЕЧА СРЕДИ ЗЕРКАЛ

О всех делах, и ожиданиях, и днях
О прошлых и о будущих своих,
И память, и мечту за плечи приобняв,
С пристрастием допрашиваю их.

Я совести своей пытаю их огнем,
Свечой средь двух зеркал она горит,
В них прошлое тоскливым видится мне сном,
Грядущее отчаяньем грозит.

Вот так в минувших днях увидел я мечту,
Как лебеда со сломанным крылом,
А в том, что ждет меня — лишь страх и суету,
И как в урочный час иду на слом.

Так, между будущим и прошлым трепеща,
Душа моя пылает как свеча.
А думы о простых да непростых вещах—
Как лезвие дамоклова меча...

* * *

То не журавлик в небе осеннем курлычет,
 То лето со мною, прощаясь, рыдает и кличет,
 Вслед за собою тянет и тянет куда-то,
 Но только лишь юность моя оказалась крылатой.

То не шиповник ягодой спелой алеет,
 То ветра кровинка на ветке дрожит и не смеет
 Чистую грусть смешать с этой пылью земною...
 А ветер, шипами израненный, рвется на волю.

То не листочек с ветки дрожащей слетает,
 То в сердце лесочка надежды свеча потухает.
 Это не облако там улетает все дальше,
 А жизнь моя, тая, платочком все машет и машет.

Но и не я пишу эти грустные строки,
 А кто-то во мне, кто смирился и принял все сроки.
 Он зажимает рот мой ладонью усталой,
 Да крик мой мятежный прорвался... но песней печальной.

* * *

Дни и ночи, дела и заботы,
 Выйдешь из дому — те же места,
 Тот же самый маршрут до работы,
 Так же — мылом в руках — суета.

Так же все наперед нам известно,
 Хоть и кажется всем, что не так.
 Так же сизо, как дым сигаретный,
 Зыбко тянется дней пустота.

И все те же друзья, анекдоты,
 Да все та же в душе немота.
 И молчат все слова и все ноты,
 Да незримая ближе черта.

Лишь успеть бы вот это и это,
 И какая там, к черту, мечта, —
 Лишь порой ослепительным светом
 В душу стрельнет невинность листа.

* * *

Тихо-тихо догорает в седловине гор закат,
 Без печали, без претензий и без всякой суеты,
 Свет лучей своих прощальных всем раздаривать лишь рад —
 Это, видимо, творенья миг священной полноты.

Грусть о том, что не достигли всех желаемых высот,
Или гордость оттого, что стал богат и знаменит,
Мысли, что от этой жизни взял, не взял ли всех щедрот —
Это все мертвящим духом все гниет и все смердит.

Страхом адских наказаний краткий срок свой не травить,
Не волнуйся о ступенях то ль в нирвану, то ли в рай,
Лишь по совести и правде постараться жизнь прожить,
Ведь пронзительно все просто, словно пенье птичьих стай.

Так и ты, душа, не майся, подводя всему итог,
Лишь на волю высшей силы положишься, как в старину
Жили люди и из мира уходили без тревог,
Без гордыни и унынья, прежде чем навек уснуть...

* * *

Я знаю все о жизни этой бренной,
В бреду горячечном уж не брожу впотьмах.
Давно не поддаюсь я совершенно
Извечным играм отражений в зеркалах.

Смотря вокруг, на ярмарку тщеславья,
Люблю прикидываться в жизни дураком.
Ведь я дурак, я в стороне от главной
Грызни за жирные куски, грызни волков.

Пускай еще моею маской больше
В игре бессмысленной бесчисленных зеркал,
Она лишь тень среди отражений пошлых,
Тех, что скрывают свой прожорливый оскал.

Все — пыль в глаза, и все — словесный мусор,
И все лишь карнавал, и мы в нем не новы.
Как это скучно и смешно, как это пусто!
И нет здесь никаких загадок мировых.

Хоть дух плененный бьется непокорно,
Дано рождаться нам и в срок свой умирать.
Что сверх того, то суетно и вздорно,
Есть то, что нам дано и не дано понять.

Да, в жизни нет ни глубины, ни шири,
И все вокруг совсем не то, что видит глаз,
Но есть жестокая изнанка мира,
И есть, есть истины живые зеркала.

Ведь знаю, знаю я давно все это.
Мне лучик в зеркале напомнил обо всем.
Так я себя в том неслучайном свете
Увидел и узнал всезнающим дитем.

Он знает все о жизни этой брэнной,
Он с самого начала знал и понимал.
Теперь и я все вспомнил, вспомнил верно,
И это чудо есть суровый дар зеркал.

* * *

На крышу я любил взбираться в детстве
По лестнице скрипучей приставной,
Ложиться навзничь на привычном месте
И с небом становиться заодно.

И хоть я ощущал спиною жесткость
Дощатой крыши, все же, словно пух,
Легко взмывал я над землею плоской,
Да так, что мне захватывало дух.

Там, в небе, вместе с легкими ветрами
Летал я и гулял по облакам,
И стаи звезд рассаживались сами,
Как птицы, по плечам и по рукам...

Но с возрастом узнал, что есть на свете
Холодных лестниц мрамор и гранит —
Ступени, где полно желаний тщетных,
Ступени социальных пирамид.

Там нет того легчайшего полета,
Там нет ни птиц, ни облаков, ни звезд.
Там только лжи и зависти тенета,
Тщеславия и жадности лишь гнет.

И я возненавидел те ступени,
Мне лестница Иакова милей.



КОГДА БОЛИТ ГОЛОВА

Рассказ

Я могу сотворить ветер: распахнуть окна, отворить дверь и сидеть, прищурив глаза. Одно мгновение — и искусственный ветер начинает властвовать в комнате: вертеть флажки в разные стороны, щекотать мои реснички, бесцеремонно листать раскрытую книгу.

Я могу создать яркий свет: поднесу яркую лампу к больным глазам. А еще по дому люблю ходить босиком, включив во всех комнатах свет, а потом, выключив свет, гулять уже в темноте. Это от недостатка ярких ощущений в моей жизни.

Мне кажется, что я могу создать искусственный воздух. Нужно просто найти вентилятор, а еще лучше — кондиционер. Я даже умею делать искусственное дыхание, если не начну паниковать и истерить в этот момент. В искусственном дыхании нет ничего сложного, главное — не начать падать в обморок. И еще, тоже главное, нужно пострадавшего положить на спину, подложив какой-нибудь твердый предмет, твердую подушку, чтобы выпрямились воздухоносные пути и язык не закрывал входа в трахею. Это я сейчас показываю, какой могу быть умной и полезной. А на самом деле у меня был хороший учитель по ОБЖ, до сих пор помню, как хором, всем классом списывали у него на уроках.

Я умею притворяться мертвой, но вот сердце, зараза, никак не может остановиться, хотя бы на время.

Я могу создать рассказ, от которого людям в трудные минуты становится не так трудно.

Я могу написать статью о человеке, который не верил в правду, написанную в СМИ. Теперь верит.

Я думаю, что смогу создать книгу... написать, то есть. А может, и нет.

Многие люди думают, что я могу работать на двух работах и быть доброй, хорошей и доброй. Я не ошиблась, я умышленно написала два раза, так как все меня считают доброй и нераздражительной. Хочу извиниться сейчас перед теми людьми, кто знает, какой я гадкой и мелочной бываю в минуты сплошной и нескончаемой депрессии. Чертовски неудобно бывает перед этими людьми, когда начинаю по пустякам злиться, ничего поделаться не могу, внутри меня живет маленький монстр, который питается моими эмоциями. Злыми эмоциями.

Одна добрая студентка с высокими моральными принципами считает, что я являюсь романтической особой, сентиментальной особой, которая любит платонически так же, как и сердцем, душой и глазами. Ну а как не любить глазами симпатичного зеленоглазого мальчика, который имеет осанку

жирафа и походку какой-нибудь грациозной косули?.. Мне говорят сейчас, что жираф и косуля — это, кажется, не очень красиво, а мне лень перечеркивать и переписывать. Человека вообще трудно описывать — ты либо его приукрасишь, либо не докрасишь. Человек не забор.

Как же не любить обонянием ничем не примечательного парня, проходящего мимо тебя по улице, и не уловить шлейфа аромата его мужского начала. Над такими людьми ореол какой-то, мимо них нельзя просто пройти и не вдохнуть всеми легкими и жабрами его сущность. Так и хочется, чтобы тебя «утонули» в этой сущности. В сущности, по-моему, я несу чушь.

Насчет моей романтичности несколько слов. Сегодня у нас, в глубоком центре континента Азия, стояла питерская погода. Питерская погода уникальна тем, что легко и просто снегу пойти в один момент с дождем при плюсовой температуре. Вот в этом случае я, должно быть, и правда, романтик... ни в каком месте не прогнанный. Я шла по улице с таким глупым видом и с такой довольной радостной улыбкой, что город, наверно, просто умирал от моей жалкой искренности.

Еще я считаю, что умею целиться. Это в цель, конечно, — а вы что подумали, читающие меня глаза?.. Целюсь точно в урну какой-нибудь бумажкой, потому что считаю себя сторонником организации «Гринпис», хотя у меня имеется натуральная меховая шапка, муфта, шуба... и были даже унты, — но идейно я за их принципы. Целюсь точно, когда хочу намеренно обидеть человека; ненамеренно обидеть могу только муху, если точно прицельюсь и убью ее. Насчет мух мне давно хотелось поговорить с каким-нибудь гринписовцем. Могу прицельиться, люблю целеустремленных людей. Они герои нашего времени.

Я могу быть другом... и я, возможно, хороший друг. Ну да, вроде как я — хороший друг. Я дружу с людьми, потому что, в отличие от других животных, у человека слово «дружба» что-то означает. Где бы и что бы было со мной, если бы не мои друзья. Они молодцы, мои друзья, и не потому, что они мои друзья, а потому что они хорошие люди. То, что они люди, не делает им чести, а вот то, что они хорошие люди — это здорово. А то, что они мои друзья, они об этом и не думают, некоторые из них погрязли в своих мышлениях настолько, что иногда спят и видят меня только во сне. Они дружат со мной во сне. О друзьях много чего могу наговорить, в основном это будет что-то искреннее.

Мне хочется, чтобы люди, вспоминая меня и представляя другим людям, указывали рядом прилагательное «искренняя» — мне бы очень этого хотелось.

А то, что я пишу опусы, и при этом нигде не печатаюсь, за исключением некоторых статей (это я обращаюсь к человеку, который на сцене один раз свалился), это еще не означает, что я не хочу печататься или я не могу печататься. Просто я об этом как-то не думала. Тут все, видишь как, донельзя просто.

«Ни слова о любви». Есть такой альбом. Песня есть, посвященная девушке. В ней говорится, что он будет лежать желтым листом на тротуаре, даже если небеса будут провожать пропавшего, если за дверями вагона последнего обиду хоронить, уронить веру в весну, заплакать хрусталем... но быть ночью вдвоем.

Вот и все, кем я могу быть, стать — и хочу.

Последнее хочу: в детстве я хотела быть космонавтом.

P. S. Я болею всеми и всем, особенно мигренью... сейчас.

ПОЛНОЧНЫЙ ВЕТЕР

СЛОВО

Плоть живую сотворившего, дыханье давшего,
Время сжавшего, пространство развернувшего,
Прежде — бывшего
И после — будущего,
Святого Слова не вечный паломник я,
Ничтожный, почти неуместный.
Исчезновение — вот мой удел,
Легкий, как капля, упавшая неминуемо.
Покорно судьбе,
Оплакав полет свой недолгий,
Величие Слова принять,
Смириться и раствориться;
Щурюсь от гордости, слова расставляя —
И в этот момент осекаюсь, склоняю голову.
Так искра в ночи, увидев зарю на востоке,
Мигает и гаснет.

ОСЕННЕЕ...

Я срывал тебе поздние капли черемухи
на берегу великого Кема¹,
морозом побитые, но еще ничего.
Грусть-печаль отражалась в их бусинках
молчаливых, полуслепых
при виде двоих, обнимавшихся
при виде стремительной шуги.
Беспечный их смех,
отразившись от гор, возвращался.
Я был неловок, огнем занимаясь
(ровно горим мы лишь в одиночестве
или пожаром объятые оба),
бросая в костер щепки слов.
Не замечая: и страсти мои отсырели,
долго будут трещать и чадить,
целовать мучительными языками.

Гаснут искры, до неба не долетая...
 Мы, растаяв, давно идем порознь.
 Прогорела случайная страсть.
 Шершав, чист и ярк снег поверх страсти.
 Ты далека и недоступна.
 Но все чаще мне кажется, будто мы тлеем
 в ветвях одного и того же костра,
 молчаливого и безжалостного.
 Руке не угнаться за словом,
 пришедшим позднее.
 Все живое уносят волны —
 меня и тебя, песчинки рисунка.

НАШИМ ДУШАМ СНЯТСЯ КОЧЕВЬЯ

Мы — все те же кочевники.
 Синие горы и реки, просторы степей и долины,
 Что были засеяны тайнами и давно взошли ими,
 Все они — клич для нашей души,
 И не удержать нам земли под ногами в беге кочевий.

Пусть границы теснят нас,
 Пусть скрежешут засовы —
 С прежней радостью мы
 Сложим юрты, отправимся в путь.
 От стойбища к стойбищу, лето и осень, зима и весна —
 Приют для наших мечтаний.

Будто духи предков зовут нас, —
 Растворяясь в мелькании лет,
 Теряясь в дорогах,
 Мы бросаем все тот же взгляд
 Через гор частокол — отзываясь.

Аал, вскормивший отцов
 Широкой Азией-грудью,
 Скрепивший весь род сетями морщин,
 Еще ребенку стелет под ноги дорогу, —
 Чтобы жить кочевьем — мечтою,
 Непокойной, неуловимой.

* * *

Милый друг, навек пропавший
 Там, где нет ни дня, ни ночи,
 Видишь ли меня, уставшего,
 Взглядом истинным, пророческим?

Там, где вечно и увечно,
 Где страшнее, чем в мечтаньях,
 Выдашь ли ты мне, беспечному,
 Слово-меч и слово-тайну?

* * *

Облысели копыта
И иноходь сбилась.
Сердце мое на скаку захромало.
Где найти такие подковы,
Чтобы его подковать?

Перевод Антона МЕТЕЛЬКОВА

* * *

Ждать не дожждаться дня,
Когда молоденький-молоденький шет¹
Станет лиственницей исполинской...
Пощади меня, свет.
Лиственница, тенью укрой меня.

* * *

Пытаемся жить.
И еще раз пытаемся жить.
И еще раз...
С первой попытки
Смерть обрезает нить.

* * *

Окоем —
Это горы, горы и горы мои...
Весь к ним устремлен и весь —
На вершине неразделенной любви,
Где цветет эдельвейс.

* * *

Почему это ветер полночный
Не отпускает нас до утра?
Нас, непутевых,
До костей пробирает.
Что о любви и разлуке знает?

* * *

Люди и лошади схожи.
Табуну ли, толпе ли — нужен вожак.
Покорны все,
Один растревожен.
Горы зовут так.

Перевод Станислава МИХАЙЛОВА

ТЫСЯЧА СНОВ

НА ПУСТЫННОМ ЭТОМ ПЕРЕВАЛЕ...

Об подковы скакуна искрится камень.
Ночь бездонна. Чертов перевал.
Поведа испуганно боками,
Конь застыл скалою среди скал.

Звуки бубна заглушает стая:
Хрип ворон и трескотня сорок.
Медноносый черт — карга глухая —
Жадно лижет лошадиный бок.

На пустынном этом перевале
Дух бессмертный мой вступает в спор
С силами, что бег заколдовали,
С дьяволом, что вперился в упор.

Дух-хранитель, мы с тобою братья!
И одна богиня — на двоих.
Принимает нас в свои объятья,
Как палач, безмолвствующий стих...

Встало солнце, словом набухая,
Спряталась кровавая луна.
Медноносый черт — карга глухая —
Захлебнулся потом скакуна.

ТЫСЯЧА СНОВ

«На ногтях не сеют зерна,
На худой блохе не таскают бревна.
Все остальное — сон и довольно вздорно», —
Помню, отец повторял упорно.

И всякий раз, когда во сне опять
Дьяволы начинают меня терзать,
Посылая Эзер и Казар-собак,
Чтоб перегрыз мне горло смертельный враг;

Голых женщин — чтоб плясками обольстить,
 Яствами сплетен меня отравить, —
 Сопротивляюсь им до конца,
 Вспоминая мудрый завет отца:

«На ногтях не сеют зерна,
 На худой блохе не таскают бревна.
 А остальное — лишь сон пустой!»
 Страхами не живу — живу мечтой.

ТОПОЛЬ С ДУРНОЙ СЛAVOЙ

В ущелье узком Буйлалыг-Хема
 Когда-то тополь рос с недоброй славой:
 Всех тех, кого обидела судьба,
 В соблазн вводил он веткой сухощавой.

Поблизости жил некий озорник.
 Он похвалялся: «Мне сам черт не страшен!
 Я предрассудкам верить не привык,
 С нечистой силой запросто попляшем!»

Однажды к тополю с веревкою пришел,
 Мол, ничего дурного мне не станет,
 Покрепче сук на дереве нашел,
 Петлю закинул, ногу вдел и тянет!

Но тополь еле слышно прошептал:
 «Ты начал не с того, сподручней с шеи».
 Шалун рассудок чуть не потерял
 И убежал, от ужаса немея.

На свете многое случается, друзья,
 Во что поверить до поры нельзя...

МОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ПОЭТА

*Когда расколот мир,
 трещина проходит через сердце поэта.*

Генрих Гейне

*Будь же радостен и помни, мой Хафиз:
 Прежде сгинешь ты, прославишься потом!*

Хафиз

Почему поэты умирают рано?
 Почему сердца их — колотая рана?
 «Пьяницы», «бродяги» — назовут при жизни,
 А талант оценят только после тризны?
 Бог ссудил им много и спросил с процентом?
 Кто — петлей аркана, кто — хмельным абсентом
 Платят за возможность взять аккорд на лире
 В этом несозвучном, глуховатом мире...

Рюмка недопита у Серен-оола.
Плачет в поле ветер арфою зола.
У Доржу — все схоже, у Олчей-оола:
Поняла их Вечность сразу, с полуслова...
Диалог Антона с гиблым перекатом
Тоже с полуслова вдаль унес куда-то...
Постранично книгу скорбную листая,
Вспоминаю брата — сына Болустая:
Только разобрался с ношею поэта,
И уже не с нами, в недоступном где-то...
О, мои собратья, помните о «вечном»,
Но спешить не надо в направленье Млечном!
Берегите сердце, пусть оно не рвется.
Жизнь — скоротечна, слава улыбнется...

*(Доржу Монгуш, Владимир Серен-оол, Олчей-оол Монгуш,
Николай Ооржак Болустайович, Антон Уержаа —
тувинские поэты, рано ушедшие в мир иной. — Прим. авт.)*

МАТЕРИ

Когда у меня появились первые зубки,
Ты, мама, нарезать барана для меня попросила:
«Мой нежный малыш захотел буурек¹», — говорила с улыбкой
И на грязный ширтек² меня никогда не садила.

Подростком, за столом, я держал в руках балдыр эьди³,
Так как вырос уже из детского платья.
А право лакомиться буурек — погоди —
Получил самый младший из многих братьев.

Когда впервые невестка тебя навещала,
Ты говорила: «Мой сын возмужал, стал большим и нужным».
Помню, мама, наш чайлаг⁴, как ты нас угощала
В знак уважения грудинкой и колбасой сычужной.

Когда ты, мама, ушла за красной солью⁵,
Над могилой твоей клубился пар от грудинки,
Провожая тебя к неземному застолью,
Туда, где не тают льдинки...

Перевод Юрия БОГАТЫРЁВА

¹ Буурек — национальное блюдо.

² Ширтек — войлочный ковер.

³ Балдыр эьди — лытка.

⁴ Чайлаг — летнее пастбище.

⁵ Уходить за красной солью — уходить в мир иной.

ЦЕНТР АЗИИ

Заметки о Туве

ДОМ, ГДЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Центр развития тувинской традиционной культуры — точка схождения пространства и времени. Земля здесь пропитана историей. Конгар-оол Ондар — человек, который изменил Туву. Алдар Тамдын — создатель святылища хоомея. Магия имен руководителей: духовность, слава и сила.

Точка схождения пространства и времени

Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел — величина самодостаточная. Он сам отбирает для себя людей — и сотрудников, и просто посетителей. События, которые в нем происходят, не могли бы нигде больше пересечься, соприкоснуться — только в этом месте. Время в нем то останавливается, то идет быстрее. Здесь можно попасть и в прошлое и в будущее. Да еще и одновременно.

Здесь нет нормальной парковки, но есть красивая резная коновязь.

Здесь можно встретить двухметрового оленевода с Аляски по имени Один, который приехал в Туву за опытом, и японского хоомейжи (хоомейжи — исполнитель хоомея, горлового пения), который приехал только для того, чтобы попрактиковаться в пении.

Здесь большой друг Тувы американский шаман Энрике Угалдэ хвастается своим отцом — Энрике Угалдэ — пилотом, музыкантом и фотографом, и своим новорожденным сыном, тоже Энрике Угалдэ. А русский мальчик Андрей Скосырский на тувинском языке обсуждает с Алдаром Тамдыном условия будущего конкурса.

На Шагаа (тувинский новый год) здесь проводят соревнования по поднятию огромного камня, и здесь же стояли в карауле сотрудники спецслужб у олимпийского огня, когда он прибыл в Туву.

В один день здесь может проходить конференция по традиционной медицине, основные доклады на которой делают шаманы, и культурная программа для сотрудников ФСБ, приехавших на свое совещание.

Время быстро несется вспять, когда абсолютно серьезно обсуждают принцип творения (иначе и не назовешь!) традиционной тувинской подушки, и опять идет вперед, когда рассматривают перспективы строительства санаториев.

Если вы будете проходить мимо, зайдите туда, пожалуйста. Правда, никто не знает заранее, что вы там увидите. Может быть, погрузитесь в мир древних

героических сказаний, или попадете на круглый стол и примете участие в обсуждении издания этимологических словарей. Или узнаете, как сервировать стол для национальных праздников. Или вам расскажут, как правильно окрашивать яйца на Пасху. Но почти всегда вы там услышите музыку в исполнении лучших музыкантов Тувы. А феномен горлового пения — неразрешимая загадка для всех. Только не для самих тувинцев!

Земля пропитана историей

Чудеса нередки в старых зданиях с богатой историей. Но это — не наш случай. Здание Центра тувинской культуры «очень новое». И очень старое. Для Тувы, конечно, старое.

Трудно говорить о старых постройках в республике, где первый город был заложен в 1914 году. Потом этот город сгорел, после белоцарского боя, и только в 20-е годы его начали отстраивать заново, появились первые невзрачные деревянные домики.

То есть, конечно, в Туве есть поистине древние постройки. Та же знаменитая крепость Пор Бажын, например. Но это — только развалины, расположенные в труднодоступных местах. А мы сейчас говорим о городе и зданиях современного типа. О том, что было на месте Центра тувинской культуры. А там были клуб, театр, музей...

Первый клуб Тувинской Народной Республики открылся в 1922 году, а в 1935 году получил новое здание. В клубе собирались основатели театрального искусства Тувы Кыргыс Соруктуг, Салчак Тока, Чооду Чорбаа, Оюн Монгальбии, Маады Оляй...

В 1935 году Великий Хурал ТНР принимает решение об организации государственного Тувинского театра, и в начале 1936 года в Кызыле появляется театральная студия. 25 марта того же года студийцы показывают свой первый большой концерт — этот день становится днем основания театра Тувы.

И это было именно здесь, в доме номер 7 по улице Ленина.

В этом доме работали практически все, кто стоял у основ профессионального искусства Тувы. Здесь оттачивали свое театральное мастерство Максим и Кара-Кыс Мунзуки, Хургулек, Кок-оол, Тугур-оол, Олзей-оол.

Здесь не только работала, но и жила знаменитая цирковая семья Оскал-оолов.

Отсюда берет начало известность непревзойденной танцовщицы Ажикмаа-Рушевой.

Просто «клубом» это место называлось недолго. Постановление Малого Хурала ТНР от 24 января 1939 года превратило его в театр. Точнее в «Гостеатр».

Но тоже ненадолго. В 1942 году здесь разместился Национально-краеведческий музей ТНР. И просуществовал на этом месте 66 лет.

История музея — это своя отдельная история. И связана она с деятельностью краеведческого общества «Урянховедение», идея учреждения которого принадлежала советскому консулу И. Чичаеву, приехавшему в Туву в 1925 г.

Поводом для организации краеведческого движения послужила случайная находка в 1924 году. Во время очистки оросительной системы были найдены остатки древнего металлургического производства: глиняные черепки, трубы, куски железной руды. Музей был основан в 1930 г. — в год создания тувинской письменности.

Но в 2008 году музей переехал в новое трехэтажное здание, которое проектировалось с учетом музейной специфики. И старый дом оказался свободным. Но ненадолго.

Практически сразу было принято решение разместить здесь Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел. Но тут возникла серьезная

проблема. Здание признано памятником истории, охраняется государством. Оно действительно историческое. В этом здании подписывалась декларация о вхождении Тувы в состав СССР. Здесь в разное время побывали Борис Ельцин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, кинорежиссер Никита Михалков, цыганский певец Николай Сличенко, композиторы Ян Френкель и Людмила Лядова, монгольский писатель-тувинец Чинагийн Галсан, якутский писатель Николай Лугинов...

Но было понятно, что старое строение не выдержит нагрузки: просевшие стены, прогнувшиеся половицы.

Приняли решение перестроить здание и, пользуясь старыми фотографиями — реконструировать первоначальный облик. В общем-то, почти это и сделали...

Незначительные изменения в оформлении фасада из неприметной избушки превратили его в красивое здание с достаточно явно выраженной национальной спецификой.

Добиться этих небольших изменений было трудно. И сделать это помогла только неумная энергия первого директора. Человека, которому Центр тувинской культуры во многом обязан своей энергетикой. Человека, которому принадлежит одна из главных ролей в изменении подхода к культуре Тувы.

То есть сейчас надо рассказать о Народном хоомейжи Конгар-ооле Ондаре.

Человек, который изменил Туву

О Конгар-ооле Ондаре написано много. Часто статьи и материалы о нем содержат слова «он первый...», «он создал...». Да, он стоит у истоков первого коллектива горловиков — ансамбля «Тыва». Да, Центр развития национальной культуры — это, по сути, его детище.

Но самое главное — он создал современную Туву, Туву, которую мы уже привыкли видеть. И забываем, что совсем недавно все было не так.

Тува начала восьмидесятых. Российская провинция. Скромненько, но чистенько... Да, строились комбинаты, поднималась индустрия, колхозы выдавали всю положенную продукцию. Республика развивалась, как, впрочем, и другие окраины страны.

А Тувы — не было! Не было ярких национальных костюмов на улицах, горловики были, хоть и мало, концерты — редки. Хуреш, национальная борьба, — как-то сам по себе, и уж точно не был таким зрелищным, как сейчас.

Буйство красок Наадыма, знаменитые на весь мир хоомейжи, масса зарубежных гостей, которые тоже пытаются исполнять горловое пение — все это, в первую очередь, заслуга Конгар-ооле Ондара. А потом тех — кто шел рядом с ним.

У многих, кто живет в глубинке, у деревенских жителей, а тем более у кочевников азиатских степей, есть некоторые особенности восприятия. Для них важна оценка со стороны. Насколько они сами значимы, могут и не понять, пока кто-то не скажет. Конечно, этому есть объяснение. Живет человек на чабанской стоянке или в маленькой деревне. Новостям взяться неоткуда. Редко бывают гости, они и расскажут, что творится в округе, в мире. Если гость издалека — еще интереснее.

И вот вроде бы своих все знают, но если гость скажет, что слышал о ком-то из них в другом селе, в другом краю — то и начинают относиться к известным с большим уважением.

Так было и в Туве. Да, под руководством партии и т. д. вместе со всеми шли в светлое будущее. Забывая о ярком прошлом. Всерьез начинали думать, что все национальное, самобытное, свое — это пережитки темного прошлого.

Изнутри изменить что-то было трудно. Практически невозможно. И Конгар-оол изменил снаружи. Это был своего рода культурный взрыв, только

странным образом направленный. Человек из Тувы сначала загорелся сам, потом вышел из нее и занес пламя истинной культуры Тувы из Швеции, Финляндии, Голландии, Америки.

И тогда Тува поняла, что ее суть — не маленькая серенькая провинция.

Он ввел моду на национальные костюмы, появились люди, которые и в повседневной жизни стали носить настоящие или стилизованные тувинские сапоги, шапки. Эта мода повлекла за собой и другую — на национальные прически.

Из монографий и исследований, из исторических трудов — жизнь и культура традиционной Тувы вновь выплеснулась в народ.

Оказалось, что на самом деле надо было сделать немного. Просто любить свою родину, знать ее музыку. Ну и конечно, лучше всех уметь исполнять эту музыку. А еще — постоянно придумывать что-то, генерировать идеи. А еще — трудиться не покладая рук, незаметно для окружающих, чтобы вспоминали только забавные истории и яркие взлеты, не подозревая о титаническом труде. А еще — иметь талант и уметь замечать талант у других. А еще — уметь организовывать людей для серьезной работы. В общем, просто надо было быть Конгар-оолом Ондаром.

В январе 1993 года Конгар-оол Ондар, Кайгал-оол Ховалыг и Анатолий Куулар выступали в Лос-Анджелесе. Покорить Америку трудно. Но ее можно поразить. Про них писали в газетах, о них узнал знаменитый музыкант Фрэнк Заппа. Пригласил к себе домой.

Это было, конечно, удивительно для всех. Фрэнк Заппа — суперзвезда. А тувинские горловики, как думали тогда, — просто модное повертие. Но появились и другие американские друзья. И с блюзменом Полом Пенна в 1995 году горловики вместе снимались в Туве и США в документальном фильме «Чингис Блюз». Фильм в 2000 году был номинирован на «Оскар».

А в декабре 1999 года Конгар-оол Ондар приехал в Америку с борцами Алдын-оолом Кууларом, Маадыром Монгушом, горловиками Евгением Сарыгларом и Игорем Кошкендеем, чтобы участвовать в Параде роз.

И все как-то поняли, что Тува — это не просто глубинка и провинция, что Тува — это самостоятельная величина, значимая и неповторимая.

Главное — что это поняли в самой Туве.

Истории про Конгар-оола Ондара — вполне правдивые, но кажутся невероятными.

Начать с того, что он лично за руку здоровался со всеми тремя российскими президентами.

Ельцин пытался заглянуть ему в рот, и с подачи президента Конгар-оол Борисович получил звание заслуженного артиста. В 1994 году, когда Ельцин приехал, Конгар-оол пел ему. Борису Николаевичу это пение показалось подозрительным. Он встал, подошел к музыканту: «Показывай, что за инструмент во рту прячешь!» Конгар-оол опешил: «Никакого инструмента. Сам пою». Ельцин предложил ему спеть еще раз, уже внимательно следя, чтобы ничего тот в рот тайком не засунул. Поверил. Спросил, есть ли какое-нибудь российское звание. И узнав, что ничего нет — возмутился. В общем, вскоре дали звание Заслуженного артиста РФ.

Путин ему рассказывал про картину Куинджи. В 2007 году на Хемчике отдохали Сергей Шойгу и Владимир Путин. Ночью горловики давали концерт. И Путин рассказал, что на картинах Куинджи луна так ярко светится, что люди не понимают, как это может быть, и стараются заглянуть за картину — а вдруг там лампочка спрятана. И что ему, Путину, тоже хотелось бы посмотреть на горловиков изнутри — как это они издают такие удивительные звуки.

Медведев создал для него новую профессию. В 2011 году была встреча в Москве. В официальной обстановке. Выступающих много, а времени у

каждого мало. Конгар-оолу удалось исполнить хоомей — на 35 секунд. И он успел рассказать о давней проблеме горловиков: практически они есть, но официально — их нет. Нет такой профессии. Вскоре в России появилась новая профессия — хоомейжи.

И, конечно, понятно, что если гореть так ярко, то тебя надолго не хватит.

Конгар-оол построил новое здание для Центра тувинской культуры, и был там директором очень недолгий срок. Центр открылся весной 2012 года. А летом 2013 — его директор, мировая звезда тувинского хоомея, ушел из жизни.

Но его детище, дело всей его жизни оказалось в хороших руках. Новым директором становится столь же легендарная личность — Алдар Тамдын.

Святылище хоомея

В то время, когда Конгар-оол Ондар занимался строительством Центра тувинской культуры, Алдар Тамдын воплощал другой проект — он создал Оваа хоомейжи (оваа — жертвенный курган, груда камней на возвышенном месте, где совершаются религиозные обряды).

Место для оваа выбрали не случайно. Где его ставить — определил главный шаман Кара-оол Топчун-оол. Горловики сами выкопали яму для фундамента, в фундамент заложили сакральные предметы, традиционные национальные блюда в кувшинчиках — когээржики. Заложили камни с разных материков, монеты разных стран.

При строительстве убедились еще раз, что место было выбрано верно. Около двухсот лет назад кто-то уже обратил на него внимание — здесь музыканты нашли семь камней с надписями на тибетском языке: «Ом мани падме хум» — «О! Драгоценность в [цветке] лотоса!» Это мантра сострадательному Будде.

Церемонию освящения проводил тибетский лама, а потом, после строительства, и шаман. Идеи музыкантов воплощал в жизнь и развивал художник Леонид Уржук.

В первый год привезли только две машины камней, во второй — еще тринадцать, всего на строительство оваа пока пошло 65 тонн камней. А будет еще больше. Традиционно, когда люди идут к оваа, они берут большие камни — каждый должен внести свою лепту в возведение святылища.

В центре площадки стоит одно оваа, а рядом еще несколько столбов, покрытых резьбой, и у каждого своя каменная насыпь. Изображения на этих столбах символизируют разные стили горлового пения.

Символ каргыраа — медведь, но не просто медведь, а большой самец — хозяин тайги, и по бокам горные узоры — горный каргыраа. Символ эзенгилээр — маленькая лошадка, скачущая внутри большого стремени, эзенгелер — стиль всадника. Символ сыгыта — птица.

Есть и другие символы. Между столбами протянуты веревки для кадаков (кадак — тонкий мягкий шелк в форме широкой ленты) и чалама (чалама — разноцветные ленты на шаманской одежде и священных предметах). Музыкант, который хочет усовершенствоваться в определенном стиле, повяжет свое приношение поближе к столбу с его символом.

Поставили красивую беседку. Обычно на таких «китайских» крышах на углах скульптурки драконов, а они сделали лошадей. И наверху беседки — главное украшение и главное сокровище — игил. Игил — это национальный музыкальный инструмент. Но это не просто «инструмент». Он переходит от поколения к поколению. Он живет долго — больше ста лет. И с каждым годом возрастает ценность, лучше становится звучание. В старину верили: когда хозяин юрты играл на игиле, на звук приходил невидимый дух местности. Дух хранит благополучие аала и его хозяев, защищает от нечистой силы.

Игил может подражать зову марала и реву быка, плачу детеныша козули и ржанию коня. Говорят, что в нем звучит природа Тувы. В звуках игила раскрывается душа.

Игил был первым инструментом, который сделал знаменитый мастер Алдар Тамдын. Он прославился как исполнитель хоомея, музыкант группы «Чиргилчин», руководитель филиала «Союза мастеров-изготовителей и реставраторов музыкальных инструментов».

Он был директором ООО «Оваа». Игил, бызаанчы, дошпулуур, чадаган, дунгур... разные инструменты изготавливали в мастерской.

Каждый инструмент — особое произведение искусства, со своим собственным голосом и своей душой. Ставить их на конвейер — убивать душу. А долго работать над каждым из них — наделять их судьбой и индивидуальностью — дело интересное, но неприбыльное.

И Алдар берется за разную работу. Например, со своими сотрудниками он изготавливает огромную юрту диаметром в двенадцать метров, высотой — в пять, которую установили на большой телеге в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак». Он считает, что это был полезный опыт, что он овладел дополнительными навыками традиционных ремесел Тувы.

Алдар Тамдын был инициатором проведения и одним из организаторов Международной детской творческой лаборатории, которая традиционно каждый год проводится в первой декаде июня. Лаборатория посвящена его отцу — Константину Тамдыну. За свою долгую жизнь Константин Чулдумович успел побывать буддийским ламой, солдатом Тувинской народно-революционной армии, трубачом армейского духового оркестра, преподавателем. Вся его жизнь была связана с музыкой. Творческая лаборатория — это большой мастер-класс для юных музыкантов и их педагогов, собравшихся со всех концов республики и из Монголии.

Но и этого мало для Алдара Тамдына. Сейчас он занят реализацией своего нового проекта. Он хочет создать Академию хоомея. То есть должны быть учебные программы и многое другое, чтобы появилась возможность преподавать. Дело сложное, но вполне, по его мнению, осуществимое.

Свой первый гастрольный тур, еще школьником, он сделал по селам Тувы: Теве-Хая — Сут-Холь — Ишкин — Ийме — Баян-Тала. Сейчас он уже с гастрольями побывал почти во всех странах Европы, не раз выступал в Америке. Везде, где он выступал, появлялись новые друзья Тувы. Теперь они уже сами приезжают в республику. Некоторые — просто слушать музыку, участвовать в обряде освящения Оваа Хоомейжи, любоваться природой. Другие — пробуют свои силы в хоомее, делают студийные записи пения.

Духовность, слава и сила

В то время, когда этот материал готовился к печати, Алдар Тамдын получил новое назначение. Теперь он — министр культуры Тувы.

А одно из самых удивительных мест Тувы, Дом, в котором всегда происходит что-то неожиданное, где пересекаются времена и встречаются люди с разных материков, где пересекаются параллельные миры, перешло под управление другого человека.

Теперь директором Центра тувинской культуры стал ученик Конгар-оола Ондара, один из самых известных тувинских исполнителей-горловиков, владеющий сразу шестью стилями горлового пения, Народный хоомейжи и заслуженный артист Республики Тыва, лауреат множества международных конкурсов, лидер группы «Чиргилчин» Игорь Кошкендей.

Интересна и магия имен руководителей Центра. Конгар-оол — переводится как «колокольчик», но не простой, а буддийский, который используют

во время служб. Он дал душу и духовность. Алдар — в переводе — «слава». И он действительно дал славу. Игорь — от скандинавского «Ингвар» (воин бога Инга) — означает воинство и силу. Центр уже прочно стоит на ногах. И он будет сильнее.

Кажется, что накопивший энергетику Центр тувинской культуры, живущий своей особенной жизнью, действительно сам отбирает себе людей — и сотрудников, и просто посетителей.

Я ЖИВУ В ТУВЕ

Мне повезло. Действительно повезло: сто лет назад Тува окончательно определила, чего же ей действительно надо и взяла курс на сближение с Россией. В ином случае я бы здесь не оказалась, и по распределению после института сюда бы поехала какая-нибудь монгольская девушка. Повезло и в том, что горы, со всех сторон ласково обнимая Туву, помогли ей сохранить себя, сохранить свою неповторимость, свою культуру. И свою непознаваемость. Чтобы хоть немного понять ее, надо здесь жить.

Тува — это... Это — Тува

По европейским меркам — республика очень большая. На территории только одного кожууна (района), на Тодже, например, можно разместить полторы Бельгии. Или полторы Молдавии. Или, на выбор, одну Данию, Швейцарию, Эстонию или Нидерланды.

По сибирским меркам — республика небольшая. Даже, скорее, маленькая.

Многие почему-то считают, что она очень плоская и «однородная»: степи и полупустыни. Впрочем, некоторые догадываются, что если Тува в Сибири, то здесь — тайга.

Даже приехав сюда на неделю или две — вы Туву не увидите. То есть увидите только ее кусочек, и общее впечатление не сложится. Потому что она — разная. И чтобы хоть немного понять ее, надо здесь жить.

Тува — это где?

До недавнего времени мало кто из россиян, даже из сибиряков, мог точно сказать — где находится Тува. На одном из КВН, посвященном 100-летию единения Тувы и России, это обыграли. Вот стандартная сцена: девушка в кокошнике, с караваем в руках и несколько парней в картузах встречаются с парнями в тувинской национальной одежде. То есть вот она — судьбоносная встреча. Судя по всему — начало крестьянской колонизации. И тут один из местных жителей спрашивает: «А как вы нас нашли?» Действительно, вопрос... Даже на карте далеко не все смогут сразу показать Туву.

Раньше можно было говорить так: «Где Ленин был в ссылке, знаете?» Обычно, стараясь блеснуть эрудицией, отвечали быстро: «В Шушенском». Дальше объяснять было легко: так вот, смотрите по карте вниз к границе с Монголией — там и будет Тува.

Впрочем, сейчас все проще. Во время командировки в Казахстан у наших девушек встречающие спросили: «А где это — Тува?» Объяснения насчет положения относительно Красноярского края и Монголии результата не дали. И вот кого-то осенило: «Шойгу знаете?» — «Да!» — заулыбались казахи. — «Так вот, он — наш земляк, из Тувы!» Больше вопросов не возникло. Теперь все знают, где Тува. И мне не надо долго объяснять, где я живу.

Тува — это когда?

Тува — это всегда. Это здесь пастухи из века в век перегоняли свои стада. Это здесь веками копились легенды и предания. Веками ковался характер народа. И веками мало что менялось.

Пока на традиционный уклад не обрушился двадцатый век. И сначала все было еще не очень понятно. Чтобы не сказать — вообще не понятно.

Сто лет назад было принято решение о переходе Тувы под протекторат России.

В 1914 году начали строить Кызыл — неуклюжие лабазы. Тувинцы предпочитали пока жить в юртах, не слишком доверяя домам.

В тридцатые годы в Туве появилась своя письменность. Учиться хотели все, но на всех не хватало даже бумаги. И на чабанских стоянках дети, подростки и взрослые пишут буквы палочками на песке.

Конец тридцатых — начало сороковых. Все вроде бы стало налаживаться. Но грянула война. Все — для фронта. Помощь Советскому Союзу неоценима. Но сокрушительна для Тувы. Только недавно поголовье скота достигло довоенного уровня.

Скажи, что такое «тайга», и я скажу, кто ты

Тайга — такое простое слово. Но на самом деле оно очень не простое. Если на русском языке это — лес в Сибири, то на тувинском, да и на других тюркских языках, это — горы. А вот как понимают слово «тайга» иностранцы — вообще отдельный вопрос.

Может быть, горы, покрытые лесом, называемые местными жителями Сибири «тайгой», и стали причиной такой странной путаницы. Больше того, некоторые словари даже предлагают называть тайгой леса не только сибирские, но и леса Северной Европы и Северной Америки. Не уверена, но, кажется, язык не повернется называть тайгой леса, например, Шотландии.

Но с этой путаницей мы уже как-то примирились, свыклись. А вот иностранцам с этой тайгой — просто беда.

На этот вопрос меня навела книга Анетт Ольшлагель, изданная в Марбурге на трех языках — немецком, тувинском и русском. Книга называется: «Дух-хозяин тайги: Современные предания и другие фольклорные материалы из Тувы». То есть в названии есть определенное слово — «тайга». Но в книге говорится о духах перевалов, лесов, аржаанов и т. д. Что же подразумевала автор под словом «тайга»?

И вот, встречая разных иностранцев, я задавала им, кроме всего прочего, один вопрос: что, по вашему мнению, означает слово «тайга»?

Вы удивитесь, насколько разнообразными были ответы.

Те, кто сначала изучал русский, а тувинского не учил или учил после русского, тайгой называют все же лес. Больше того, в других странах может в информационных лентах на телевидении звучать слово «тайга», когда хотят сказать именно о сибирском лесу, о лесах России.

Если человек сначала учил тувинский язык, как, например, Элизабет Райгагнин — сотрудник Геттингенского университета, итальянка, родом из Венеции, — то ответ однозначный: горы.

Но все же слово «тайга» для иностранцев несет совсем иную смысловую нагрузку, чем просто горы или лес.

Элизабет Гордон, аспирант из Австралии, музыковед, исследователь хоомея, считает, что тайга — это горы и лес, природа.

Американский антрополог Бенджамин Пурзицкий, который, кстати, выучил именно тувинский язык, и не говорит по-русски, тайгой считает вовсе не

горы. По его мнению, тайга — это вся природа Тувы, все, что окружает, за исключением Кызыла.

Четко сформулировал свою мысль Флориан Файбрук из Германии: тайга — это люди, растения, животные вдали от жилья и отсутствие комфорта. Похоже, что именно «отсутствие комфорта» и было ключевым словом. Еще он обращает внимание на то, что в «тайге» люди более доброжелательны, всегда готовы помочь, особенно на трудной дороге, если проблемы с транспортом.

Большинство иностранцев все же понимают под «тайгой» не конкретно лес или горы, а панораму пейзажей, например, или всю природу Тувы в целом.

Так что если «тайга» для вас «лес», то вы — русский или русскоязычный человек, если горы, то вы — тувинец или другой коренной житель южной Сибири. А если «тайга» для вас — вся природа Тувы, особенно при отсутствии комфорта, то вы — среднестатистический иностранец.

Дурген

Несколько лет назад мы все определяли «Девять Сокровищ Тувы». Жители разных районов присылали на конкурс описания того, что, по их мнению, является настоящим сокровищем и требует особой защиты.

Одним из таких Сокровищ жители Тандинского района назвали Дургенский каньон. Слов нет. Описать Дургенский каньон невозможно. Можно стоять и молчать. Можно визжать и прыгать от восторга, как это делала я. Можно без конца щелкать фотоаппаратом.

Спасать его не надо. Хотя бы потому, что не всякий туда и доберется. Дорога туда трудная, да и можно ли ее назвать дорогой? Говорят, можно. Это — дорога пятой, последней, категории. Ради такой красоты можно и рискнуть проехать по ней. Благо это все-таки не очень далеко от Кызыла.

Немногим выше каньона Дурген — тихая и спокойная речка. Но при входе в каньон у нее явно «сносит крышу», чувствуется, что ей надоел покой, хочется чего-то иного, и она просто взрывается фейерверком брызг, сияющих на солнце.

Там, где она еще спокойная, стоит на кордоне заповедника домик. В домике живет Миша, а к нему, смеются коллеги, приходит Маша. Миша — сотрудник заповедника. Маша — медведица, которая, действительно, часто навещает эти места. Для Маши и ее друзей сеют овес, собирают сено, вяжут веники для зимней трапезы. Сюда навевываются и кабаны, и другие лесные животные. Они знают, что их здесь не обидят, наоборот, будут подкармливать.

Бобры с тувинским характером

Тувинский бобр очень интересное животное. Достаточно большое, хотя есть виды и гораздо крупнее. Но он, в отличие от других бобров, не строит хатки. Он предпочитает рыть норы и жить в них. Он не строит запруды. Но деревья перегрызает может — на зиму заготавливает относительно небольшую поленницу дров, чтобы только коры хватило на прокорм.

Тувинский бобр словно понимает, что такое экология и тоже заботится об охране природы. Те бобры-мигранты, которые уже начали проникать в Туву, строят запруды. Местность заболачивается, деревья оказываются в воде, гниют корни и стволы, меняется ландшафт.

Чем особенно интересен тувинский бобр: он — абориген, сохранивший генетическую чистоту. Но его популяция — самая малочисленная в мире. Есть сведения, которые дают возможность предполагать, что тувинский бобр — родоначальник всех современных бобров.

Особенностей у тувинского бобра много. Самая привлекательная состоит в том, что он — очень спокойный, миролюбивый и дружелюбный. У него нет

не только агрессивности, но даже и недоверия к людям. Его можно спокойно брать на руки. Любой другой дикий бобр этого не позволит, он будет кусаться. А если учесть, что бобры легко перегрызают и очень толстые деревья, то страшно представить последствия этого укуса.

Чем печально известен тувинский бобр, так это тем, что его мало. Очень мало. Всего около ста животных, включая и детенышей.

Но бывало и хуже — и для тувинского бобра, и для бобров в целом. В начале 50-х годов прошлого века тувинских бобров было 12—14 особей. В России с бобром тоже ведь были проблемы. Меха у этих животных потрясающий. Недаром бояре всем шапкам предпочитали бобровые. И к началу XX века бобры были почти полностью истреблены. На российских просторах по рекам и озерам их пряталось около тысячи. Но ведь смогли же восстановить! Сейчас их так много, что разрешили и охоту на них.

С запада и со стороны Бурятии идут бобры-мигранты. И больше того — бобры-гибриды. Это те, кого смогли быстро развести в России, скрещивая европейских, азиатских и канадских бобров.

На реку Тес в свое время выселили монгольского бобра. Вроде бы и ничего особенного — выселили ведь в Монголии. Но река — Тес-Хем — течет и по Туве, и монгольский бобр появился и здесь.

Бобры-мигранты легко «вытесняют» местных бобров. Мигранты всегда агрессивнее. А гибриды — жизнеспособнее, быстрее плодятся. Уникальному тувинскому бобру с его неповторимым генотипом грозит серьезная опасность.

Как в раю

В Эрзинском районе, на границе с Монголией, есть небольшое село Качык. В Качыке люди живут как в раю. Здесь нет полиции, врачей, магазинов, почты, связи... Здесь нет много чего. Электричество — есть, от дизельного генератора. Но не всегда. Когда мы туда приехали, генератор не работал. Сотовой связи здесь нет. И просто телефонной связи практически нет. Есть таксофон. Время от времени кто-то едет в Нарын, кладет на карточку сто рублей — и жители поселка могут сделать несколько телефонных звонков.

В школе (а школа есть!), говорят, есть Интернет. Но директор школы к этому благу цивилизации никого не пускает, наверное, боится, что могут испортить Интернет.

На нескольких домах есть тарелки спутникового телевидения. Когда работает генератор и есть электричество — можно посмотреть телевизор.

Фельдшерско-акушерский пункт, конечно есть. Но без врача. Врач порой приезжает...

В поселке всего 242 жителя, включая грудных детей. Если в школе сделать классы по 25 человек, то на 11 классов не хватит не только детей, но и всех жителей, поэтому там школа малокомплектная. Но девятиклассная. В некоторых классах всего по несколько учеников.

Сложнее жить без магазина. Но и здесь находят выход: когда приезжает почта, привозят деньги для выдачи пенсий, то на этой же машине привозят и разные товары первой необходимости: муку, чай, сахар. За товарами второй необходимости, вероятно, жители поселка ездят в Нарын, или в Эрзин, или, того дальше, аж в сам Кызыл.

Но самое удивительное, что при всем этом — поселок растет. Жители отсюда не уезжают, а наоборот, приезжают. Строятся новые дома.

Все просто: здесь же их родина, их земля, они привыкли жить здесь, здесь пасутся их стада.

И в раю есть проблемы

Прокуратура настаивает на том, чтобы все было по закону. И в Качыке в том числе. И это правильно. Закон требует освещения улиц. Чтобы через каждые пятьдесят — сто метров стояли фонари. Хотя здесь электричество только от дизеля, да и улицы весьма условны. Как ни странно, но над этим работают.

В целях противодействия терроризму надо в школе поставить охранную сигнализацию и оборудовать ее громкой связью. И над этим работают. Хотя нормальному человеку покажется, что это перебор. Если в поселке нет полиции, кому будет сигнализировать сигнализация? Да и если встать на улице и закричать: «Помогите! Спасите!», или: «Рятуйте, люди добрые», или: «Шымданар! Дузаланар!», — в зависимости от языка общения, то тебя услышит весь поселок. В Качыке кричать лучше на тувинском или монгольском. Есть в сумоне люди, которые говорят только на монгольском. Так что террористы, если вдруг и доберутся до Качыка, будут мигом обнаружены.

А еще требуют генплан развития поселка. А как его сделать, если нет геологических изысканий? Все упирается в деньги, которых у поселка практически нет.

Зато летом много молодежи — приезжают студенты и старшеклассники на каникулы. Здесь проводят соревнования по волейболу. Есть клуб, хоть и маленький, а значит — есть, где проводить танцы. Только вот с электричеством проблемы...

Оленевод Один

На заседании секции «Хоомей — традиции и современность» научно-практической конференции IV международного симпозиума «Хоомей — феномен культуры народов центральной Азии» внезапно появился высокий рыжеволосый мужчина. Никто не знал, кто он. Его вроде кто-то привел чуть ли не за руку.

Сначала мы поспорили: американец? скандинав? Чем хороши конференции, так тем, что легко можно подойти к любому, спросить, кто он, как его зовут, чем занимается. И выяснилось, что все правы. Он — из штата Аляска. На вопрос, как его зовут, ответил кратко: «Один». Спрашивать фамилию огромного рыжеволосого человека по имени Один как-то несерьезно: Один — верховный бог в скандинавской мифологии, отец и предводитель асов.

Нет, он не хомейжи, сюда его привели просто посмотреть. А приехал он в Туву для обмена опытом. Он занимается оленеводством.

На Аляске, оказывается, существуют огромные проблемы в оленеводстве. И это не удивительно. Коренной народ — эскимосы — оленей издревле не разводил. Здесь много диких оленей, или карибу, которые не желают одомашниваться. Местное население на них охотилось. Но вот численность диких оленей упала, и с Чукотки сюда завезли домашних оленей, чтобы местное население могло их разводить.

Аборигенов учили работать с оленями специально нанятые оленеводы из Сибири. Сначала численность оленей резко возросла, их стало очень много. Потом что-то случилось с кормовой базой, и поголовье оленей стало стремительно уменьшаться. Есть и еще одна проблема — домашние олени легко попадают под влияние диких и тоже дичают, убегают из стада.

Есть и странности в законодательстве. Коренное население может охотиться на диких оленей для пропитания. Но дикое мясо продавать нельзя. Пасти домашних оленей тоже могут только коренные жители. Желающие заняться оленеводством могут это делать только с привезенными оленями. В общем — все сложно: привозите оленей с собой и пасите их на здоровье.

Один знает, что и в Туве есть проблемы с оленями, но не в таких масштабах. И если раньше оленеводов Аляски учили специалисты из Сибири, почему бы и теперь не поучиться у оленеводов-тоджинцев?

И он едет на Тоджу на два месяца. По-русски говорит вполне прилично, думает, что сможет набраться опыта.

Кого только не встретишь в Туве! Вот — Один, оленевод с Аляски, приехал для обмена опытом...

Пушка, нарезанная ломтиками

Главное, ввязаться в бой, а там посмотрим. Говорят, что это был излюбленный метод Наполеона. И уж точно — всех тувинцев. Чтобы «ввязаться в бой» — им не надо было даже оружия. Оружие добывали в бою.

В местности Даг-Ужу китайцев разбили наголову. Аратов было около 80. Оружие: 11 винтовок, 7 берданок и несколько кремневых ружей. Надо ли говорить, что китайская армия была вооружена значительно серьезнее. Вначале...

Недалеко от поселка Пестуновка стояли войска гоминьдановского генерала Ян Ши-чао. Отгук-Дашский бой длился целый день. А у китайцев были не только винтовки, но и пулеметы, и даже пушки. Китайцев благополучно разбили. А оружие? Конечно, оружие разошлось по рукам, что не могло не волновать новое правительство.

И в начале 20-х годов был издан закон. В нем населению предписывалось сдавать оружие. И перечислялось, какие виды оружия надлежит сдать: ружья, винтовки, пулеметы, пушки, бомбы... Да, бомбы тоже не забыли.

Полагаю, это был единственный случай в истории, когда можно было зайти в помещение, занимаемое правительством, с бомбой в руках. Не стоит сейчас этого повторять. Не поймут.

Население закон восприняло без энтузиазма. Во-первых, жалко расставаться с ружьем или винтовкой — на охоте пригодится. А во-вторых — это же железо!

Недалеко от поселка Пестуновка жил дед Каадыр-оола Бичелдея. Он был хорошим кузнецом, и звали его чаще всего просто Дарган-кузнец.

Ему после этих боев досталось не что-нибудь, а полевая пушка. Настоящая, большая, с лафетом. Кузнецу железо всегда пригодится. И он понемногу отрезал железа от пушки, сколько надо для своих изделий. Пол-лафета ушло на что-то большое. А когда надо было делать что-то по мелочам, он понемногу отрезал от ствола. Резал его, как колбасу, ломтиками.

Когда пришли изымать пушку — составили «акт приема». Да, пушка к боевым действиям уже непригодна. Нет половины лафета, ствол почти отрезан... Но вот что было самым серьезным: пушка оказалась заряженной. Кузнец не проверял, в каком она состоянии. Лучше не думать, что было бы, если бы кузнец стал пилить ствол и снаряд одновременно.

Озеро судьбы, или Кто не верит — пусть проверит

Ссылный польский революционер Феликс Кон в начале XX века ездил по Туве, исследовал быт, хозяйство, записывал легенды и предания. В частности — одну легенду об озере и ручье, которые якобы олицетворяют судьбу тувинцев. Как поживает озеро? Место обозначено довольно ясно. Можно посмотреть.

«На берегу Енисея, недалеко от горы Джарга (Чаргы. — *Прим. авт.*), находятся озеро и ручей, с которым связана следующая легенда.

Некогда, когда сойоты еще были сильны и могущественны, ручей с шумом скатывался со скалы и наполнял озеро. Но по мере того, как сойоты обеднели и число их убывало, слабел и убывал ручей, и ныне лишь капли сочатся по скале:

ручей словно слезы роняет над горькой судьбой и горе-участью сойотов. А это озеро, словно оцепенев, застыло: не прибывает и не убывает и все сплошь покрыто пеленой зеленой плесени.

Сойоты с суеврным страхом относятся к этому, словно окаменевшему озеру. Никто не ловит в нем рыбу, никто не решится из него воды зачерпнуть.

— Этот ручей — это наша судьба, — со вздохом обратился ко мне старик-сойот. — С последней каплей ручья — конец и нам. Умрем — погибнем.

Я посетил это озеро. От него действительно веет жутью, как жутью веяло от плесени, которая, как плесень на этом озере, осела в то время на жизни всего тувинского народа только благодаря тому, что природные богатства их страны влекли туда и китайцев, и монголов, и русских».

Место точно не обозначено, но, в принципе, ясно — между Енисеем и горным массивом Чаргы. Не промахнешься. Местные жители ни о каком озере не знают, но говорят, что есть местечко Хольчок («Нет озера»). Неужели озеро умерло? Да и было ли озеро? Местечко Хольчок вроде бы находится не совсем в том месте, которое описано у Кона.

С другой стороны, если посмотреть, то народ и не погиб вовсе. Наоборот, увеличивается, и судьбу не назовешь горькой. Может быть, озеро увеличилось?

Проверим! Мы медленно проехали всю эту небольшую долину, внимательно всматриваясь, чтобы не пропустить настоящее или уже высохшее озеро. Здесь — хорошие луга. Говорят — хорошие сенокосы. Ручья нет. Хотя видны высохшие русла. Или это русла потоков от тающего снега? Где-то здесь должно быть озеро. Или, по крайней мере, впадина, где могло бы раньше быть озеро.

Вот вроде небольшое озеро, действительно покрытое какой-то «плесенью». И еще одно. И еще. Вот уже чистое озеро, и еще одно чистое. Целая цепочка небольших озерц!

А дальше — протока! Большая и абсолютно чистая.

Ох уж этот хитрый «старик-сойот». Вероятно, его достал «русский барин» со своими просьбами, вот он и выдал «легенду». Здесь — заливные луга. Весной с гор текут быстрые ручьи. Летом какое-то время стоят небольшие озера. Они быстро покрываются тиной и быстро высыхают. Тогда не было дождливого лета, и, вероятно, могло быть только одно высыхающее озерцо. Сейчас их много. И еще — широкая протока!

Может, легендам все же можно верить? Вот — много озер и протока. А это значит, что народ увеличился. Хотя на некоторых озерцах «плесень»... Но с этим тоже можно что-то делать. И в прямом, и в переносном смысле. И озера очистить, и жизнь улучшить. Да что говорить! Уже ведь и улучшают. На этих землях, например, хороший сенокос, сена много убирают. А около Ээрбека мальчишки предлагают покататься на ослике. Всего за десять рублей! Но тоже вот — предприниматели. Тоже улучшают свою жизнь.

Да, такая в Туве жизнь. Рассказывать о ней можно долго. Но гораздо интереснее жить в Туве.



ТУВА — СУДЬБА МОЯ

Беседа с Марией ХАДАХАНЭ

Среди замечательной плеяды тувинских ученых старшего поколения имя Марии Андреевны Хадаханэ занимает особое место. Литературовед, фольклорист, критик, переводчик, педагог, член Союза писателей, заслуженный работник культуры Тувинской АССР и РФ. Ярчайшая личность, интеллигент, духовный лидер, романтик, эстет.

Бурятка по национальности, Мария Андреевна девочкой-подростком приехала в Туву вместе с родителями в далеком трудном 1945 году. Она полюбила эту землю и народ, стала одной из тех, кто создавал основы тувинской науки.

«Когда прилетели в Кызыл и вышли из самолета, в нос ударил сухой запах степи. Сначала нам было очень трудно, жили в землянках, избушках, потом получили дом по улице Авиации», — с тихой грустью вспоминает она.

Общение с ней — одно удовольствие. Человек темпераментный, равнодушный, скучать не приходится. С другой стороны, разговор с мэтром — большая ответственность. Идет такой мощный информационный поток, что невольно появляется боязнь упустить, не запомнить что-то важное. Спасает только доброжелательность, открытость, щедрость собеседницы.

Научно-педагогический, творческий багаж М. А. Хадаханэ включает три монографии, более 20 сборников, свыше 100 научных трудов и почти 500 газетных статей. Вся ее жизнь неразрывно связана с Тувинским научно-исследовательским институтом языка и литературы (ТНИИЯЛИ), Кызыльским государственным педагогическим институтом (КГПИ), ставшим впоследствии Тувинским государственным университетом (ТГУ), журналом «Улуг-Хем», Союзом писателей. Ее статьи печатались в «Театральной жизни», «Советской женщине», «Литературном обозрении», «Сибирских огнях», «Дружбе народов» и во многих других изданиях.

— Уважаемая Мария Андреевна, вы наряду с А. К. Калзаном и Д. С. Кууларом являетесь одним из основоположников тувинского литературоведения и фольклористики. Расскажите, пожалуйста, о вашем пути в науку и коллегах по ТНИИЯЛИ, ведь многих из них уже нет среди нас.

— В ТНИИЯЛИ я пришла в 1955 году, после окончания Иркутского государственного университета. Да, сегодня я отдаю особую дань атмосфере ТНИИЯЛИ того времени. До сих пор помню меткие, дотошные замечания Л. В. Гребнева по эпосу, фольклору в целом. Тогда и проснулся мой интерес к тувинскому фольклору, и я навсегда погрузилась в это дело. Огромная требовательность А. А. Пальмбаха к статьям, его широкий кругозор. И споры с Ю. Л. Аранчыном по мировоззренческим вопросам (каждое утро) — недостаточно зрелым марксистом я считалась... Н. А. Сердобов был человеком серьезным, требовательным, военной закалки, но меня никогда не одергивал. Понимал, что мне нужен был простор...

Д. А. Монгуш давал тонкие замечания, всегда в точку и на пользу. Почтенный И. А. Батманов, всегда деликатный, покоря академизмом, особым типом мышления, старался быть полезным молодежи. Удивлялась тому, как Ш. Ч. Саг каждое слово поворачивал гранями. Так он искал слова для словаря. З. Б. Чадамба поражала тщательностью, аккуратностью в работе. Видела ее такой же и в аспирантуре. А у меня тогда хаос идей, мысли неуправляемые, долгие метания — и, наконец, изливаюсь в статье. Про меня говорили, что пишу левой ногой.

Хочу отметить и особую роль А. Д. Грача в тувинской науке. Он — фонтан идей, блестящий пропагандист тувинской археологии. Помню и многих других современников, и более молодое поколение.

— **Известно, что тувинский фольклор — ваша особая любовь и призвание. Собирая его, вы побывали во многих уголках республики и встречались с одареннейшими сказителями, шаманами Тувы. Каковы самые яркие впечатления от поездок?**

— В Бай-Тайге, в селе Шуй, мы записывали слепую сказительницу Бичен Салчак. С ней работали два сезона, она обладала удивительной памятью и держала в уме такое разнообразие сюжетов! Запомнился старик Ак из Дон-Терезина, у которого удалось записать 200 песен. Поначалу отказывался от общения, все твердил: «Не знаю, не помню», — а потом так распелся, что остановить не могли. Записи у Шокшуя Салчака из Монгун-Тайги — самые богатые. Были братья-близнецы Ондары из Хорум-Дага, свидетели восстания 60 богатырей. С титаном Чанчы-Хоо разговаривали обо всем — о быте, еде, традициях и т. д. Веселый Б. Эртине в Тере-Холе, тайные беседы с ним о ламаизме (ведь тогда это было под запретом). Общалась с бывшими ламами в Бай-Тайге. Когда я называла им богов ламаистского пантеона, говорила о Лхасе, они удивлялись и открывались, показывали пещеры, где хранились сутры.

В памяти осталась бедная землянка сказителя Баяна Балбыра в Тодже. Многие сказители были бедными, поэтому мы всегда брали с собой чай, табак, конфеты, отрезки далембы. Люди радовались как дети и были счастливы, что их знания пригодились ученым. Женщины угощали нас чореме, чокпекком, хойтпаком, тараа и прочей тувинской едой.

Фольклор со мной записывали студенты КГПИ Ч. Чап, Р. Ырбан-оол, Комбу-Сюрюн, Э. Чоксум, З. Чигир-оол. Я бесконечно расспрашивала, а они только успевали записывать. Для Ч. Чапа фольклористика превратилась в дело жизни, он стал неплохим собирателем, издал книгу.

— **Составленный вами в соавторстве с О. К. Саган-оолом сборник тувинских пословиц и поговорок переиздавался четыре раза и до сих пор остается ценной книгой.**

— Вы знаете, труднее всего записывать пословицы и загадки. Они обычно в разговоре должны быть к месту. Собрали около 450 пословиц и издали в 1966 году первый двуязычный сборник. Им пользовались педагоги, просили даже из-за Саян. Издание тувинских сказок в Москве началось с того, что меня Н. Венгров отвел в Детгиз. Сборники сказок издавались в 1961, 1967, 1984 годах 100-тысячными тиражами. В 1970 году в Новосибирске вышел сборник с рисунками Л. Серкова и получил серебряную медаль. Всего было десять изданий. В 1996 году американка Кира ван Дузен отобрала сказки на свой вкус из всех тех сборников и издала в США.

— **Мы знаем, что вы — один из первых специалистов из Тувы, получивших академическую подготовку в стенах ИМЛИ им. А. М. Горького. С кем были знакомы и общались тесно?**

— Все началось с того, что в 1959 году в Туву приезжали — Н. Венгров и М. Мусаев. Венгров оценил мой доклад о Пушкине и предложил ряд тем. Тогда я уже занималась тувинской прозой. Он говорил о Блоке, планах ИМЛИ — создал горизонт и направление поисков. Я поднималась с ними на Виланы и вела академические разговоры. В декабре поехала в ИМЛИ сдавать экзамены. Сидела в архиве Горького и зачитывалась толстыми томами. Авторы этих томов ходят тут же в коридорах.

Все это время меня опекал Н. Венгров, дарил старые книги о Востоке для библиотеки ТНИИЯЛИ, показывал свои рукописи о Блоке. В Пахре, на

писательской даче, видела Твардовского, Тендрякова. Когда Венгров позвал меня на вечер к И. Эренбургу, я по глупости предпочла танцы в МГУ. Потом столько раз жалела об упущенной редкой возможности увидеть любимого автора моего отца, в 50-е годы он зачитывался романом о Париже.

Запомнилась встреча нового, 1960 года в ИМЛИ. Пригласил меня тот же Венгров. Рядом за столом сидели С. Аллилуева и А. Синявский, стихи читали Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина и другие.

На защиту диссертации в 1966 году поехала беременной, на седьмом месяце. Приехала в день защиты. Добиралась сначала на автобусе до Абакана, а потом на поезде до Москвы (самолеты не летали из-за сильных холодов). Когда я вышла, то все ахнули и начали причитать. Зал состоял из сплошных белых голов. Присутствовали Д. Благой, Н. Гудзий, Л. Тимофеев и другие.

Ездил и в Ленинград, в Институт русской литературы (ИРЛИ). Ю. Андреев, главный редактор «Библиотеки поэта», познакомил меня с академиком Д. С. Лихачевым и показал Пушкинский фонд. Встретилась там же с В. Бахтиным (был в Туве вместе с А. Прокофьевым).

В Ленинке за два года прочитала около тысячи страниц — по монголоведению, буддизму, психологии и т. д. Ходила на выставки редких книг, посещала литературные вечера в музее Маяковского, за месяц умудрилась 19 раз сходить в театр. Ходила на защиты в МГУ по Пастернаку, Булгакову, видела блестящую защиту Смирновой по Серебряному веку. Попала на конференцию МАПРЯЛ. Это уже славистика и совсем другой масштаб исследований. Огромная любовь и бережное отношение к русскому языку.

— Мария Андреевна, расскажите о ваших земляках — бурятских ученых и представителях творческой интеллигенции, с которыми вы были знакомы.

— Мои связи с земляками были тесными и теплыми. Профессор Иркутского университета Н. О. Шаракшинова и Е. В. Баранникова посылали мне свои труды по бурятскому фольклору. Я училась по этим книгам, делала сопоставления. Штудировала труды А. И. Уланова по «Гэсэру». Очень тесно общалась с В. Ц. Найдаковым — моим однокашником по университету. Профессионально и по-человечески опекал А. Б. Соктоев — однокашник моего мужа по ЛГУ. Зачитывалась бурятской поэзией, литературой. Какие стихи у Д. Ульзытуева! В 1964 году в Туву приезжал певец Л. Линховоин. Боже мой, как он пел песню о верблюжонке-сиротинке! Восхищаюсь балериной Сахьяновой. Она великий человек, восхитительная женщина, и такая простота! Ким Базарсадаев, народный артист СССР, был свидетелем на нашей свадьбе, подарил роскошный букет цветов. Писатель Н. Балдано приезжал в Туву, и мы говорили о поэзии, сказках.

Я думаю, что буряты и тувинцы сплелись корнями — и ученые, и литераторы. В 60-х годах в Иволгинском дацане встречались с тувинским ламой Кенден-Сюрюном башкы. Бурятская поэтесса Людмила Олзоева посвятила ему целую поэму.

— В течение почти 30 лет вы заведовали кафедрой в КГПИ. Расскажите о своей любимой кафедре и пережитых приятных моментах.

— На кафедру русской и зарубежной литературы пришла в 1969 году. Читала курс лекций по современной русской литературе, теории литературы, многонациональной литературе, вела спецкурсы по литературе народов Востока, литературе Сибири, критике и художественному переводу. Следила за научным ростом сотрудников — многих отправляла в аспирантуру, на стажировки. Любила проводить литературные вечера и «огоньки» для студентов, например, Монголии, Кореи, Китая, Японии и Индии и т. д.

Часто приглашала гостей — писателей, журналистов, артистов, художников. Помогала своим печататься в альманахе «Улуг-Хем». Приобщала к лекторской деятельности. Проводила встречи со студентами после поездки в Италию и Францию.

Старалась завязывать творческие связи, искала темы дипломных, курсовых работ. Всегда любила собирать книги — Блока, Тургенева, Р. Роллана и всю французскую литературу (на ней и выросла). В юности ценила Ремарка, Хемингуэя, позже полюбила Фицджеральда. Открывала для себя русское зарубежье. Особое мое увлечение — Серебряный век. Любила поэзию Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, знала восточную, европейскую. Собирала афоризмы, книги, песни Высоцкого и других бардов, значки, открытки, пластинки, фотографии, альбомы — все, что может пригодиться для студентов.

— Что значит альманах «Улуг-Хем» в вашей жизни?

— В «Улуг-Хем» меня привел О. К. Саган-оол в 1958 году. Вокруг журнала собирались русские авторы. В нем печатались многие произведения В. Ермолаева. В течение 15 лет общались часто, он принес старые фотографии 20—30-х годов, где люди и события были запечатлены его рукой. Высокий, осанистый, деликатный, интеллигент в лучшем смысле слова. Язык — красивый, старинный слог ласкал слух. Уехав к сыну в Абакан, он прислал книгу о Енисее Г. Кублицкого, описывал свои впечатления и тосковал по Туве. Этот человек был энциклопедией начала XX века.

М. Пахомов присылал свои рассказы: «Хем-Бельдыр», «Испытание верности» и другие. Они требовали большой правки, там были огромное знание тувинской жизни начала XX в. и незнание литературного языка, склонность к «красивостям» и сентиментальности требовала редакторской руки. Он передельвал, присылал рукопись снова, не со всем соглашался.

Н. А. Сердобов тоже печатался в «Улуг-Хеме»: «На сопках», «Дороги и тропы», «Простая история», «Сердцу не прикажешь» и другие его произведения. Его переполняла военная тема, читал детективы, искал свою форму изложения, любил писать рецензии.

К «Улуг-Хему» тянулись журналисты О. Гаврилов, В. Бузыкаев, Т. Сермавкин, В. Локонов, В. Тимофеев и другие. Мы приглашали к сотрудничеству П. Черкашина, М. Рамазанову, В. Журавлева, из Москвы — М. Вершинина. Появились новые авторы. Активно печатались В. Сенчин, В. Нестеренко, А. Захаров, П. Босенко, Ф. Лобанов, В. Кан-оол, Л. Батурина.

В «Улуг-Хеме» публиковались гости: Г. Некрасов, К. Антошин, якутские и монгольские поэты. Алтаец В. Эдоков написал о художнике Чорос-Гуркине — ученике Шишкина, он оставил много картин о людях и природе Тувы.

В свою очередь, я писала рецензии, обзоры, очерки. Активно переводила тувинских авторов — С. Сюрюн-оола, Б. Ондара, Н. Ооржака, Ч. Куулара, Д. Сарыкая, О. Саган-оола и многих других.

Была долгие годы членом редколлегии. «Улуг-Хем» открыл мне дорогу в литературу, а для русских читателей и гостей Тувы был хорошим спутником и гидом. «Улуг-Хем» на русском языке первым знакомил читателей всей страны с жизнью тувинского народа и его литературой, развивал литературные взаимосвязи. Вот так я и жила вместе с «Улуг-Хемом».

— Огромное вам спасибо, Мария Андреевна, за ваш искренний рассказ, открытость и щедрость души. Благодарные земляки и потомки не забудут ваш титанический труд на благо тувинского народа. Примите наши самые теплые, нежные поздравления — счастья, здоровья, бодрости духа и творческого долголетия вам!

Беседовала Антонина ДОНГАК

Иустина ЧУВАШЕВА

«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!»

Воспоминания деревенской учительницы

Перед вами — воспоминания. На первый взгляд, что здесь такого? Сочинение обыкновенной деревенской учительницы из сибирской глубинки. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле — текст необычен и уникален. Судите сами: часто ли вам приходилось знакомиться с мемуарами простых учителей? Именно педагогов, да еще сельских, описывающих свои повседневные, но обладающие вечным смыслом чувства, труды и заботы? И еще. Эти страницы, написанные так трогательно, сердечно и открыто, оставил нам в назидание «человек из прошлого века», даже позапрошлого. Это — важный документ отечественной истории.

Об авторе воспоминаний — И. К. Чувашиевой — нам, к великому сожалению, почти ничего не известно. Если судить по списку учителей Тобольской губернии за 1907 год, звали Чувашеву Иустиной, стало быть, по-простонародному — Устиньей. Будучи сиротой, в детстве она воспитывалась при монастыре. Потом преподавала в сельских начальных училищах таежного Туринского уезда Тобольской губернии, особенно долго — в деревне Саитковой (именуемой в мемуарах Сосновкой), которая полюбила её своими хорошими людьми и чудесной природой.

Многие училища в здешней местности находились в ведении Синода. И самое важное, о чем вы прочтете в воспоминаниях, дорогие читатели, — как строились в дореволюционной России отношения Русской Православной Церкви, священнослужителей и основной части народа — крестьянства, обладавшего своеобразной и глубокой духовной культурой. Об этих отношениях за десятки последующих лет было сказано слишком много политически пристрастного, поэтому Иустине Чувашиевой стоило бы в ноги поклониться за бесхитростный рассказ о том, что она увидела и прочувствовала сама.

Тетрадь с воспоминаниями учительницы была обнаружена новосибирским историком и педагогом Т. И. Березиной в Российском государственном историческом архиве (Санкт-Петербург) среди рукописей Святейшего Синода. Мы публикуем её с незначительными сокращениями по рукописному подлиннику. При редактировании сделаны небольшие структурные, стилистические и грамматические изменения, орфография приближена к современной.

Владимир ЗВЕРЕВ

I.

Давно это было...

В январе 1898 года назначили меня, шестнадцатилетнюю девочку, с домашним образованием и совершенно неопытную, не имеющую в руках свидетельства об окончании даже начальной школы, учительницей в глухую далекую деревушку на севере Тобольской губернии. Назначили потому, что никто из имеющих свидетельство на звание учительницы не соглашался туда ехать. Дальние расстояния, глушь, семирублевое жалование — все это пугало... Кроме того, деревня прославилась тем, что очень недружелюбно встречала педагогов: за два года существования школы там успели послужить три учительницы.

И вот прошла уже половина учебного года, а учительницы в Сосновке¹ все нет.

Я же всегда стремилась стать учительницей, в моей родной деревушке посещала открывшуюся церковно-приходскую школу и даже иногда заменяла, как умела, учителя псаломщика, которого часто от занятий отвлекали требы и церковные дела. Поэтому, благодаря рекомендации нашего приходского батюшки, уездное отделение² предложило мне поехать служить в Сосновку.

Как обрадовало меня это предложение, с каким восторгом я приняла его, прямо-таки счастлива была при мысли, что буду учительницей. Да и материальная сторона, по всей вероятности, играла роль: ведь каждый месяц, зиму и лето, я буду получать 7 рублей! А о том, что я совсем не умею приступить к делу и не знаю, как буду учить детей, я тогда не задумывалась; не боялась того, что совершенно не знакома с делом преподавания и даже сама не умею правильно писать. Все во мне, кажется, пело: «Буду учить! Учить! Учить!»

Я собралась, приехала в свой уездный город и первым делом явилась к отцу наблюдателю. Видела я его в первый раз и помню, что он произвел на меня лучшее впечатление, чем я ожидала. Дал много полезных советов и, между прочим, предупредил, что деревня, в которую я еду, считается весьма плохой в том отношении, что народ очень грубый и мне там будет нелегко. «Но, — прибавил он, — заведующий школой³, отец Димитрий, весьма деятельный, энергичный человек, и вы во всех затруднительных случаях обращайтесь к нему. Школу он очень любит».

Потом о. наблюдатель исходатайствовал мне открытый лист для бесплатного проезда до места назначения, вручил вид, с которым я должна была по приезде явиться к заведующему, и напутствовал меня добрым словом.

Вечером того же дня я выехала из г. Туринска.

Проехала верст пять и встречаю сибирский урман: непрерывной стеной по обе стороны дороги тянется громадный лес. Густой, высокий, черный, он охватил меня со всех сторон. Этим огромным лесом нужно проехать 90 верст, не встречая на своем пути даже крошечной деревушки.

Стемнело. Наступила ночь. Лес однообразно шумит и покачивает вершинами. Колокольчики под дугой гудят, и мне в их позвякивании слышится, будто

¹ *Сосновка* — речь идет о д. Сайтковой Кошукской волости Туринского уезда. Она располагалась от губернского города в 278 верстах, от уездного — в 189, от волостного правления и ближайшей церкви — в 8 верстах. Судя по официальным данным, это было бедное и «умирающее» селение. В 1893 г. здесь имелись 123 домохозяйства (из них 3 некрестьянских) и 822 жителя, а к 1909 г. остался 101 двор с 519 обитателями. На одно хозяйство приходилось в среднем менее 10 десятин земли, пригодной для пашни и сенокоса. В начале XX века в деревне числились 3 торговые лавки (одна из них — винная), 2 водяные мельницы, кузница, пожарный сарай, а также часовня и школа грамоты.

² *Уездное отделение епархиального училищного совета* — церковное учреждение, руководившее в уезде работой школ, подведомственных Синоду. Во главе отделения стоял отец наблюдатель, упоминаемый далее в воспоминаниях.

³ *Заведующий школой* — священник, настоятель ближайшего православного храма. В его обязанности входило заведование расположенными в приходе церковными училищами, преподавание Закона Божия в школах всех ведомств.

они твердят: «Впе-ред, впе-ред...» Ямщик то посвистывает, то песни поет заунывные, а я смотрю на звездное небо, узенькой полоской виднеющееся между стенами леса. Лошади между тем все дальше и дальше бегут, больше и больше отделяя меня от прошлого, от родных, приближая к новой жизни, такой таинственной и желанной... А ночь висит над землей морозная, ясная, и лес продолжает монотонно петь свою вечную песню.

Спрашиваю ямщика: ходят ли тут волки? Узнаю, что волков здесь нет, потому что нет селений. Зато очень много медведей, летом они часто встречаются на дороге, и ездить страшно. И начинает мне ямщик рассказывать разные истории о встречах с «мишей».

Так мы проехали безостановочно 60 верст. Тут «зимовье» — среди леса небольшая избушка, где останавливаются проезжие, греются и кормят лошадей. Лошади, приближаясь к зимовью, побежали быстрее. Потянуло дымом, блеснул среди леса, как одинокий глаз, маленький свет в волоковом оконце.

Мне не хотелось останавливаться, заходить греться, а хотелось ехать безостановочно, но лошади устали, а ямщику нужно было поесть. И не хочется, а нужно выходить из кошевы, покоряясь общей участи всех проезжающих. Дверь в избушку настолько мала, что в нее нужно пролезать, низко-низко согнувшись.

Вошла. Сразу охватило едким дымом дров и махорки. Сквозь дым и табачные клубы с трудом увидев свободное место, я поскорее прошла туда и с любопытством, даже со страхом стала рассматривать окружающее. У входа в углу — большой очаг, дым шел прямо в отверстие на потолке. Пол земляной, кругом нары, на них сидели и лежали мужики, человек десять. Некоторые на очаге варили рыбу. Я совсем оробела: ни одной женщины, а тут еще увидела, что несколько мужиков распивают водку. Посматривают на меня, а я прижалась в своем уголке и молчу. Даже на вопрос хозяина, кривого старика, подвыпившего с гостями: буду ли я пить чай, нужен ли самовар? — лишь отрицательно покачала головой.

Сразу же пришли на ум рассказы, слышанные дома в длинные зимние вечера, как в старину на Туринском волоке убивали и грабили. Нетерпеливо посматриваю на дверь, ожидая своего ямщика. А подвыпившая компания уже затянула песню.

Ямщик распряг лошадей, вошел в зимовье, принес мой дорожный мешок и сразу заказал старику хозяину самовар. Пьяной компании посоветовал быть посдержанней в выражениях. Я собрала все нужное для чаепития, ободрилась и уже не стала бояться своих случайных дорожных встречных.

Утром мы поехали дальше. Ехали днем, и впечатление от дороги и местности получилось совсем другое. Лес стоял белый, покрытый снегом, закуржавел, блеснул и искрился на солнце холодной красотой.

Наконец я добралась до Сосновки. Приехала поздно вечером, остановилась у часовенного старосты. Приняли меня очень приветливо, семья хорошая, какая-то патриархальная, особенно милы были дедушка Павел и бабушка Екатерина. Молодость ли моя трогала, или что другое — не знаю, но так они сердечно отнеслись ко мне, что я почувствовала себя как среди родных.

На другой день я поехала к о. заведующему школой в село, отстоящее от Сосновки в 25 верстах. Увидев меня, заведующий очень удивился: почему отделение послало учительницу в Сосновку, когда дело со школой там не налаживается, детей почти совсем не отдают учиться? На мой вопрос: зачем же открыли школу, раз население враждебно относится к ней? — о. Димитрий рассказал довольно странную историю.

Купец г. Туринска открыл в Сосновке питейный дом (тогда в Сибири еще не введена была казенная винная монополия), заплатил крестьянам некоторую сумму за право торговли в деревне водкой и поставил непременно условие: открыть в деревне школу, которую он будет содержать на свои средства. Так как школы совсем не было, пришлось ее открыть, и, как самую доступную,

открыли школу грамоты¹. За согласие пустить в деревню совместно с «питейным» и школу купец набавил еще ведерочка три водки, и дело сладилось. На бугорке посреди деревни стоял покривившийся дом с вывеской: «Распивочно и на вынос», а напротив, через овраг — другой дом, на котором видна была иная вывеска, написанная славянскими буквами: «Церковная школа грамоты».

Покривившаяся хата всегда имела посетителей в более чем достаточном количестве, а приличный двухэтажный дом с голубой вывеской — пустовал.

Купец, продержав питейное заведение в Сосновке полтора года, почему-то перевел его в другую деревню, а школа осталась — нежеланная обуза для населения. Совместно с питейным крестьяне ее еще терпели, а когда содержание ее пало на них, они стали смотреть на школу уже враждебно, как на лишнюю и совсем не нужную статью расходов.

Свое повествование о столь странном возникновении школы батюшка закончил такими словами: «Не знаю, выдержите ли вы эту борьбу, удастся ли вам сладить с ними... Больно уж упрямый народ. Во всем моем приходе — это самая пьющая деревня. Питейных сколько угодно пустят, всю лесную и рыбную добычу прогуляют, а школа... Нет, они не нуждаются в ней, боятся света...»

Сжалось мое сердце. Неужели мои мечты, юные, заветные, такие восторженные, должны рушиться и я уеду отсюда? Я чуть не плакала.

Отец Дмитрий дал мне бумажку к сельскому старосте, где предлагал нанять квартиру для школы и для меня. Дал нужные советы и предложил в затруднительных случаях писать ему, обещая сделать все возможное.

С невеселыми думами ехала я в Сосновку.

Вечером того же дня был деревенский сход. Я с нетерпением ожидала дедушку Павла, чтобы узнать результаты схода. Поздно вечером дедушка пришел и объявил мне, что квартира нанята у Якова Андреевича. Много было шума и споров из-за школы, но решили пока нанять, во избежание неприятностей с батюшкой. «А учительница, — говорили на сходе, — поживет да уедет, не первая так отправляется». Ребят своих решили в школу не отдавать: «Незачем им учиться. Парни грамоту одолеют — по городам пойдут шататься, а девочки научатся — так женихам письма станут писать».

Как ни жалко мне было милых хозяев, а пришлось расстаться с ними и перебраться на новую квартиру, к Якову Андреевичу. Со слезами рассталась я с доброй семьей, приютившей меня и обласкавшей. А они, провожая, говорили, чтобы я ходила к ним, когда скучно будет.

На следующий день я устроилась на новой квартире: разобрала книги, уложила их в шкаф, развесила картины Священной Истории, карту Палестины и географические карты, перед образами повесила лампаду. Классная мебель — вполне приличная, парты выкрашены, не попорчены, сделаны удобно. Поставила их порядком.

Уютно, чисто стало в моей школе.

II.

В воскресенье утром слышу благовест часовенного колокола. Призывают на молитву. Квартира моя была на площади, напротив часовни. Поскорее собралась и пошла. Прихожу. Часовня холодная, но чистая, светлая, много икон. Стены бревенчатые, не крашены, как и пол и потолок. Сама часовня обнесена частоколом, обсажена различными деревьями, кои стояли все запущенные инеем, как осыпанные серебряною пылью. Наружные стены обиты тесом и выкрашены белой краской.

¹ *Церковная школа грамоты* — тип училищ ведомства Синода с простейшей программой и, как правило, одногодичным обучением. В мемуарах упоминаются также церковноприходские школы — другой тип школ того же ведомства с более обширной программой и длительным сроком обучения, а также министерские школы — училища, подведомственные Министерству народного просвещения (их программа в большей степени была ориентирована на получение основ светской грамоты).

Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошла в часовню, — стоит перед иконами часовенный староста и раздувает кадило, сыплет туда ладан, дым от которого клубами окутывает старосту и разносится по часовне. Прошла я вперед всех и встала в уголке. Один по одному собираются мужички, женщины, стоят и молча молятся, лишь кое-кто из старух вздохнет: «Господи! Прости меня, грешную!»

Староста стоит впереди всех с кадилом в руках, но не машет им, как священник, а только раздувает огонь и время от времени прибавляет ладану. Молились в глубоком молчании с полчаса. Смотрю в ожидании: что будет дальше?

Староста повесил кадило на гвоздик, степенно поворачивается лицом к народу и говорит:

— Молились здорово, старички. С праздником, с воскресеньем Христовым!

— И вас также! — Ответили хором богомольцы и стали расходиться.

Я подошла к старосте, когда он гасил свечи, спросила:

— У вас всегда так молятся?

— А то как же еще?

— А почему никто не читает?

— Да некому читать-то у нас. Сроду так молились, и теперь так молимся. А сколько времени надо молиться — это я по свече примечаю: как соберется народ, зажгу пяташную свечу и знаю, когда кончать моление. Каждый праздник одинаково, а в Пасху и в Рождество молимся дольше — больше свечки сожгу.

Вышла я из часовни и думаю: «Ну уж нет, больше вы молча молитесь не будете!» И приняла твердое решение, что буду каждый праздник читать в часовне часы, акафисты, а там — поживем — увидим! Не поможет ли Бог выучить ребят читать и петь?

Настал желанный понедельник, первый день занятий. Рано я поднялась, с замирающим от волнения сердцем стала ждать учеников. Кто придет? Придут ли?

Пришли так нетерпеливо ожидаемые мною ученики: две девочки, дочери торгующего сельчанина, и два мальчика. Все четверо, к моей радости, оказались грамотными: хоть и плохо, но сливали звуки, знали все буквы. Ждала, ждала — больше никто не пришел. Посмотрела журналы и списки учеников за время существования школы: в первый год посещали школу пять человек, во второй — четверо. Значит, и у меня только эти два мальчика и две девочки будут учиться. Что делать?

А ведь много в деревне ребятишек, — вижу в окно, как они бегают по улицам, играют, катаются в овраге. Как их залучить сюда, в школу? Вышла за ворота и слышу, как они кричат, смеются, ссорятся и даже сквернословят, не сознавая всего ужаса таких выражений. А все потому, что слышат это дома от родителей, на улице от пьяных, и никто им не скажет, как это грешно. И растут они, как и родители, посреди пьянства, в духовной темноте.

Сосновка — действительно «пьяная» деревня, это доказывают и полуразвалившиеся хибарки, неогороженные дворы, гнилые крыши, кое-где посбитые ветром. Это в таком-то месте, где лесу бесчисленное множество. Печальная картина!

На следующий день приехал о. Димитрий служить молебен. Никто не пришел, кроме моих четырех учеников. После молебна батюшка сказал детям о пользе грамоты, убеждал их прилежно посещать школу и приглашать товарищей. Потом начал заниматься с детьми по Закону Божию. Урок этот был первым, который я слышала от настоящего учителя. Проведен он был живо, интересно, и мы все не заметили, как пролетел час. Позже, в разговоре со мной, батюшка сказал, что школа в Сосновке очень желательна — больше, чем где-либо, но уж очень трудно она прививается здесь. Когда я высказала мысль об устройстве народных чтений, о. Димитрий горячо одобрил ее и обещал снабдить книгами, выписать наглядные пособия, лишь бы привлечь народ к школе.

И начала я заниматься, как умела, с четырьмя своими учениками. Училась и сама — благо свободного времени было много, учебники под руками.

Учить почти некого, так хоть сама поучусь! Прошла первая неделя занятий. В эту неделю научились мы петь «Достойно есть». А в воскресенье пошли в часовню. Я прочитала часы, акафист Спасителю, по окончании которого мы спели «Достойно есть». Впервые, наверное, часовня огласилась детским пением. Народу было много, и волновалась я не меньше учеников. Потом объявила собравшимся, что буду в школе делать и чтения в воскресные и праздничные дни. Кто желает послушать, пусть пожалует по звону часовенного колокола.

И к этому делу я приступила не без волнения. Ведь нужно было выбрать подходящий материал, суметь его передать. Уж больно темны и неразвиты были мои слушатели. На первое мое воскресное чтение, помню, пришло человек двадцать. Не помню, что именно я им читала, знаю только, что «божественное», — по выражению крестьян. Расставаясь со слушателями, попросила их почаще посещать часовню и чтения, на что они охотно согласились.

Так и пошли мои занятия. Заниматься мне было не очень трудно, так как дети были способные и прилежные, охотно учились. К весне читали и писали сносно, считали порядочно, только вот задачи решали плохо: я им из-за своей неопытности объяснить не умела. Мы все теснее и теснее сближались. Главное внимание я обратила на постановку воскресных чтений и наших молений в часовне. На чтения теперь уже собиралось по 50—60 человек всех возрастов — и старые, и молодые, и подростки. Чем охотнее они посещали чтения, тем с большей любовью старалась я им отдавать свои досуги. Народ после чтений расходился не сразу: сидят, разговаривают со мной о прочитанном или просто так беседуют. Я отдыхала душой среди них, не чувствовала себя одинокой и оторванной от родных, будто нашла вторую родину.

К концу года мы составили с моими учениками дружную и тесную семью. Девочки даже спали у меня, а мальчики вечерами обязательно приходили к нам посидеть. Затопим печь, смотрим на огонь, разговариваем, сказки сказываем, иногда картошку печем, а то затеем игру в жмурки или прятки — такую возню подыдем, что беда. Я была немногим старше учеников и потому их удовольствия, радости и огорчения вполне чувствовала, резвилась с ними в играх и даже после занятий на «катушке» каталась. С помощью Якова Андреевича мы такую ледяную горку устроили в огороде, что прелесть! Обставили ее по бокам елками, чтобы не заносило снегом и было красиво.

К этой тихой жизни я скоро привыкла, только одного не могла преодолеть в себе — панического ужаса перед пьяными. Кабак был недалеко от школьной квартиры, он никогда не пустовал. Вечером это был «клуб» сосновских обывателей, а около него — крики на улицах, ссоры и драки. Часто во время прогулок с ребятами, лишь слышу шум, увижу пьяного — убегаю скорее домой, а если до дома далеко — бегу до ближайшей избы, чтобы укрыться. Ребята иногда смеются: «Что это вы боитесь? Ведь идет пьяный Николай Семенович, а с ним Марья Николаевна, тоже пьяная, а вы побежали». Но на меня эти уговоры не действовали, и панический страх долго жил во мне.

Однажды я получила письмо от мамы. Так грустно стало, легла в комнате на кровать и плачу, слезы душат меня. Пробрался ко мне мой ученик Митя (такой ласковый был мальчик!), видит, что я плачу, и спрашивает, спрашивает — о чем я? Не допытался, и давай за компанию со мной проливать горючие. Так рыдает, словно какая беда с ним случилась, — насилу я его успокоила. И все это близко моей душе, дорого. Вспоминаю теперь, через много лет, — какие славные были переживания!

III.

Незаметно зима близилась к концу. Приближалась Пасха. Мы усердно готовились встретить великий праздник в своей часовенке. Последнюю неделю только и дела было, что усердно спевались и спешили наделать как можно больше цветов из цветной бумаги для украшения часовни и школы.

В Великую субботу мы красиво, празднично прибрали свою любимую часовню, окна и стены украсили гирляндами из пихты и цветов, надели венки на иконы. Вечером ученики пришли ко мне ночевать — ждать двенадцати часов, чтобы идти в часовню на благовест. Пришли и взрослые, уселись кто на парте, кто прямо на полу, приготовились слушать. Лампада тихо теплилась перед иконами. Я начала читать из Евангелия — последние дни земной жизни Иисуса Христа, прощание Его с учениками, великую Его заповедь о любви, страдание, смерть, погребение. Тишина была полная, слушали очень внимательно эти святыя слова, это повествование. Читала я до половины двенадцатого.

Дедушка Павел, часовенный староста, весь вечер сидел с нами, а незадолго до 12 часов, до начала благовеста, вызывает он меня от народа в мою комнатку и говорит:

— Все у нас будет по-хорошему, и петь даже будете, а ведь нужно с народом христосоваться. Как батюшка в церкви попоет, попоет, да и говорит: «Христос воскрес!» И мне тоже надо это народу сказать.

— Так и скажи.

— Когда же я скажу?

— Пропоем «Христос воскрес», ты и скажи.

— Нет, я не сдогадаюсь, поди, тогда... А вот что, когда надо будет говорить, ты кашляни да и взгляни на меня, я и скажу народу: «Христос воскрес!»

— Да что ты, дедушка, на меня приступ кашля во всякое время может найти, ты и не поймешь ничего.

— Как же быть-то? — задумчиво говорит он, поглаживая седую бороду. — По-хорошему бы нам все сделать, без запинки, не смешаться... А, вот что я вздумал! Стану я на клиросе подле тебя; как придет время говорить народу, ты меня за сермягу-то и дерни, а я в ту пору и скажу. Ладно так?

Я и это отклонила. В конце концов решили: когда пропоем первые три раза «Христос воскрес», дедушка и похристосуетя...

Ровно в 12 часов ночи начался благовест. В темноте пасхальной ночи ярко выделялась наша часовенка, обставленная кругом горящими плошками. На колокольне горели фонари, разливая тихий свет. Лился он и из окон часовни, пробиваясь сквозь деревья, лился и в открытые двери.

Мы вошли и стали на клиросе, готовясь встретить светлый праздник. Народу — полно! Прочитала я полунощницу, канон, ирмосы. Затем не без волнения мы запели «Воскресение Твое, Христе Спасе!», а после — великое и радостное, с чем в мире ничто сравниться не может — «Христос воскрес из мертвых!» У всех молящихся в руках были зажженные свечи, часовня сияла. Пахло хвоей и ладаном, и мы радостно пели торжественные песни победы жизни над смертью, так сердечно, восторженно отвечали дедушке Павлу:

— Воистину воскрес!

Прошло много лет с той Пасхи. Никогда — ни до, ни после — я не встречала с таким восторгом этот Великий праздник, как встретила его в убогой часовне с некрашеными стенами, среди народа, грубого на вид, но младенца душой. Когда мы пели радостные слова пасхальных песнопений, я видела слезы умиления и выражение душевной радости на лицах молящихся, я поняла, что души наши слились воедино и что мы все, тут стоящие, составляем одну семью.

Я волнуясь, иногда петь не могу, а ребята поют смело и уверенно. Чудный дискант Тимоши так и разливается.

— Приидите вси вернии! — поднимает он.

«Пришли мы и поклоняемся святому Воскресению Твоему», — думаю я и чуть не рыдаю от восторга. Окончили... Первыми похристосовалась с учениками, сошла с клироса, и тут все, без разбора, наперебой целуют меня: «Христос воскрес!» Едва успеваю радостно отвечать: «Воистину воскрес!» А душа у меня — ликует, ликует...

Этим и окончился мой первый учебный год.

IV.

Летом того же года, на мое великое счастье, меня вызвали на педагогические курсы. До них я понятия не имела о том, как нужно правильно вести уроки. Курсы были поставлены превосходно их руководителем, епархиальным наблюдателем Григорием Яковлевичем Маляревским. Сколько любви к делу, знания, опытности было вложено в них! Прямо-таки новую жизнь вдохнули они, научили не только как учить детей, но и как воспитывать. Теперь, по прошествии многих лет, вспоминаю эти курсы и их организатора с глубокой благодарностью. Они принесли мне пользу на всю жизнь.

Прямо с курсов я приехала в Сосновку. Теперь уже не боялась неграмотных учеников, а думы и заботы были лишь об одном — как бы побольше их набрать.

Отец Димитрий еще до моего приезда подготовил почву для нашей совместной работы. 18 августа в Сосновке — ежегодный местный праздник. Всегда бывает молебен в часовне, а потом батюшка с псаломщиком заходят в каждый дом с крестом и святой водой. В этот раз после молебна батюшка обратился к народу с убедительной речью о пользе грамоты, чтобы они не боялись отдавать детей в школу, не считали вредными знания. Заходя с крестом в дома, он указывал на каждого малыша и говорил: «Этот нынче у нас в школу пойдет, учиться будет. Не держите его дома».

Батюшка в приходе пользовался большим авторитетом и любовью своих прихожан. Они уважали его и боялись не за страх, а за совесть. Со всякими нуждами шли к нему, как к отцу. Или выяснить что, или разрешить семейные неурядицы, — всегда обращались к нему с полным доверием, и никто не уходил от него неудовлетворенным.

Крестьяне в этот раз отнеслись ко мне уже не враждебно, как в первый мой приезд. В прошлую зиму я со многими сошлась, воскресные чтения нас сблизили. А хозяйка моей квартиры — милые, славные старички — те встретили меня, как родную дочь. Очень уж они меня полюбили. Часто вечерами я им читала вслух, «как колокольчик», по выражению Якова Андреевича, хозяйина квартиры, и готова была звенеть без устали... Бабушка Аксинья, бывало, прядет, Яков Андреевич сети вяжет, я сижу рядом с книгой, еще кто-нибудь из учеников придет. Уютно, хорошо, отрадно так было...

В начале сентября о. Димитрий опять приехал в Сосновку и собрал сельский сход специально для обсуждения с мужиками вопроса о школе. Тут же при его содействии наняли у Якова Андреевича квартиру для школы и для меня. На 15 сентября батюшка назначил молебен, на который предложил прийти и родителям учеников.

С замирающим сердцем ждала я четырнадцатого сентября — день, назначенный для приема учеников. Очень боялась, что по примеру прошлых лет придет человек пять. Но как же велика была моя радость, когда набралось их небывалое еще количество за все время существования школы — 25 человек. И между ними — восемь девочек, коим я особенно обрадовалась.

Пятнадцатого сентября, в день молебна, народу набралось — полная школа. Кроме родителей учеников, принять участие в нашей молитве пришли и посторонние. Прошлогодние мои четыре «пионера» пели с псаломщиком. Они теперь учились в средней группе, а двадцать пять новичков — в младшей.

Смело и уверенно начала я занятия. Просмотрела свои курсовые записки, вспомнила, как велся тот или другой образцовый урок. Знала, как приступить к делу, а там уж кое-что и свое вкладывала, сообразуясь с обстоятельствами.

По-прежнему пошли у нас и воскресные чтения. Народу наберется полным-полно, сидят за партами, прямо на полу, запоздалые на ногах стоят, терпеливо слушают до конца, не уходят. А тут дело со чтениями еще продвинулось вперед: о. заведующий на свои личные средства приобрел небольшой

волшебный фонарь с туманными картинами¹. Картины были преимущественно из Ветхого и Нового Завета — все выдающиеся события от сотворения мира и человека, кончая Воздвижением Креста Господня. Несмотря на дальность расстояния, недостаток времени, о. Димитрий нередко принимал личное участие в чтениях, вместе с матушкой, которая, получив образование в епархиальном училище, выделялась особенною выразительностью чтения, и слушатели всегда получали наслаждение от ее чтения.

С приобретением фонаря чтения приняли форму воскресной школы. Только, к сожалению, не преподавалось здесь ни чтения, ни письма, лишь наглядно изучали Священную Историю, о которой до этого крестьяне и понятия не имели, не говоря уже о Ветхом Завете, но даже и о Новом. Знали, что есть Бог, Пресвятая Богородица, что в праздники работать грех. А напиться до потери сознания, даже напоить пьяными своих детей — это ничего, можно и даже должно. Значит, все, с чем приходилось мне знакомить слушателей, было для них совершенно ново, не слыхано никогда.

Еще задолго до сумерек взрослые и даже старики являлись в школу или толпились около нее, с нетерпением ожидая наступления темноты и начала чтений. Когда чтения были с фонарем, классную мебель выносили, освобождая место слушателям, которые стояли тесной толпой, едва помещаясь. Приходилось иногда делать два чтения подряд: первые пришедшие наполняют класс (человек 150 могло присутствовать), а другие, которые пришли позднее, сидят внизу и дожидаются. Выйдет первая смена, освежу воздух (лампа в фонаре начинала гаснуть от недостатка кислорода) — входят вторые, и я начинаю повторять. К книге я никогда не прибегала, в руки ее не брала, а выведу на экран нужное изображение и начинаю рассказывать о событии самым понятным, простым языком. Если событие из Нового Завета — иногда споем тропарь соответствующего праздника или подходящее песнопение. Слушали всегда с глубочайшим вниманием, несмотря на присутствие больше сотни человек. Полная тишина, только мой голос раздается.

Однажды, в праздник Сретения Господня, народу набралось больше, чем мог вместить класс, давка была сильная. Наперли на печь и уронили почти половину. На счастье, удержали кирпичи и не дали им упасть на головы. Пришлось раньше времени окончить чтения. Несколько человек остались, сняли осторожно отвалившиеся кирпичи, сложили их на пол кучками и... ушли все! Я и осталась одна среди такого разрушения; на полу — глина, обломки... Села перед этой грудой и чуть не плачу: как быть? Топить нужно — завтра занятия, а печь сломана. Кто же поправлять будет? Яков Андреевич рассердится, что у него в доме печь сломали, а нанять печника у меня положительно не на что, — горе настоящее. Сижу, горюю, к Якову Андреевичу идти вниз и говорить о своей беде — боюсь.

Ему, должно быть, уже сказали, и вижу, что идет ко мне вместе с Аксиньей, смеется: что голову-то повесила? Я вижу, что он не сердится, и обрадовалась.

— Поди, Аксинья, в подполье, накопай там глины да замочи ее. Я завтра сам исправлю, лучше старого будет. А ты, — обращается Яков Андреевич ко мне, — иди вниз ночевать, утром подольше спи, заниматься-то нельзя будет, а я печничать буду, ребят домой отправлю.

От этих простых, но задушевных слов всю мою заботу как рукой сняло, и я весело побежала с Аксиньей вниз, полезла вместе с ней в подполье глину копать. А вечером, перед сном, мы еще долго разговаривали и смеялись над тем, что печь «раздавили».

Вскоре после этого случая мою школу посетил г. епархиальный наблюдатель Г. Я. Маляревский. Со страхом и трепетом рассказала я ему этот случай. Думаю: «Беда, виновата я, печь в школе уронили, я из-за этого два дня не занималась, уроки пропустила». Но епархиальный наблюдатель отнесся к этому иначе, и

¹ *Волшебный фонарь с туманными картинами* — проекционный аппарат для демонстрации иллюстраций во время школьных уроков, а также вечерних, воскресных и праздничных духовно-просветительных чтений для населения.

ответы моих учеников ему понравились. Вообще, его посещение внесло в нашу школьную жизнь свет и тепло. И в тот раз, и в другие приезды Маляревского я сравнивала его с солнцем: приедет — осветит и согреет, рассеет мрак сомнения. Легче на душе после него, энергия удвоится, силы как будто придут. И занятия идут увереннее, чувствуются внутри какой-то огонь и любовь к делу.

V.

Легко и радостно было мне работать в дорогой Сосновской школе, потому что я была не одна. Всегда чувствовала заботу о. Димитрия. Школу он посещал не менее одного раза в неделю. Если приедет рано, то присутствовал на утренней молитве, после нее прочитывал сам житие дневного святого (двенадцать ежемесячных книг для школы были выписаны им же), заставляя учеников кратко рассказать содержание прочитанного. Иногда приезжал днем во время занятия, всегда первым делом спрашивал ребят, чью память сегодня совершаем и кто может об этом рассказать. Занимался не по одному лишь Закону Божию, а основательно проверял знания учеников по всем предметам, следил за их духовным развитием и, как тонкий психолог, всегда метко определял индивидуальные особенности каждого ученика. Всех их знал по именам. В своем приходе он знал всех от мала до велика, и если какого ученика начинали отвлекать от занятий домашними работами, то призывал родителей и разъяснял им, какой вред они приносят ребенку.

Уроки батюшка вел занимательно, живо, объяснял все большею частью наглядно. Ребятенки слушали его, затаив дыхание, глаз с него не сводили. На моих занятиях иногда сядет в сторону, следит за ходом урока, по окончании всегда укажет на недостатки. Указывал и на другие слабые стороны преподавания, замеченные им при проверке знаний учеников. Требовал от меня, чтобы я вносила в урок больше живости, не давала школьникам скучать и зевать и всегда помнила, что передо мною дети, и они, как голодные птенцы, ждут духовной пищи.

Несмотря на то что на вид он казался серьезным, строгим, ученики его очень любили. Как только покажется из-за часовни его буланая лошадка, все повскакивают с мест:

— Батюшка едет! Батюшка едет!

Захлопают от радости в ладоши, запрыгают на месте, выражая свой бурный восторг. Насилу успокоятся к тому моменту, когда он войдет к нам в класс своей быстрой, энергичной, но вместе с тем величавой походкой и начнет заниматься, или, вернее, беседовать с ними...

Многие ученики ни разу не видели храма, а понятие о нем имели лишь по картинкам. И батюшка предложил нам всем приехать 21 ноября к богослужению в село¹. Крестьяне охотно дали нам лошадей, и мы поехали. День, на наше счастье, был солнечный, теплый. Длинной вереницей тянулись по узкой зимней дороге в лесу наши сани, розвальни, кошевки... Ехали очень весело. Мальчики часто выскакивали, бегали от кошевы к кошеве, менялись местами. Дорога прошла для всех быстро и незаметно.

Учеников средней группы батюшка пригласил к себе ночевать, потому что они готовились читать в церкви и он вечером хотел их лично прослушать. Для остальных учеников вместе со мной батюшка приготовил квартиру в доме одного крестьянина.

Надышавшись днем свежим, бодрящим воздухом, крепко спали мои ученики. Ночью, при слабом свете лампы, я всматривалась в их безмятежные, спокойные лица: никакой тревоги не выражалось на них. Счастливая пора! И сны, вероятно, видели свои, детские, радостные...

¹ К богослужению в село ездили потому, что именно села являлись центрами церковных приходов, там располагались православные храмы, где служили литургию. А в деревнях имелись в лучшем случае только часовни.

Рано утром поднялись мои ребята, умылись, причесались, нетерпеливо ждали благовеста. Пришли к утрени — а ученики среднего отделения уже стоят с батюшкой на клиросе. С любопытством и вместе с тем со страхом осматриваются мои детки в храме. Никогда они не видели такого здания, такого украшения, множества лампад и свеч. Часовня наша бедная, школа помещается в крестьянском доме, а тут все сияет огнями, горит позолотой, иконы, дым кадильный, блестящее одеяние на батюшке и на диаконе... Усердно молятся они в доме Божиим...

Девочка средней группы читала посреди храма шестопсалмие, другая — первый час, затем часы читали мальчики. Все читали на середине церкви, недалеко от нас, где стояли рядами остальные ученики. После службы батюшка показал им храм, объяснил некоторые изображения на святых иконах, всем подарил по образку, а тещам — по небольшой, исполненной на металле иконке их тезоименитого святого.

Сколько радости и восторга вызвало все это у них!

В зиму мы посещали храм еще несколько раз, выбирая теплую погоду. На второй неделе Святого Великого поста ездили говеть.

VI.

В январе месяце, в сумерках, после уроков приходят ко мне в школу молодой парень и девушка, на мой вопрос — по какому делу? — заявили, что пришли учить молитвы.

— Что вы так вздумали учиться?

— Да мы венчаться на этой неделе собрались, поехали к батюшке благословляться свадьбу заводить, а он спросил нас, знаем ли мы хотя бы одну молитву, а я и Акулина ни одной оба не знаем. Он и говорит: «Так как же вы будете своих детей воспитывать, когда сами ни одной молитвы не знаете? Поучитесь молитвам в школе, тогда и повенчаю». Да вот он тебе расписку послал.

И парень начал искать в карманах «расписку»; не найдя, обращается к невесте:

— Акулина, где расписка-то?

— Да ты ее за голенище прятал.

Нашел, подает смятую бумажку, на ней рукою батюшки составлен список, какие нужно выучить молитвы.

— Хорошо, — говорю, — садитесь, буду вас учить.

Сели мои великовозрастные ученики за парту, начали заниматься. Жених уткнул лицо в шапку, невеста стыдливо опустила глаза.

— Ты что же, Елеазар, шапкой-то закрылся, ведь ты ничего не поймешь, — замечаю ему.

— Да мне штыдно!

— Все-таки откройся и повторяй за мной молитву.

Учили с объяснением. Так целую неделю ходили они. Как только ребята из школы, начнет смеркаться, Елеазар и Акулина идут ко мне в школу, садятся за парты, начинают учить молитвы. Акулина понимала лучше, чем Елеазар, а с ним приходилось биться. Потому ли, что ему «штыдно» было, или уж способности такие, не знаю. Через неделю батюшка, отзанимавшись в школе, послал за ними проверить их знания. Вместе с женихом и невестой пришли в школу и их родители. Проверив все выученное, батюшка предлагает все указанное им окончить, тогда обещает и повенчать.

Отец жениха начинает просить:

— Батюшка, не май ты их, брось, пусть они не учатся больше, ведь им штыд чистый ходить в школу, как ребятам маленьким.

— Так зачем ты его не учил маленького?

— А не знал, что надо учить.

— Ну вот, он теперь узнает, что учиться непременно нужно, и уж не задержит от школы своих детей.

— Ей-богу, батюшка, сколько будет, всех отдам в школу! — пообещал стыдливый жених.

Дня через три батюшка пообещал приехать, а эти дни предложил еще поучиться. К приезду мои «ученики» отличились, выучили молитвы, некоторые рассказы из Священной Истории.

VII.

Третий год моего учительства ознаменовался в истории школы важным событием: проездом по епархии посетил наше село епископ Антоний, ревнитель и насадитель церковных школ. Все ученики нашей школы поехали в село встретить архипастыря и получить благословение. Владыка приехал днем. При встрече в церкви пели ученики всех школ в приходе, коих было, кроме Сосновской, еще три — две министерские и одна церковная. Каждая учащая стояла со своими питомцами. После молебствия учащиеся подходили к благословению архипастыря. Отец Димитрий называл, какой школы ученики, а епископ задавал вопросы по Закону Божию. Дошла очередь и до моей школы. Мы стояли сзади и подошли после всех.

Владыка ласково обратился к Тане Барбашиной, умненькой девочке, и спросил ее тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Девы. Таня прочитала его громко и отчетливо.

— Кого подразумеваем мы в словах: «Радуйся, смотрения Зиждителява исполнение?» — раздается тихий, внятный голос епископа.

— Божью Матерь, — отчетливо отвечает Таня.

— Здесь, в храме, есть изображение Введения во храм Пресвятой Девы? — спросил владыка следующего ученика.

Тот показал, где оно стоит. Многих еще спрашивал епископ, проверяя знание молитв, событий из Священной Истории. Одного старшего ученика спросил 9-й член «Символа веры», с объяснением. После всех учеников подошла я. Владыка мне сказал что-то такое хорошее, светлое, что я забыла все свои тревожения, заботы, мелочи жизни, сознавая в душе лишь важность того великого дела, участницей коего я имею счастье быть.

После отъезда преосвященного о. Димитрий в память этого события подарил всем ученикам по книге, оделил гостинцами и поблагодарил за хорошие ответы.

Все эти воспоминания моих первых лет учительства настолько мне дороги, что ни годы, ни жизненные бури не могут затмить их, как никогда не изгладится и память о двух светлых личностях, усердных церковно-школьных деятелях — епископе Антонии и о. Димитрии.

В нашем приходском храме, когда настоятелем его был о. Димитрий, сделали прекрасный новый иконостас. На иконе левого клироса изображены были Антоний Великий и Димитрий Прилуцкий — святые, в честь коих носили имена настоятель храма и епископ. Всегда при взгляде на эту икону вспоминается мне картина: на амвоне стоит, наклонившись к приблизившимся к нему детям, кроткий епископ, некоторым из них положив на голову руки, задает вопросы; детки уверенно отвечают ему, доверчиво смотрят в глаза. А сбоку, возле амвона, ближе к своей пастве, стоит наш любимый батюшка, о. Димитрий, выражение лица его радостное, уверенное. Он сделал все, что мог, он любит воспитываемое им новое поколение, он знает, какие семена сеет в девственную благодарную почву...

И вот — они оба ушли от мира сего, оставив другим продолжать то великое, святое дело, которому отдавали свою душу и любовь. Ушли, но живы в тех плодах, кои посеяли, живы в сердцах, к которым прикасались своим живым словом, в кои заронили искру Божию...

VIII.

Год за годом пошли мои дела в дорогой Сосновке. На третий год были произведены первые экзамены, к которым я приготовила первых четырех учеников. Год за годом выпускала из школы своих любимых птенцов, набирала новых. Ребята были славные, милые, их нельзя было не любить. На лето я не выезжала из Сосновки. Не на что было, жалованья едва хватало на содержание — на семь рублей в месяц не много проживешь. Да и, кроме того, я очень полюбила деревню.

И что за прелесть эта Сосновка с ее окрестностями! Какая красота и разнообразие природы! В лес ли меня потянет — в нескольких саженях непроходимый пихтовый лес, кое-где лужайки, посреди них, как нарочно, посажены купы крупных темно-зеленых пихт. К реке ли хочется — стоит только спуститься под гору, и течет в своих берегах красавица Тавда, отражая в воде деревья, густой стеной окаймляющие ее. В даль ли потянет, на простор полей — с другой стороны деревни поля, кое-где темнеют среди них липовые, березовые или осиновые колки. Даль, просторы, ширь... Сильного ощущения нужно — стоит только пойти на обрыв бабушки Пулихи: высокая-высокая круча сбегает обрывом к самой Тавде. Особенно хорошо там сидеть в бурю, прислушиваться к рокоту волн. В глушь захочется — так, чтобы чувствовать себя далеко от людей, от окружающей жизни, можно забраться в ущелья между горами — там теснота, лога, тишина. Иногда птица пролетит, прошумев крыльями, да лес гудит однообразно своими вершинами, как успокаивающая нервы эолова арфа.

Прелесть эта родная Сосновка! С каким наслаждением и любовью ходила я летом по ее окрестностям! Девочки часто сопровождали меня, иногда с нами бегали и мальчики — порыбачить.

Собралась вся наша юная компания, взяли котелки, картошек, хлеба и чаю и с закатом солнца — к нашему любимому озеру Тавлееву. Тропинка, ведущая к нему, идет возле высокой горы — узенькая, мягкая, лесная. Озеро открывается сразу, а вокруг него — громадный лес. Настал вечер, ребята разогли большой костер, приставили к огню котелки — один с картошками, а второй для чая. Некоторые лежали ничком, подперев головы ручонками, смотрели, как пламя торопливо пробегало по сухой хвое и вспыхивало так ярко, что в лесу, в глубине его, казалось еще темнее, еще таинственнее...

Напились чаю, бросили в костер еще больше соснового хвороста, он вспыхнул ярким пламенем, освещая всех присутствующих и красиво отражаясь в озере, где огонь колебался, двигался, расстился столбом. Искры так и летели в высоту, а в озере они казались падающими звездами.

Мальчики возились, играли, бегали около огня, бросали в озеро камушки, прислушиваясь к плеску воды, а наигравшись, сели около меня. Некоторые стали просить, чтобы я рассказала сказку. Другие запротестовали:

— Нет, сказку страшно в лесу слушать, испугаться можно, лучше житие какого-нибудь пустытника.

— Пустытника! Верно, пустытника! Вы ведь про кого-нибудь из них и без книги знаете! — А сами озираются кругом, всматриваются в черную жуть леса и теснятся ко мне поближе. А самый маленький, Павлик, положил ко мне голову на колени и почти заснул.

Озеро чуть светит в темноте ночи... Вдруг закричал коростель, все вздрогнули от неожиданности, а он закричал еще и еще...

— Ребята, да ведь он здороваётся с нами! — весело прервала удручающую тишину бойкая Таня.

— Верно, верно! — закричали дети.

Тишина и жуть слетели с нас, все заговорили, засмеялись. Догадливый Саша убежал в избушку, там на очаге развел огонь, приготовил место на нарах. Вернулся к нам и доложил, что лесной дворец готов. В самом деле, спать уже было пора. Мы вошли в избушку, и утомленные ребята скоро заснули.

А мне не спится. Я встала и вышла. Отошла несколько сажен от избышки, села на сваленное бурей дерево и прислушалась к самой себе. В груди росло такое чистое, великое чувство, что я готова была плакать от его избытка. Лес как будто говорит с ночью, шепчет своими листьями, переговариваясь с миром Божиим. Так тихо, тихо... Чувствуешь себя так близко, близко к Богу, хочется молиться Ему как Отцу. Ведь это Его дом, Им созданный, а не руками человека, вложен тут не слабый разум человеческий, а необъятная, необъяснимая мудрость Божества...

Начинало светать. Короткая июньская ночь пролетела скоро. В озере плеснула рыба, другая. Пролетела стая уток, прошумела своими крыльями. Природа просыпалась, будто пела. И сердце сливалось с природой, хвалило вместе с птицами Создателя. Нет, такие ночи и переживания никогда не забываются.

Стоило проснуться одному, как тут же поднялись все мои ребятки. Побежали умываться к озеру, начали готовить удочки.

— Не будем сегодня удить, ребята, — заметила я.

— Почему?

— Видите, как все хорошо здесь. Все живет, радуется. Вон трава — и та старается выглянуть на свет Божий, а мы будем рыбу обманывать, на крючок имать... Нет, не будем.

— Ну, что же, не удить — и так сойдет. Может быть, неводом когда поудим, а теперь где будем чай пить — здесь или в деревню пойдём?

— Здесь, ребята.

Живо все приготовили, напились чаю, прибрали посуду и собрались домой.

— Бегите, ребятки, я одна за вами приду.

И у ребят лишь пятки замелькали, да слышались еще недолго голоса, ауканье и громкие возгласы... А я шла одна и чувствовала, как все живет около меня — трава, вода, великаны-деревья и птицы. Хотелось громко крикнуть, что жизнь прекрасна и я люблю ее и радуюсь ей. Сердце не вместит всю любовь к Божьему миру, и руки его не обхватят... Я чувствовала в себе так много внутренней силы и мощи, что на подвиг была способна.

IX.

Пройдет лето — осенью за учебу снова принимаемся. Зимой вечерами сидим в классе: или читаю ребятам что-нибудь, или стихотворения распоеваем. Или пойдём гулять, любимся бездонным небом. Начну рассказывать им о движении планет, величине видимых звезд, их расстоянии от земли, о Млечном Пути. Вместе поражаемся величию природы, мудрости Творца, все так устроившего. Теперь, по прошествии многих лет, я вспоминаю милые лица своих друзей учеников и радуюсь, что шли они ко мне с открытой душой, поверяя все свои «секреты».

Однажды Ваня с Алешей пришли утром на уроки, переглядываются между собой, на меня глянут — как будто что сказать хотят и не смеют. Класс начинает наполняться. Говор, гул, смех кругом — детский, серебристый. Я сидела у стола, когда Ваня подошел ко мне, обнял за шею и шепчет в самое ухо:

— Я вам скажу, только вы никому не говорите. Шли мы вчера с Алексеем из школы, а у Кузьмы в бане в окне стеклышко так и светится, я и говорю Алексею: давай бросим глызкой — попадем или нет? Так нам стало охота стеклышко это сломать. Алексей взял глызку, бросил и попал в самое стеклышко, оно сломалось, а мы испугались и убежали. Только вы, ради Христа, никому не говорите!

Вот в чем состоял их секрет, которым они поделились со мной. Что же я должна была сделать? Если серьезно рассудить, то ведь в них уже начали проявляться хулиганские наклонности. Я должна была настоять, чтобы они шли к Кузьме, сознались и заплатили за разбитое стекло. Этим они были бы наказаны, почувствовали всю нелепость своего поступка, и я бы не стала их сообщ-

щницей в столь некрасивом деле. Но я так не сделала. Пусть меня осуждают, но я не могла так сделать и не хотела, даже мысли в голову не допустила, чтобы выдать их. Если бы я поступила так «рассудительно», тогда прощай откровенность. Они тогда еще хуже что-нибудь сделают, но уже не придут ко мне, не обнимут за шею, не шепнут на ушко о своих проделках. И какой же я им товарищ буду, если выдам их?

В тот же день после занятий я пошла с ними гулять. Во время прогулки они во всех подробностях рассказали о происшествии, показали разбитое стекло. Я обещала, что никому не скажу, и убеждала их не делать так больше, не бросать глызы, палки и камни куда попало.

Несмотря на мое «укрывательство», из них не вышло хулиганов. Оба они в настоящее время отбывают воинскую повинность и пишут мне славные письма. Мне не пришлось краснеть за своих питомцев, хотя никаких наказаний у меня не полагалось. Не могу я наказывать; если уж кто сильно провинится, то я лишала такого виновника очереди вечеровать со мной в классе. Это для них было чувствительно, так как нашими вечерами, проведенными вместе, они очень дорожили.

Встречались и такие, с которыми много приходилось бороться, и трудно было их исправить. Особенно помню двоих — Мишу и Леву. Первый был очень способный, но и упрямый. Если не захочет что делать, то его никакими мерами не принудить. Все пишут, а он положит ручку и сидит. Стану настаивать, а он ляжет на парту и лежит. Тогда я сделаю вид, что не обращаю на него внимания, а сама украдкой наблюдаю. Он полежит-полежит, повыжидает, поглядывая на меня, возьмется за ручку и начнет работать. Особенно на уроках арифметики он так делал. Знаю, ему не стоило большого труда заниматься, но — не желал. Душа его для меня, при всем старании, осталась тайником. Бывало, сидит в школе с нами вечером, ребята спрашивают наперебой о том, о другом, рассказывают шумно, откровенно, а он смотрит на нас пылливо темно-синими глазами, словно изучает, и очень редко примет участие в разговоре. И как же я бывала рада, когда он присоединялся к общему разговору!

Свое упрямство Миша оставил лишь во вторую половину последнего учебного года, когда стал деятельно готовиться к выпускному экзамену. Он был очень самолюбив, я задела у него эту струнку, и он, не желая сдать экзамен хуже других, бросил свое упрямство, закончив учебу одним из лучших. Но по окончании школы он отошел от меня, не был так близок, как другие. Ведь обычно из нашей «семьи» выпускники не выходили. На уроки, разумеется, ходили редко, но воскресные чтения посещали исправно, принимали участие в пении и чтении в часовне, нередко приходили вечерами в школу. Словом, не отдалялись от школы и от меня, лишь отношения наши немного изменялись: они чувствовали себя свободнее, чем раньше.

А Лева сердечный был мальчик, смывленный, но его неудержимо тянуло на драку. Чуть кто обидит его — никакого ответа нет, кроме драки. Вспыльчивым был в высшей степени. Уж я убеждала его, внушала, что он делает плохо, — соглашается, но в то же время заявляет:

— Рад бы я не драться, да никак терпения не хватает. Как кто обидит, кулаки сами сжимаются.

Сколько он, бедняга, пережил унижений из-за этого! Иногда при всех учениках заставляю просить прощения у побитого — он опять соглашается. Даже заплачет, прося прощения, а случится кто обидит его — опять кулаки в ход пошли. Сколько я с ним ни билась, а не скажу, что исправила. Теперь я его потеряла из вида, он уехал жить в город, и я не знаю, какой из него вышел человек, хотя знаю обо всех своих бывших учениках.

У нас как-то так устроилось, что ребята писали мне письма. Я была очень довольна этим, потому что в письмах они свободнее излагали свои мысли. Я же поощряла их к такой откровенности и никогда не высказывала неудовольствия, даже если что и неприятное мне напишут. Проверишь себя, разберешься, и,

если ребята в чем-то ошибаются, объяснишь им, а если они правы, тоже этого от них не скроешь.

Некоторые из писем сохранились у меня до сих пор, очень жалею, что не все. Привожу дословно их записки, исправив лишь ошибки.

Письмо Степы.

«Здравствуйте, дорогая моя учительница И. К. Я вам посылаю поклон. Вы не ездите летом домой, будем гулять, как вы здесь будете, а если уедете домой, то нам скучно будет страсть. Пожалуйста, не ездите! Будем мы плакать. Научился бы я хорошо задачи решать — поставил бы пяташную свечку, Бога поблагодарил, а то я не умею решать. Я молюсь каждый вечер, все прошу Бога научить меня; может, и научусь. Вот еще что я сказал бы вам, — поди, не поглянется это: домой-то я пришел да Демку (младшего братишку) хотел бить. Он за мной побежал, книгу просит, я не даю, он меня царапать начал по губе. Я заплакал, осердился, побежал бить его. Бабушка не дает, потом я его все-таки треснул, он залез за печку и ревет. Мне купили сапоги, давали 4 рубля. До свидания! Я вам еще стишочек спишу тут же, вот он:

УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Из пышного дома, от знатной родни
Ты вышла на скорбную ниву,
Решив невозвратные юности дни
Отдать неземному порыву.
В селении бедном, в далекой глуши
Крестьянских детей ты учила,
Всю силу великую бодрой души
Ты в дело свое положила.
Ты светом науки, души теплотой
Крестьян просвещала и грела,
Любила ты всех их любовью святой,
За долю их сердцем болела».

К стыду своему, должна сознаться, что не знаю, чье это стихотворение, откуда он его взял, но оно тронуло меня. Значит, милый мальчик думал обо мне, хотел сделать мне приятное, выбрав и написав это стихотворение. Только ко мне оно мало применимо: не «из пышного дома» и не «от знатной родни» вышла я на дорогу учительства, а из такой же крестьянской семьи, из того же народа. И вышла я не на «скорбную ниву» — нет, скорбной она для меня не была, эта нива, пока я жила в Сосновке. И не трудно мне было там дорогое мое учительство, все было дорого, все любимо.

Письмо Ионы по окончании им курса.

«Здравствуйте, милая моя И. К.! Посылаю я вам свое почтение и с любовью низкий поклон. Благодарю вас за вашу карточку и уведомляю: тятя что-то захворал, присягу в волости еще не принял. Я собирался в воскресенье идти в часовню часы читать, никак не мог, — по солому ездил, воды привез, коней напоил, все один. Может, вы гулять пойдете и попроведаете тятю? Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Ваш ученик, любящий вас Иона Коркин. Извините, я карандашом написал, чернил нет».

Писали дети мне и коллективные письма, если им нужно было сообщать высказать что-нибудь важное. Вот одно из них, которое я храню и даже временами перечитываю.

Напишу маленькую подробность относительно этого письма. Обычно записки, если они были, дети отдавали мне утром, до уроков. А с этим письмом дело обстояло иначе. Замечаю: Алексей, Киприан и Иона весь день волнуются. Но не выспрашиваю, жду, когда сами скажут, — так я поступала всегда. Вот и большая перемена прошла, а я так ничего и не узнала. Только когда пошли из школы, Киприан сунул мне в руку мелко сложенный лист бумаги и бросился

бежать, за ним поспешили и Алексей с Ионой. Я отпустила всех учеников, стала читать и чувствую, что краснею, что сердце сильнее бьется, и думаю: «Господи, вот где беда-то! Как же я завтра взгляну на них?!»

Вот оно, памятное письмо.

Письмо от Алексея Барбашина, Киприана Бадина, Ионы Коркина.

«Здравствуйте, дорогая наша учительница И. К.! Не гневайтесь вы на нас за наше письмо, а больше мы терпеть не можем, тяжело нашему сердцу. Завелся в деревне у нас неприятель, этот барин Е. И.¹ Мы его страсть не любим за то, что он к вам ходит, вечером сидит, и вы нас уже вторую неделю не звали к себе вечеровать. А тут еще гулять ходили с ним, — мы вас сами видели, своими глазами, третьего дня вы вечером с ним ходили. Я уже спать хотел ложиться, ко мне прибежали вечером Алексей и Иона, говорят, что сами видели, как вы с ним рядышком прошли. Я скорее обулся, без шапки побежал, все мы трое стали за угол, а вы уж больше не пошли с ним, он один от школы к старосте прошел. Мы хотели глызами в него пустить хорошенько, живо бы отвадился к вам ходить, да вас побоялись. Его Бог накажет за это, вот сам-то и захворает: к больным ходит. Мы уж молимся Богу, чтобы горячка из деревни ушла, он уж тогда уехал бы, либо сам хоть захворал, не ходил бы все-таки к вам. Вы перестали звать нас вечеровать, и все из-за него, грех ему будет за это. Мы думали, что вы нас любите, а вы уже не любите больше нас, а барина любите. Ради Христа, не ходите вы с ним гулять, в школу нашу тоже его не пускайте. Мы писали это письмо и все трое плакали, нам жалко вас, вы нас не любите уже. Мы ведь видим, любили когда нас, так вечером-то с нами были, ни с кем не гуляли. Ребята младшие ничего не знают, что они и понимают! Задачи мы решили, а стих потому и не выучили, что сговорились вам письмо писать. Вы, поди, шибко на нас осердитесь, — боимся страсть как. Писал Киприан дома в горнице, и Алексей с Ионой тут же были. Письмо это вам от всех троих».

Разумеется, я не «прогневалась» на них, но письмо это в высшей степени поразило меня. Какие они чуткие, и как осторожно нужно жить, внимательно относиться к себе и своим поступкам. Тут же я пришла к решению, которое написала на полях их письма себе для памяти: «Вы правы... Кроме вас, дети, я никого не должна любить!.. Так оно и будет!»

Х.

Я почти забыла, что я «неправоспособная» учительница — не имею никакого документа об образовании. Но один случай заставил меня всерьез подумать о своих правах. Вблизи города освободилось место учительницы в церковно-приходской школе, учеников там было человек 60. Отец наблюдатель предложил членам отделения назначить меня на это место. На заседании отделения некоторые его члены были согласны с этим предложением, но один батюшка бурно запротестовал. По его мнению, правоспособную учительницу без диплома назначать в церковно-приходскую школу, да еще вблизи города, невозможно. Отец Димитрий, узнав все это от наблюдателя, передал мне со словами:

— Вот, сколько я говорил вам, чтобы держали экзамен, а вы и внимания не обращаете на это. Видите, как плохо не иметь почвы под ногами. Хоть того лучше вы в школе занимайтесь, а «вывеска» все-таки нужна.

Я тогда решила: «Хорошо, батюшка, раз без прав я вам не нужна, во что бы то ни стало осенью я буду правоспособной! Но, — прибавила я мысленно, — из Сосновки все-таки никуда не поеду!» Я не хотела получить место получше,

¹ *Этот барин Е. И.* — речь идет о дружбе учительницы с молодым медицинским работником, прибывшим в деревню для борьбы с эпидемией брюшного тифа, по-видимому, из г. Туринска. Е. И. — инициалы его имени и отчества.

будь оно хоть в столице, а не около нашего городка с двухтысячным населением, но вот что беспокоило: Сосновскую школу грамоты могут преобразовать в церковно-приходскую и тогда попросят меня освободить место. На то, что мы и теперь проходим курс церковно-приходской школы, и испытания проводим по полной программе, что мы теперь только числимся «школой грамоты», не обратят ведь внимания. Вот для того, чтобы укрепить за собой место в Сосновке, я и решила добиться диплома.

По окончании учебного года поехала в Туринск, приобрела программы и учебники, нужные пособия и начала готовиться. Большое содействие мне оказала матушка игуменья Мария. Как бывшая воспитанница ее монастыря, я обратилась к ней с просьбой о помещении. Она с сердечной готовностью дала мне стол и приют. Для занятий определила меня в свободную в то время от службы церковь, на хоры. Тут я устроилась, как в классе: разложила учебники, развесила по стенам географические карты и целые дни проводила за книгами.

Громадную помощь в занятиях оказала мне бывшая воспитательница Туринского епархиального училища, а потом учительница второклассной школы Зоя Дмитриевна Лепехина. Несмотря на слабое здоровье, подточенное учительством, она тратила дорогое ей время на уроки со мной, в особенности по славянской грамматике и русскому языку. Услугу эту она оказала мне совсем безвозмездно. Кроме того, доставала мне необходимые учебники, давала много полезных советов. Я сдала экзамен именно благодаря ее помощи, за что осталась ей признательной на всю жизнь.

«Не без добрых душ на свете». Не встретить я матушку игуменью Марию и Зою Дмитриевну — едва ли я имела возможность так радоваться, получив диплом, почувствовать почву под ногами и крылья за спиной. Сдав экзамен, я стала учительницей не только на деле, но и «на бумаге», а это очень важно.

С легким сердцем начала я в тот год школьные занятия, вернувшись из Туринска. Была уверена, что из Сосновки не уволят, не лишат учительского места: в отделении хранится мое свидетельство на звание учительницы. Не чувствовала я, что надвигается на меня большое горе, как туча черная и неожиданная.

В декабре приехал отец наблюдатель с ревизией и сообщил, что меня как правоспособную назначили учительницей в церковно-приходскую школу в деревню Кантыпка, которая находилась в том же приходе в 20 верстах от Сосновки, дальше на север. Жалованья я буду получать больше, а именно — 12 рублей 50 копеек в месяц. Нечего и говорить, как тяжело поддействовало на меня это назначение! В мыслях я не имела покинуть эти красивые горы, обрывы, леса и озера, эту дивную местность. Расстаться с Яковом Андреевичем, с Аксиньей, бабушкой Еленой, со всеми моими друзьями, что ходили ко мне на воскресные чтения, а их так много?! Как будто в родной семье я жила среди них.

А ребята? Как же я с ними буду прощаться? Всех их до одного жаль, ведь родные они мне...

Вот Коля, он всех слабее учится. Мне казалось, что я его люблю меньше других, — нет, я ошиблась. Недавно его сосед по парте потерял карандаш и спрашивает у Коли: не брал ли он? А Коля, мой малыш, первогодник, удивленно так вскинул на него свои карие глазки и убежденно говорит:

— Что ты, Ваня! Стану я карандаш брать! Разве можно чужое брать? Бог за это накажет, да и грех ведь.

Я стояла неподалеку, все слышала и подумала: «Так вот ты, Коля, какой у меня! Как рассуждаешь, а я и не думала, что ты такой». И Коля стал мне мил. А карандаш нашелся в книге у Вани.

Или этот Алёша, тоже младший. Как начал учиться, случился с ним грех: понравилась ему коробочка Сени, в которой тот держал перья, и взял ее. Когда Сеня вечером заявил мне, что пропала коробочка, я сразу предположила, что взял ее Алёша. Во-первых, потому, что в большую перемену он сидел на Сени-

ном месте и искал что-то в парте, во-вторых, очень уж поспешно убежал из школы. Назавтра я позвала его одного и спрашиваю:

- Алёша, брал у Сени коробочку?
- Взял, — говорит мне шепотом и густо краснеет.
- Где она?
- Дома, в ящичке лежит...
- Почему ты ее взял?
- Она светленькая.
- Нужно отдать ее Сене.
- Я сбегаю, отнесу ему, только вы меня простите, больше ничего не возьму.

Потом подходят радостные такие оба с Семёном. Один мне сообщает, что ему Сеня эту коробочку подарил, а другой — что ему коробочку не жаль отдать: Алёша сам сознался, принес, — пусть возьмет себе.

И этот Семён — такой он добрый, такой отзывчивый, что часто последний свой кусок отдает товарищу. Если удастся ему купить на случайные гроши какое-нибудь лакомство, то обязательно принесет в школу и поделится, особенно с самыми бедными.

Да все, каждый по-своему мне мил, и вот нужно с ними расстаться. Говорят, утопающий за соломинку хватается, так и я: поехала к о. заведующему со слабой надеждой — не поможет ли он чем? Но он, разумеется, был бессилен оставить меня в Сосновке и посоветовал спокойно отнестись к перемещению. Говорил, что дела в Кантыпке будут побольше, ведь я одна буду заниматься. И хотя он состоит заведующим, ездить туда часто не сможет за дальностью расстояния, и все уроки мне придется вести самостоятельно, без его помощи. Попросил работать так же, как в Сосновке. Утешил, нечего сказать, еще прибавил горя, ведь в чужой для меня деревне я буду заниматься в полном одиночестве, без указания, направления и поддержки. Прошли незаметно святки...

Седьмого января, ровно изо дня в день через шесть лет, как приехала, я покинула любимую, родную мне Сосновку. Накануне в последний раз сходила в часовню со своими ребятами. Слушала, как они пели, читали, а помогать им не могла. Слезы душили меня, светлые воспоминания всплывали в моей памяти: как мы встречали тут первую Пасху, какое всегда отрадное настроение давала мне совместная молитва с учениками и с народом, именно здесь, в этих убогих стенах...

Повез меня Яков Андреевич. Оба с Аксиньей они оплакивали меня, как дочь. А сколько слез было пролито мной и учениками... Той боли, которую я чувствовала, расставаясь с учениками, никакими словами не передать.

За рекой я села в кошеву, оглянулась и вижу: Киприан упал на дорогу и плачет навзрыд, ребята шапками машут, прощаются... Я легла на дно кошевы и так со слезами приехала в Кантыпку.

XI.

Деревня с первого взгляда произвела на меня удручающее впечатление: стоит на левом низком берегу Тавды, леса близко нет, окружена болотами.

Как только въехали в деревню, увидели бегущего по улице мальчика и остановились. Я спрашиваю у него — где школьная квартира? Он бойко заскочил сзади кошевы и радостно говорит:

- Вы учительница будете?
- Да...
- Вот слава Богу! Мы уж давно ждем вас!
- Ты разве учишься?
- Учусь в среднем отделении. Когда к вам придти — сегодня или завтра?
- Идите сегодня, если хотите.

— О, я мигом всех ребят соберу, ведь с осени не учились, сбегутся все сейчас же!

И верно, как сказал Петя, так и сделал. Не успела я осмотреться, нагрянули ко мне будущие ученики. Кстати замечу, что эта встреча с Петей, его радостное приветствие немного облегчили мою тоску. Учеников набралось сразу человек сорок. Ребята бойкие, не забытые, в первую же встречу они так шумно и смело рассуждали со мной, что я начала сомневаться: смогу ли установить нужную дисциплину? Но все устроилось. Ученики были славные, хорошо подготовленные, так как одна из моих предшественниц (их за три с половиной года существования школы сменилось две), г-жа Хлестова, была первым педагогом и воспитательницей во всем нашем уезде. Очень редко, как необычное явление, встречаются на школьной ниве такие работники, как она. Ее жизнь — это школа и ученики. Личного — ничего нет. И дело в Кантыпке было поставлено как следует.

Но я все равно скучала по Сосновке, вспоминала своих учеников. Вела с ними переписку. Помещаю здесь некоторые письма, написанные мне сосновскими ребятами.

«Здравствуйте, И. К.! Кланяюсь вам поклон, спасибо вам, И. К., за память обо мне, за любовь вашу. Письмо я от вас получил, благодарю вас за это письмо. Послали вы записку бабушке Парасковье, я ходил к ней и прочитал эту записку. Она говорит, рада бы поехать я к ней погостить, да дома некого оставить: если оставить Василья (сына), он всю картошку пропьет, если оставить Алешу — до колена грязи будет. Плачет она об вас. Остаюсь любящий вас К. Бадин».

«1905-го года, января 21-го дня.

Здравствуйте, дорогая и многоуважаемая наставница моя И. К.! Желаю от Господа Бога доброго здоровья, в делах и учении — успехов. Еще благодарю я вас, что вы выучили меня. Я сроду вас не позабуду. Приезжайте к нам, я тоже к вам приеду или, быть может, пешком приду. Живу я, никуда не хожу. Ездили мы на речку по воду, лошадь шибко разбежалась, я упал, расшиб колено. Два дня не выходил из избы, а теперь, слава Богу, жив и здоров. Охота мне у вас побывать, пошлите письмо с кем-нибудь, и я приду к вам. В. К.»

«Здравствуйте, И. К.! Сильно я стосковался об вас. Благодарю за то, что вы не оставили меня безграмотным, а выучили, спасибо вам, моя мамонька и как родная мать. Скучаю я об вас шибко, отпишите, ради Христа, письмо, карточку проводите. Приезжайте, ради Бога, повидаться со мной. Все я про вас думаю, день и ночь все на уме. А вы, поди, забыли меня. Отпишите мне, когда мы повидаемся, я так и знать буду. Тятя пировал три дня, а я все сидел дома и плакал об вас.

Алексей Барбашин».

«1905-го года, апреля 26-го дня.

Здравствуйте, И. К.! Кланяюсь я вам, большой и низкий поклон, желаю от Господа Бога доброго здоровья. Еще вам поклон от Феоны, Савватия, Ивана Балдина, Кирилла, Тимофея, Якова Грубцова, Андрея, Алексея, — все вам кланяются по низкому поклону. Тоскую я шибко. Мы свою коровушку “ученую” продали Сане Котину за 14 рублей, купили хлеба и на рубашки. Яшу отдали бабушке в работники, вырядили коровку маленькую, и она дойная. Курочки нам к Пасхе наклали 56 яиц. Благодарю я вас за то, что послали мне отрывной календарь. Сильно тоскую о вас, все держу на уме, плачу часто. Отпишите мне письма чаще, мне хоть веселее будет. Видел я вас недавно во сне. Писал один и плакал. Киприан Бадин».

Не могу удержаться, чтобы не поместить здесь еще одно письмо Киприана Бадины, писанное им мне через десять лет, с театра военных действий.

«1915-го года, сентября 27-го дня.

Здравствуйте, многоуважаемая и дорогая моя учительница И. К.! Уведомляю Вас, что по милости Всевышнего я жив и здоров, того и Вам желаю от Господа Бога. Шлю я Вам от души сердечный привет, уведомляю, что получил от Вас письмо, конверты и бумагу.

За все это я Вас благодарю, благодарю тысячу раз, ведь я с родины не получал письма 4 месяца. Заботился, печалился, ждал письмо и Вашему обрадовался, как ангелу небесному. Благодарю Вас несколько раз. Ведь на войне это первая радость и счастье — получить письмо.

Пришлось и мне сражаться за веру, Царя и отечество. Бог хранит меня до сих пор, хотя сколько раз приходилось быть в бою, ходить в атаку.

Когда я пошел на службу, Вы мне подарили свою карточку, я ее теперь храню, всегда она со мной в памятной книжке. Будет когда скучно, достану Вашу карточку, смотрю и говорю сам себе: “Карточка ты, карточка, что ты видишь, какие бои, какой огонь; как сильный гром, рвутся снаряды, взрывы, жужжание пуль, — всему ты свидетель”. И вот вчера получил Ваше письмо уже в сумерках, прочитал с радостью, а писать темно, и насилу скоротал длинную ночь до разговора с Вами. А пули всю ночь свищут, как у нас в жар пауты около коней, и думаю я: “Вот если меня Господь сохранит, велит выйти домой, приду, все расскажу Вам, чему мы с карточкой были свидетели”. Пули вовсе не страшны, почему-то их не боюсь, а если сидишь в окопе, снаряд прилетит, недалеко от окопа разорвется, так оглушает — с полчасика ничего не слышишь, а земля кверху на несколько сажен поднимается. Но я предаюсь на волю Божию, одно думаю: помог бы Господь проклятого врага победить, прогнать его с нашей русской земли; все этого желают. Быть может, Господь и сохранит меня, Его воля.

Был у меня задушевный товарищ Степа, жили — как родные братья, да в ночь с 17 на 18 сентября моего друга Степу убило сразу двумя пулями — в голову и сердце, сразу отдал Богу душу. В ту же ночь мы взяли в плен 114 нижних чинов, 2 офицеров, добыли более 200 винтовок, 3 телефона, 2 ящика патронов. Скажу Вам в конце письма свою радость: представили меня к награде — Георгиевскому кресту. Скоро получу и обязательно тогда сообщу Вам. Будьте так добры, сообщите мне, где мои братья — Миша, Яша и Гриша (у него три брата на войне, один убит) — ни писем я от них не получал, ни адреса не знаю. Маме и Ване скажите от меня привет, да я им отдельно пишу.

Прошу Вас, не забывайте меня, пишите, я Вас до гроба не забуду. Если Господь даст здоровья — вернусь домой, а если велит Он здесь положить мне свою жизнь — буду умирать и тоже вспомню Вас.

Остаюсь жив и здоров, слава Господу Богу, бывший Ваш ученик, преданный Вам К. Бадин».

ХII.

В первую весну после моего приезда в Кантыпку здешние крестьяне перемеривали пашню и попросили меня рассчитать, у кого сколько земли — ближней, средней и дальней в отдельности. Я с удовольствием согласилась и целую неделю сидела с ними на сходе, высчитывая квадратные сажени. Мерили-то они сами, а я ходила по полю, записывая длину и ширину. У некоторых на три души в семье было 15 десятин земли, а у иных на три же души — десятин пять, пять с половиной. Все это крестьяне уравнили, снова землю перераспределили как следует.

Во время этой работы я немного сблизилась с крестьянами, узнала их поближе. Меня поразили типы настоящих кулаков, каких в Сосновке совсем нет. Недаром многие из кантыпских жителей и дома имеют хорошие, и пристройку крепкую, у некоторых двory обнесены такими заплатами, такими крепкими воротами, что не скоро попадешь к ним — не так, как в Сосновке, у тех все развалилось. Хотя пьют вино кантыповские не меньше...

Квартира для школы и учительницы здесь была наемная. Батюшка возбудил ходатайство о бесплатном отпуске леса на постройку школы, но лесное ведомство разрешило взять лес из дачи, находящейся в 60 верстах, и к тому же еловый, когда верстах в 4—5 от деревни находился прекрасный строевой сосновый лес. Опять написали куда следует, и переписка эта об отпуске леса растянулась на годы, как это ни странно в местности, столь богатой лесами. Пришлось все это время жить в наемном помещении.

Дом ветхий, мрачный, с небольшими оконцами. Классная комната еще сносная была: четыре окна и не так холодно, так как расположена над жилым помещением. Но высота комнаты — всего три аршина. От неисправной трубы угар и чад проходили к нам в класс, каждое утро мы буквально задыхались от дыма. Сразу открою настежь дверь и форточку, очистим воздух и тогда начнем занятия. До обеда еще ничего, а с обеда уже обязательно начинает болеть голова — успеем к тому времени угореть. Все запахи кухни, помещавшейся под классом, были у нас вверху, особенно тяжел был запах свиных щей и ржаного хлеба. По запаху мы каждый день знали, что пекут или варят хозяева.

Пол в квартире одинарный, внизу слышно, когда ребята пойдут на перемену и шумят. Детишки сознавали всю зависимость своего положения и старались ходить тихо, не стучать ногами, не кричать громко, но ведь их было больше сорока человек, так что не было физической возможности соблюдать абсолютную тишину, а беспокоить хозяев.

Переменить эту квартиру не предоставлялось возможности: богатые в свои дома не пускают: нет у них нужды отдавать лучшие комнаты для ребят, а беднота сама ютилась в плохих и тесных избенках. У школьников были и другие неприятности. Например, был такой случай. По соседству с квартирой в огороде стоял большой зарод сена, ребята в перемену взобрались на него и ну кувыряться, кататься с него кубарем, вновь взбираться... Я залобовалась, глядя на их веселье: радуются жизни и солнцу (дело было весной); я ведь не знала, что сено портится, если его мять, а то бы запретила эту игру. А хозяин сена, как увидел ребят на стогу, не говоря ни слова, взял ременный бич, прибежал и кое-кого успел ударить порядком. Я возмутилась страшно, наговорила мужику много неприятных вещей... Однако после этого дети уже не кувыркали на сене, а играли на площади у реки.

Да, ведь я начала описывать школьную квартиру, но отклонилась от темы.

Что касается моей комнаты в квартире, то приходится лишь удивляться, как я могла там жить. Помещение мое было над нежилой комнатой, пол не двойной, и снизу свободно проникал холод. Три оконца все обращены были на север. Внутренних рам совсем не имелось, даже летние рамы были полу-сгнившими. Несколько стекол было разбито, а отверстия заклеили тряпками и бумагой. С осени до весны я буквально не видела света Божия: все окна снизу доверху покрывал толстый слой льда — не тоньше вершка. Когда случится оттепель и польются у меня потоки воды с окон, вверху можно было оттаять маленькую «гляделку» на улицу, но потом ее опять затягивало льдом.

В углах всегда намерзало немало льда и снега. Бывало, я ночи не могла спать от холода. Жутко было, когда зверем завоет сибирская вьюга: кажется, вот-вот она ворвется через окна ко мне в комнату, разрушив ветхие рамы и разорвав в клочья тряпки и бумагу.

Выдержала я в такой квартире четыре года благодаря тому, что Бог наделил меня от природы крепким здоровьем. Я отделалась одним лишь воспалением легких.

Помню, однажды заехал в школу доктор, сел в моей комнате пить чай, и вдруг говорит:

— У вас тут откуда-то дует, позвольте пересесть вот на тот конец стола.

— Это из окна: видите, бумажка отстала.

Пересел он на другое место — опять на него дует, из другого окна. Он садится на третье место. В конце концов отказывается от чая, говоря, что

недавно болел он плевритом, поэтому боится получить осложнение. Пришлось перейти со стаканом в класс, там уж никаких осложнений не предвиделось.

Вспоминаю всю эту обстановку и удивляюсь: она меня не угнетала, как будто иначе и быть не могло. Такие случаи, как опасения доктора за свое здоровье, меня даже забавляли, как излишние нежности. Ведь живу же я, ничего мне не делается. Ну, днем поболит голова от угара, а к вечеру же пройдет...

ХІІІ.

Привыкла я понемногу и к Кантыпке. Дети — везде дети. И здесь они были ласковы ко мне. Класс был у нас теплый, особенно в углу за печкой. Там было большое помещение, где днем дети складывали свою верхнюю одежду. Вечером же мы ставили туда стол, скамью, стул. Придут мои милые девочки, иногда и мальчики, — сядем туда и поем, читаем, рассуждаем...

Если придет к нам ученик Дема, тогда у нас сколько угодно шума, возни и веселья. Такой был он живой, подвижный и остроумный мальчик — просто прелесть. Чуть не до слез доведет иногда девочек, особенно кроткую, умненькую Маню, — и тут же рассмешит: «Не плакай, душа любезна!» (Он услышал эту фразу от инородцев¹.)

Девочки были развитые, милые, писали отлично сочинения на разные темы, на пословицы. А Маня и Лиза — те даже стихи сочиняли. У меня сохранилось их стихотворное переложение рассказа Григоровича «Прохожий». По развитию они были обе одинаковы, обе любили много читать, понимали прочитанное и очень любили поэзию. Только часто они спорили: Лизе больше нравился Пушкин, а Маня зачитывалась Лермонтовым, многое хорошо наизусть декламировала, часто приводила к подходящему случаю поэтические строфы — всегда с чувством, с душой.

Поскольку я вспомнила о наших зимних вечерах, встает в моем воображении детское личико Саши, хозяйского ребенка, — он был неразлучен с нами. Я его застала крошечным, всего двух лет, когда перебралась в Кантыпку. Рос и развивался он при мне и все детские болезни перенес на моих руках. Каждый вечер, бывало, сидит с нами, складывает домики из кубиков и слушает или поет. Когда ему исполнилось пять лет, он играючи выучился у Мани хорошо читать. Любил слушать рассказы об Иисусе Христе, в особенности о Его страдании, смерти и воскресении. Пристанет к девочкам и просит:

— Говорите мне про Бога, как Иисус Христос на земле жил.

Девочки начнут рассказывать, а он все уже знает наизусть, часто поправляет их или останавливает, когда они что-то пропустят.

Сидит он раз праздничным днем с Маней у окна и напевает:

— Ах, идет снежок-снежок,
 Попрыгивает, поскакивает,
 На птичку поглядывает.
 Птички полетывают,
 Птички попискивают
 На нашем дому.

На мой вопрос: кто тебя этому научил? — отвечает:

— Ты разве не видишь? Посмотри в окно, я все это вижу и пою.

Я сразу же записала эту его фантазию, потому что меня очень удивила такая наблюдательность пятилетнего ребенка, да еще крестьянского.

¹ *Инородцы* — официальное наименование сословия, в которое, в частности, входили представители малых коренных народов Сибири. Они состояли не в крестьянских обществах, а в особых «инородческих» управах. В данном случае это манси, их устаревшее название — вогулы — упоминается в воспоминаниях далее.

XIV.

Беда всегда приходит, когда ее меньше всего ждешь. Восемнадцатого мая я поехала в Сосновку на несколько дней. 19-го там был крестный ход по полям, и мне очень хотелось принять в нем участие. Отец Димитрий отслужил на полях восемь молебнов, некоторые с акафистами. Крестный ход закончился уже к вечеру.

Батюшка вернулся домой усталый, прилег на постель в ожидании чая и — больше уже не встал с нее. Тут и скончался от кровоизлияния в мозг.

Смерть его поразила всех не только своей неожиданностью, но и потому, что все его любили. Он был настоящим пастырем и душу свою полагал за людей. Отдал им свои молодые силы. Поступил он в этот захолустный приход прямо с семинарской скамьи, а курс окончил вторым учеником, имел все возможности поступить в академию, но поехал трудиться в глухой уголок. И позже, по своим качествам и заслугам, мог устроиться где-нибудь получше. Преосвященный Антоний, хорошо его знавший и искренне любивший, неоднократно предлагал ему место в нашем губернском городе, но о. Димитрий отклонял это предложение. Ему не хотелось расставаться с тем народом, которому отдал свои молодые годы и силы. Свыкся со всеми, всех хорошо знал. В приходе он открыл пять школ, три церковные и две министерские. Всегда посещал их по мере сил и возможности. И школьное дело всегда оставалось для него делом любимым.

И вот — сразу, неожиданно подкралась смерть, скосила его, еще молодого, полного сил и энергии. И умер он прямо с трудов своих. Последний молебен в Сосновке он служил уже почти вечером, в часовне, всех принял к кресту, как будто прощался с ними. Благословил свою любимую паству в последний раз. После этого он не жил даже и двух часов. На похороны его собрались все прихожане, храм наполнился плачем и рыданиями. Все чувствовали тяжелую, незаменимую утрату, это было общее горе.

Мне казалось, что вместе с о. Димитрием улетела душа школ, особенно Сосновской, в которой он принимал такое деятельное участие. Осиротели наши бедные школы. Я не могла представить себе, как пойдет дело, когда ушел из жизни наш вдохновитель. Вечная ему память.

XV.

В июле приехал в приход новый священник. При встрече со мной первые его слова были о школе. И как же меня обрадовали именно эти его слова! Отец Иоанн все внимательно расспросил у меня и сразу высказал намерение устранить главное неудобство — наемную квартиру, приобрести свое здание. Такое его отношение подняло мой дух, убитый смертью о. Димитрия. Я увидела, что и новый батюшка будет опорой школы. Это мое предположение потом вполне оправдалось на деле.

В Кантышке была винная лавка. Я сгорала от зависти, не могла равнодушно пройти мимо нее: такое красивенькое, светлое, уютное здание с большими окнами. Ходила мимо и думала: «Вот школа бы у меня такая была! Вот бы класс был! Красота! Вдоволь было бы света, тепла, чистого воздуха». Но мечты эти казались мне совсем несбыточными. Дело дошло до того, что в лунную ночь нарочно пойду с девочками гулять, остановимся напротив лавки, любимся, мечтаем вслух. Стоит лавка на берегу Тавды, удобно было бы поблизости устроить ребятам ледяную гору. Никто уж тогда не препятствовал бы бегать, играть сколько угодно, не было бы неудовольствия ни с хозяевами, ни с соседями. А она, эта лавка, облитая лунным светом, как будто подзадоривала нас, сверкая стеклами окон. Болезненно хотелось прочесть на вывеске: «Церковно-приходская школа» вместо слов: «Казенная винная лавка № 109-й».

И мечта осуществилась. Закрыли винную лавку в Кантышке. Батюшка немедленно приехал и предложил крестьянам приобрести это здание для школы. Крестьяне охотно согласились, и бывшая лавка стала школьным зда-

нием. И радость же была у нас в этот день! Ведь почти никогда в жизни не сбываются заветные мечты, всегда разлетаются в прах воздушные замки. А тут — самая заветная, самая лелеянная моя мечта исполнилась!

Пятого августа крестьяне ожидали приезда начальника губернии¹, поэтому на работы не ходили, сидели у земской квартиры. Здание для школы уже было приобретено, но внутри все еще стояло, как было в лавке. И вот крестьяне решили, пока было свободное время, убрать полки, решетки, перегородки. Только треск стоял! Очищали, готовили место грядущему, хоть и маленькому, но — свету.

Я стояла тут же, и переживания мои не передать словами. Ребята скажут, радуются: какая у них хорошая школа будет — с просторным двором, с будущим садом. Они сами хозяевами будут, их эта школа... К осени помещение было отремонтировано, освящено, и мы перебрались на новоселье в свою школу, где мне пришлось прожить целых пять лет.

В первую же весну после покупки здания по инициативе о. Иоанна устроили праздник древонасаждения. Батюшка отслужил молебен, окропил сад святой водой, своими руками посадил несколько деревьев. В новой школе я уже не испытывала тех неудобств, какие были раньше. Только жить бы да радоваться! Класс просторный, полный света и воздуха. Отец заведующий приобрел новую классную мебель — парты, доску; купил наглядные пособия, волшебный фонарь с картинками, куда лучше сосновского. Словом, обставил школу как следует.

Я работала, вела занятия, но родную Сосновку все равно не могла забыть.

А там после моего перевода школа просуществовала еще пять лет, и, к глубокому моему огорчению, ее перевели в другую деревню.

Как это было больно мне! Да ко всему еще мне самой пришлось принимать участие в уничтожении школы. Отец Иоанн предложил мне поехать в Сосновку и составить опись имущества, книг — всего, что можно было уложить в ящики для отправки в ту деревню, куда перевели школу. Своими руками укладывала я школьное имущество, разрушая то, в создании чего принимала горячее участие.

Вспомнилось пережитое, вспомнился о. Димитрий, его труды, уроки, его любовь к детям и наши поездки в храм... Стою на коленях перед ящиком, укладываю книги, а слезы душат меня, словно хороню дорогое и близкое мне существо. И так... школы в Сосновке не стало, совсем не стало!

Приближалась Пасха. Мы готовились в Кантыпке встретить святой праздник. А душа моя болит о Сосновке. Как там встретят? Где и с кем проведут мои бывшие ученики эту ночь? Кто там споет Пасхальный канон? Не помолятся ли молча, как прежде они молились? Учительницы в деревне нет, руководить некому.

В Пасхальную неделю приехал в Кантыпку знакомый сосновский крестьянин. Первым делом спрашиваю: как встретили праздник?

— Да хорошо-то как! — отвечает он. — Пели в часовне. Так мы были радехоньки, сердце веселилось!

И рассказал мне, что все это устроила моя первая еще ученица Саня, теперь уже взрослая девушка. Собрала бывших моих учеников, тоже взрослых, они спелись и «по старой памяти» встретили праздник, как и со мной встречали в часовне. И все это устроила моя дорогая, славная Саня, в числе первых пришедшая ко мне учиться...

А давно ли, кажется, она была маленькая, никак не могла запомнить, сколько в году недель. И записывала она, и спрашивала я ее часто — все равно забывала. Наконец, я изобрела такой прием: взяла серебряный полтинник и две копейки, показала ей: видишь, сколько тут?

— Полтинник да две копейки, — наивно говорит Саня.

— Иначе как скажем?

¹ *Начальник губернии* — губернатор, назначенный императором глава администрации Тобольской губернии.

— Пятьдесят две.

С той поры она уже не забывала, сколько недель в году. Школу окончила, большая выросла и часто вспоминала этот случай.

— Ведь, — говорит, — как это просто. Если забуду, то в памяти они и встанут: серебряный полтинник и две копейки.

XVI.

Придется вернуться к весьма тяжелым воспоминаниям. Но раз начала писать все, то напишу и это, пережитое мною в Кантыпке. Разумеется, во всех своих несчастьях человек сам виноват. Виновата и я. Много горьких, тяжелых минут пришлось мне пережить, перестрадать. Пришлось пережить много борьбы из-за учеников, из-за школы.

Хотя бы вот такой случай. В школе у меня учились и русские, и инородцы. Последних было немного, и они каким-то образом не участвовали в расходе на школу, который был, кстати сказать, очень незначительным. Однажды в разгар урока входит в класс сельский староста со знаком на груди — мужик грубый, упрямый, противник школы. Часто он поговаривал на сходе, что зря участвует в расходе на школу, ведь у него в семье никто не учится. Вошел он с серьезным видом, помолился на иконы и, не говоря доброго слова, грубо заявляет:

— Книжки у ребят пришел отнимать!

— Какие книжки? — спрашиваю я и жду, что дальше будет, а сердце стучит сильнее, начинаю волноваться. Ученики сжались в кучу, испуганно, вопросительно смотрят на меня, как будто спрашивают: что будет дальше?

— Ребят из школы выгонять хочу! — продолжает староста.

— Каких ребят?

— Вот этих — Серьгу, Демку, Пашку, Ваньку, Коську. Они не наши, а макары. Да что тут толковать! Эй, вы, пострелы, вылезайте из-за партей-то, давайте сюда книжки и живо айда домой! — Свирепо, свирепо крикнул он им: — Наша школа, мы хозяева, хрестьяне, и чужих не пустим. Отправляйтесь, нечего тут проклажаться.

Я обратилась к ученикам, чтобы они спокойно сидели на местах. Вижу — «изгнанники» побелели все, губенки дрожат, глаза полны слез, и я тоже чувствовала себя неважно. Попросила старосту не шуметь, не распоряжаться в школе, доказывала, что он не имеет права отказывать ученикам в учении, гнать их вон. Школа существует для всех желающих учиться, а не для одних избранных. Но куда тут! Он и слушать не хотел, поставил ультиматум: принесете к воскресенью по 3 рубля с человека — учитесь, не принесете — не ходите в школу. Эта цена, назначенная старостой с воголов, не только полностью покрывала все расходы общества для школы, но давала еще избыток. Я попросила принять инородцев в общую раскладку расхода по школе — что-то около 5 копеек в год с платежной души, — ни за что! Три рубля с человека — и тогда учитесь...

Наконец, хотя и поздно, я догадалась попросить его удалиться из школы, не мешать занятию, что следовало бы сделать с самого начала. Когда он ушел, об окончании урока не могло быть и речи. Ученики столпились около меня, «изгнанники» со слезами кинулись:

— Неужели меня выгонят? У тяти денег нет платить, а учиться охота, ох как охота!

— У моего тяти тоже денег нет, — вот подать, побор надо платить, в кассе занял, где уж за меня заплатить?

— У нас за хлеб еще не отданы деньги, силой хожу, — тятя хотел в работники отдать, да я выпросился в школу. Теперь, если деньги за меня запросят — вовсе не отдаст меня.

Они со всех сторон облепили меня, и не одна горячая детская слеза упала мне на руки. Я собрала все свое мужество, чтобы не подать им вида, что не меньше их волнуюсь, успокоила их, дала им слово, что из школы их не выгонят, я ручаюсь за это.

Какое тяжелое впечатление произвело все это на меня! «Вот они, — думала я, — настоящие-то тернии учительства. Ворвется грубый человек, своим вмешательством коснется души так больно, так безжалостно. Разве я могу допустить, чтобы моих ребят выбросили отсюда? Ведь они для меня все: и друзья, и товарищи, и цель жизни. Я всю себя, свою молодость, силы, душу им отдаю, живу ими, и вот хотят оторвать от меня часть моей души и сердца. Где же оно, это всеобщее обучение¹? Когда придет оно, так желанное, давно ожидаемое, — тогда зависимость от крестьян не будет тяготеть над головой учащихся. Не придет староста, не скажет: “Ты, Васька, учись, а ты, Колька, убирайся вон!”»

Тут же для себя я решила: чего бы мне ни стоило, не выпущу ребят из школы. Так и сделала. В ближайшую же субботу поехала к о. заведующему, доложила об этом случае и попросила его указаний.

Выслушав все внимательно, о. Иоанн посоветовал мне прежде всего успокоиться, не волноваться так по этому поводу. Напомнил, что везде, во всех учебных заведениях учащиеся вносят плату за обучение. И в данном случае придется примириться с мнением общества, настоять, чтобы деньги были внесены. Но я-то знала, что внесут плату лишь более состоятельные, а беднота возьмет ребят обратно. В голову мне пришла такая мысль: расходы на школу от общества ничтожны, школе много помогает церковь, вот и пусть эти ученики будут стипендиатами уездного отделения училищного совета.

Против этого заведующий ничего не имел, лишь заметил, что если мы и оставим ребят на таком основании, все-таки пререкания и неприятности с обществом будут продолжаться, крестьян не убедить. В результате моей поездки батюшка разрешил мне действовать самостоятельно, как найду лучшим. Я же действовала по своему твердому решению, что не выпущу ребят; какую угодно борьбу вынесу, в крайнем случае свои деньги за них отдам, но будут они учиться.

Вот еще один случай. Учился у меня в школе мальчик Гриша, любимец дедушки Егора. Два года Гриша посещал школу, и дедушка был очень доволен. Гриша ему читал жития святых, записывал, что было нужно. Перешел Гриша в старшее отделение, учится хорошо. Но однажды в большую перемену входит ко мне дедушка Егор — суровый, мрачный на вид. Ученики ушли обедать, некоторые играют во дворе, я была в комнате. Обращается он ко мне с такими словами:

— Неладно ты Гришутку учишь, ох неладно!

— Как неладно?

— Да так. Спрашиваю вечер у него: что, мол, тебе задано? А он мне читает задачу — все сотни да тыщи, большие тыщи! К чему это нам, хресьянам? Нам этих тыщей-то и во сне не видать никогда, не то что наяву. А тут он их считает да записывает. Вот, ономеднись он учил «Живый в помощи» — это дело, без этой молитвы в лес не пойдешь, а тыщи — не надо. Ты учить, так учи ладом, что нам надо, а что ни к чему — это оставь.

Долго я говорила с ним, убеждала, что «тыщи» оставить не могу, должна им обучить, как должна учить и стихотворения, против коих он тоже восставал. С дедушкой-то Егором я могла столкнуться; хоть и не совсем, но убедила его, что в жизни и «тыщи» знать не мешает.

Если посмотреть издали на этот случай, он покажется пустяковым: говорит ничего не понимающий старик, вмешивается не в свое дело, указать ему на дверь — и только. Но по моей душе такие случаи не скользили бесследно, а оставляли глубокий след, больно ударяли по сердцу. Такие случаи вносили смятение в мою душу. Приношу ли я действительно какую-нибудь пользу окружающим? Не толчение ли воды в ступе — все мои старания? Не переливание

¹ *Всеобщее обучение* — одна из задач российской общественности и государства в начале XX века. В 1908 г. царем был утвержден закон, по которому все дети в возрасте 8–11 лет должны были получать обязательное четырехлетнее образование. Закон предполагалось распространить на всю страну до 1922 г. В Сибири из-за отсутствия земств, слабости материальной и кадровой базы школьной системы обеспечить всеобщее начальное обучение в столь короткий срок было вряд ли возможно.

ли «из пустого в порожнее»? Где настоящая польза? То ли я делаю, что нужно? Сомнения стали мучить меня.

Иногда целые ночи до утра не могла спать, все думаю, думаю... Начала анализировать, критиковать свою деятельность, и в результате появилось недовольство собой, своей работой. Энергия стала ослабевать, веру — эту горячую веру, с которой всегда шла на учительское дело, я стала терять.

Бывало, на уроке увлекусь, занимаюсь хорошо, горячо так объясняю что-нибудь, и вдруг — как холодный душ, мысль в голову: «К чему это? Какая здесь цель? Я им объяснила действие деления, или глагол, или другое что; в жизни это, в их крестьянском обиходе — пригодится ли?» И придет мне на ум дедушка Егор со своими рассуждениями.

И, как нарочно, мелкие факты жизни влияли на ослабление веры в дело. Приходит солдатка, просит написать письмо мужу. Пишу. Словоохотливая баба сообщает:

— Ходила к Степану (окончивший курс ученик), просила его написать, да он пятак просит, а у меня едва на марку нашлось.

Как мне это больно стало! Пятак! Да разве он не слышал в школе, что не за пятаки нужно делать добро, разве я его так учила, чтобы развить в нем кулачские наклонности? Разве я не боролась всеми силами именно с этим злом, потому что в Кантыпке оно выражено больше, чем где-либо в этой местности? Кулачество — это самое больное мое место, — и вот, кто он еще — ребенок, а уже хочет идти по следам своих родичей.

Как раз в этот тяжелый период в местных «Епархиальных ведомостях» появилась короткая заметка одного батюшки, бывшего учителя, известного знатока школьного дела. Он высказал ту мысль, что, прослужив учителем десять лет и больше, педагог уже становится не так деятелен, его нервы портятся, теряется терпение и выдержка. В общем, проработав несколько лет учителем, становишься инвалидом. Какое сильное впечатление произвела эта заметка на меня! Я сразу подумала: это верно и метко написано, и вполне применимо ко мне. Прав батюшка; вот он меня не знает, а как будто про меня написал, я ведь больше десяти лет служу.

Отец заведующий во время своих посещений (он приезжал за год раз 5—6, а то и больше) успокаивал меня, говорил, что все хорошо, и советовал не обращать внимания на мелочи. Но в душе у меня будто что-то убили, оскорбили. Разрушили то, чему я верила, чем жила, чем молилась. А без веры в свое дело не бывает и успехов.

Даже школьники стали казаться мне не такими, как раньше. Я их не любила уже той настоящей любовью, как раньше. Они чувствовали это и тоже смотрели на меня по-другому, я стала им чужой. Их личная жизнь, огорчения и радости теперь мало занимали меня. Ребята казались какими-то вялыми, апатичными: ничем не интересуются, задают мало вопросов, неразвиты, нет в них огонька любознательности, недружно живут между собой. Но кто же виноват в их тупости и вялости? «Я, и только я, больше никто и ничто», — сразу же приходил в голову ответ, наносящий мне нестерпимую душевную боль.

В конце концов мое состояние сказалося на результатах работы. Приехал о. наблюдатель, проверил мою школу и написал в ревизионном журнале: «Успехи нашел удовлетворительными». А ведь раньше, во все годы моей службы, наблюдатель отмечал: «Успехи по всем предметам очень хорошие». Мне казалось, что словом «удовлетворительные» он мне еще снисхождение сделал, пожалел меня. Быть может, у меня «слабые» успехи. Ведь я в глубине души сознаю, что не то у меня в школе, что было раньше: не та я, другие и ученики.

Я созналась о. наблюдателю, что мне тяжело живется, но о своих переживаниях не сказала. Объяснила плохое свое состояние усталостью, переутомлением. Заявила, что если это не пройдет, то уйду из школы совсем, так как не имею права занимать место учительницы, сделавшись инвалидом. Он тут же предложил мне переменить место, указал на две школы, кои могут поднять

мой упавший дух. Речь шла об образцовой школе при второклассном училище и соборной школе в городе Туринске. Нужно немедленно подать прошение, пока места там были свободными — занимались в этих школах временные заместительницы.

Я поблагодарила за предложение, но в душе решила, что не гожусь ни в одну из этих школ. В соборной школе нужно иметь дело с городской детворой, а с ней я совершенно не знакома: в городе никогда не жила, к деревне же привыкла и люблю ее. В образцовую при второклассной перевестись рискованно: смогу ли я сама-то быть образцовой? Вот раньше, пожалуй, смогла бы хорошо вести там дело, а теперь — нет.

В ответ на настояния о. наблюдателя я обещала «подумать» и потом решить.

Где набраться сил? Раньше эту внутреннюю силу помогали обрести курсы, которые устраивал епархиальный наблюдатель Г. Я. Маляревский. Они были всегда так хорошо организованы, что, несмотря на усиленные занятия, усталости не чувствовалось, происходило духовное обновление. Но теперь Г. Я. ушел от нас, после него и курсов-то нет уже который год.

XVII.

Некоторую поддержку моему упавшему духу давали занятия медициной. Когда я еще жила в Сосновке, мне удалось немножко познакомиться с подачей первой помощи в несчастных случаях, с некоторыми болезнями, уходом за больными и лечением.

Поводом послужило следующее. 8 ноября в Сосновке местный праздник, напились мужички как следует, подрались, одного так побили, что еле живого домой принесли, истекал кровью, четыре раны на голове, руки, ноги — все разтерзано. В деревне был случайно становой пристав, бывший фельдшер. Пошел составлять протокол, пригласил меня помочь ему и перевязку сделать. Я боялась вида крови, но пересилила себя, помогла ему, насколько сумела. Пристав сдал больного на мое попечение и уехал.

На следующий день я пришла одна делать свою первую перевязку. Волосы на голове больного от крови слиплись, пришлось их снять, что я и сделала. Раны промыла раствором борной, присыпала йодоформом (все это мне оставил пристав), и так делала каждый день. Раны хорошо залечились, загноения совсем не было. Мужик скоро поправился.

Тут я увидела, что действительно оказала хотя бы небольшую помощь. Мне захотелось посерьезнее заняться медициной, чтобы иметь возможность помогать другим.

В тот же год с весны началась сильная эпидемия брюшного тифа. В Сосновку прибыл для борьбы с тифом медицинский персонал. Я попросила разрешения помогать им в уходе за больными, что мне и было позволено. Кроме ухода за тифозными, в Сосновке был открыт временный амбулаторный прием с различными болезнями. На приеме я старалась быть как можно чаще, чтобы познакомиться с подачей первой помощи и лечением несложных болезней. Время было свободное — весна и лето, ничто меня не стесняло, свободно могла отдавать свой досуг уходу за больными.

В октябре эпидемия стихла. Медики уехали, снабдив меня аптечкой. Я начала принимать больных после занятий, в будничные дни, а в праздники — во всякое время дня. Врачебный пункт отстоит в 90 верстах, врачу не всегда бывает возможность приехать по вызову. Если какой-нибудь несчастный случай — помощь необходима немедленно, а врач или фельдшер в это время уехали в противоположную сторону верст за сто. Ведь наша матушка Сибирь так богата расстояниями. Такие случаи были: семилетний братишка в игре своей маленькой сестренке долотом отсек указательный палец, даже отрезанную часть потеряли. Сделать перевязку, остановив кровотечение, было делом нетрудным. У одного парня молотильной машиной оторвало три

пальца на руке, сорвало мускулы с ладони; ничего, без осложнений прошло, лишь никому я не позволяла, кроме себя, делать перевязку, чтобы не загрязнили рану.

Мне кажется, что каждому учащему, живущему в глуши, необходимо иметь хотя бы небольшие познания по медицине и домашнюю аптечку. Какой-нибудь пустяк без немедленной медицинской помощи дает иногда серьезное осложнение. Например, заведется в школе чесотка, — если не уследить, не вывести ее сразу, то все могут заразиться; сделать же серную мазь против нее нетрудно.

Если не изучавшая специально медицину учительница сделает перевязку раненому, остановит кровотечение, наложит, где нужно, согревающий компресс, окажет помощь при ожоге, даст слабительное, жаропонижающее, успокоительное, то этим вреда не принесет. Будет гораздо хуже, если крестьяне будут лечиться своими наговорами, знахарством, средствами вроде порошка из сушеных воробьев, медвежьей желчью от чахотки, пить медные опилки при ушибах и кое-что еще похуже.

Приучая народ пользоваться медицинскими средствами, можно подорвать вредные суеверия.

В серьезных случаях, не зная как поступить, всегда можно написать участковому врачу, вызвать его; когда он осмотрит больного, поставит диагноз, назначит лечение, может сдать этого больного на попечение учащего. Уж не так трудно после занятий сходить к больному, смерить температуру, подать лекарство, следить за ходом болезни. Когда «выходишь» трудно больного, особенно ребенка, то с этой радостью ничто не сравнится.

Но вот и темные стороны занятий медициной, — не темные, а вернее, печальные недоразумения, огорчения.

В одну осень — в конце сентября — появилась эпидемия, чего — я не могла понять. Температура высокая, симптомы у всех почти одинаковы, похожи на брюшной тиф, который я еще в Сосновке изучала, но проходит быстрее. Даю жаропонижающее, слабительное, делаю компрессы, обертыванья, а болезнь определить не могу. Произошло уже два-три смертных случая — значит, что-то серьезное. Доктора вызвать нельзя, 90 верст расстояния — это еще не беда, но дело в том, что бездорожица, погода непостоянная: река то застынет — нельзя ходить и ездить, то совсем распухнет. Кое-как к 12 ноября установилась санная дорога.

А болезнь тем временем развивалась все сильнее.

Приехал доктор, пригласил старосту и просит его указать ему, где больные.

— Нет больных, ваше благородие!

— Как нет?

— А очень просто: все здоровы, нет у нас никакой болести в деревне.

Так доктор ничего и не добился от старосты. Приходит ко мне и сообщает результат своей беседы со старостой. Всех больных я знала наперечет, потому что к каждому вновь заболевшему всегда меня приглашали. Оделась, пригласила доктора пойти со мной в те дома, где есть больные.

Больных мы нашли 18 человек, и доктор определил сыпной тиф, который уже принял форму эпидемии, так как изоляции никакой не было.

Во время нашего обхода не обошлось без курьезов. Подходим к дому, где жила больная девушка лет семнадцати, ее мать выбегает на крыльцо и поспешно спрашивает меня:

— С кем это ты идешь?

— С доктором.

— Так сама-то ты иди, а ты, барин, уж подожди на улице, тебя я в избу не пушу, потому что Палагея у меня потеть начала, неровно ты ее изурочишь!

Как мы ни уговаривали бабу, чтобы пустила нас в избу — ни за что! Одну меня приглашает, а с доктором — на порог не пускает. Старались доказать ей, что если Палагея начала потеть, значит, кризис наступил, и помощь доктора нужна в это время, — нет, не пустила, и кончено. И в других домах на посещения доктора косо посматривали, как будто говорили: «Что ему нужно? Зачем он

пришел? Еще уморит, пожалуй». На вопросы его о времени заболевания, о ходе болезни ответы давали весьма неохотно.

После обхода больных доктор призвал старосту, сказал, что болезнь заразительная, больных нужно отделить, найти квартиру для временной больницы. Приедут эпидемический врач, сестра милосердия, за больными будет правильный уход. Но когда этот вопрос обсуждался на сходе, то крестьяне единогласно постановили: квартиру не нанимать, медицинский персонал не принимать, а уж если Бог спустил горячку — Его воля, доктора тут ни при чем.

Доктор уехал, не добившись ничего. Между тем эпидемия усиливалась, в некоторых домах лежала уже вся семья поголовно; здоровые из соседних домов ходили к больным иногда без всякой надобности, просто «попроведать», заражались и переносили болезнь в свои дома. Меня приглашали к вновь заболевшим, но что я могла сделать с широко развившейся эпидемией? Кроме советов об уходе — ничего. Но от посещения больных все-таки ни разу не отказалась, хотя мучило сомнение, ведь сыпной тиф — не брюшной, передается и через воздух, не занесу ли я его в школу? И, как на грех, у меня два ученика заболели тифом.

Через некоторое время приехал доктор, но не один, вместе с ним приехали полицейский пристав и исправник. Они решили настоять на изолировании больных и этим прекратить дальнейшее развитие эпидемии.

На сходе поднялся настоящий бунт:

— Ни за что, никого нам не надо! Больных не дадим: всех уморят доктора. «Христову горячку» не остановишь, уж если кому Бог велит умереть — докторам не помочь.

Бунтовали и шумели так сильно, что пришлось исправнику некоторых главварей посадить под арест. Несмотря ни на какие меры — ни на увещания, ни на строгость, ни на разъяснения, как опасна зараза, — полиции и доктору не удалось убедить их в пользе правильного лечения и изоляции. Так они и уехали, не добившись ничего, кроме озлобления крестьян против... меня.

Выпущенные из-под ареста мужики очень были обижены своим наказанием, ведь им пришлось за «мир» посидеть. Обсуждая свое заключение на сходе, они решили, что во всем этом я виновата.

— Ребята, учительнице не хочется самой ходить к больным, так она и вызывает докторов и фершалов, чтобы самой дома сидеть.

— А ведь и правда, ребята, если б не она — начальство никогда не узнало бы, что у нас горячка, не наехало бы. Похворали, похворали бы, кому Бог привел — выздоровели или умерли, Его воля. Она, она виновата.

Много неприятных вещей наговорили обо мне по поводу моего участия в эпидемии. Пришли к тому заключению, что мне «самой лень ходить», так и выписываю докторов. Такой отзыв не порадовал меня, тем более что я всегда охотно шла к больным, посещение их меня не тяготило нисколько. И вот они это мое добровольное участие приняли уже как бы за обязанность. Если приедет доктор, приступит к исполнению своих прямых обязанностей — значит, он меня заменяет...

Больно было это очень. «Ну, — думаю, — за что они вооружились против меня? Вот, первую мысль о моей виновности подал И. С., а давно ли я сидела почти целую ночь у постели его сына, следя за кризисом и делая все, что нужно, чтобы поддержать его слабеющее сердце? Сын его уже поправляется, а он так “отблагодарил” меня, что мне никогда не забыть. К каждому больному из его семейства я всегда охотно шла, и они ко мне обращались даже чаще других. Тогда зачем же они идут ко мне?»

А эпидемия из Кантыпки перешла уже в другие деревни, приняла угрожающие размеры. Временно прислали на всю волость ротного фельдшера, он ездил по деревням и лишь регистрировал вновь заболевших, доносил о них врачу. Врач же приезжал всего два раза в месяц, потому что бороться на месте с эпидемией без изоляции невозможно.

Только к весне эпидемия понемногу стала спадать. Боль, нанесенная по поводу ее, у меня не проходила. Даже явилась мысль — окончательно уничтожить аптечку, прекратить прием больных, коих приходилось принимать не очень большое количество — человек 70 в месяц, не более. Но это решение не пришлось исполнить: не могла отказать, когда обращались ко мне или просили навестить их.

Особенно много пришлось ходить в эпидемию скарлатины, через год после тифа: тут болели дети, многие из моих учеников, их братья, сестренки.

Одним из первых пригласил меня И. С., который на сходе поднимал бунт против меня. У него сразу заболело трое детей, я каждый день ходила к ним, делала смазывание, ванны. К детям я относилась внимательно, любовно, но с хозяином дома не могла говорить. Сделаю что нужно, дам указания матери, а его упорно не замечаю, хотя он всегда стоял у кровати своих детей, смотрел, что я делаю, а при уходе благодарил меня и говорил:

— Не брось, завтра приди еще, дай тебе Бог здоровья!

XVIII.

Год от года увядали мои силы и здоровье. Непосильная борьба с обстоятельствами мало-помалу подтачивала меня. В «хорошей» школе много было больных вопросов, решить которые не было сил. Например, «дровяной» вопрос, — в сущности, пустяковый, но он один сколько волнений приносил!

Здание у школы большое, при наших сибирских морозах нужно топить хорошо, но часто мы сидели без единого полена дров. Сожжем утром последние дрова, назавтра нет нисколько. После занятий ребята берут салазки, идут к «добрым людям» просить на истопку. Где дадут, где прогонят, но в результате все-таки дня на два дров притащат.

В воскресные дни я не раз ездила с ребятами за валежником. Соберем, что по силам, привезем, тут же ребята распилят, наколют — иногда таким образом целую сажень дров наготовим. Но ездить за валежником можно только осенью, когда снег еще не укрыл землю.

Пойду к попечителю¹ — часто его дома не застанешь, а когда и дома, он помочь не в силах. Дрова для школы должны привезти Иван или Степан, но у них самих бабы изгороди возле дома рубят, а Иван со Степаном пьянствуют. Бьемся, бьемся, топим экономно, мы со сторожихой кладем в печь поленья по счету, а в результате — в холодные дни ученики сидят в классе в шубенках, чернила замерзают, и в перемену дети, как тараканы, около печи греются.

Кто этого не испытал, тот не поймет, какое большое лишение — сидеть без дров. Это тот же голод. Ничему я так не завидовала, как дровам. Иду мимо какого-нибудь хозяйственного мужика, у его двора — поленица дров, и думаю: «Вот бы у моей школы столько дров было!»

Дровяную нашу нужду батюшка отлично знал, при каждом посещении школы говорил попечителю, что нужно школу основательно обеспечить. Попечитель подобострастно отвечал:

— Да надо, батюшка, знаю, что надо, я вот ужю на сходке поговорю, нельзя же без дров сидеть. Похлопочу, батюшка, будь покоен, не заботься, улажу всё.

Батюшка скажет и уедет, а попечитель займется своими делами, благо — он первый богат в деревне. То у него лесные подряды, то дровяные, то ездит покупает пушнину. Он и на сход-то редко являлся...

Я поеду в село к о. заведующему, упомяну между прочим, что дров опять нет, а батюшка скажет, что нужно требовать у попечителя школы. Я в конце концов стала совсем замалчивать этот вопрос, который стал «сказкой про

¹ *Попечитель (школьный)* — выборный представитель крестьянского общества, который совместно с сельским старостой обязан был организовать необходимую местной школе и учительской помощи, в том числе по найму учебного помещения, его отоплению, охране и ремонту.

белого бычка». Ведь все равно: я буду жаловаться батюшке, батюшка говорить или писать попечителю, но от этого дело не улучшится. Попечитель скажет очередному мужику, тот привезет воз с дровами, мы его сожжем, — и опять начинай сначала.

К довершению всего, я была очень одинока. Глушь, дальность расстояний, неудобства дороги... Казалось, живешь заброшенная, всеми забытая. Товарищей ближе тридцати верст нет, каждая поездка к ним обходится рубля в два, бывает сопряжена с массой неудобств, да и времени свободного не находится. Так и жила одиноко. Изредка ездила к о. заведующему — раз, иногда два раза в месяц, когда удобная дорога, а временами и два месяца никуда не выглядываю. В семье батюшки я все-таки немного отдыхала душой: поведаю свои горести, а если есть, то и радости, наберу книг из их сравнительно богатой библиотеки. Они никогда в книгах мне не отказывали, за что им сердечное спасибо. Вовсе плохо было бы, если бы лишена была этой духовной пищи.

Мои обязанности стали меня утомлять, в некоторые воскресные дни прямо-таки не было силы (не физической, конечно) проводить чтения. Сижу одиноко в своей квартире, зябну и думаю безотрадную думу:

«К чему все это? Много ли пользы я принесла своими занятиями и чтениями? Проводила противополигольные чтения, туманные картины показывала о том, как портит алкоголь внутренние органы... Вот и лавку винную в деревне прикрыли, а разве пьянство в деревне уменьшилось? Не больше ли вреда приносит шинкарство? — только вино вздорозало. Недавно в пьянстве мужика убили. Нет, это только в книгах хорошо пишут: борьба с пьянством, школа отучит вино пить... Как же! Вот я боролась, как умела, а в результате сама сделалась инвалидом, все потеряла. А мужики сходят в часовню, придут на чтения, послушают меня внимательно, потом вернутся домой, соберутся человека два-три — и пошло! Бутылка, другая... При каждом удобном случае пьют, рукавицами без вина не сменяются. Нет, бессильна я бороться с окружающим злом! Не мои слабые силы тут нужны, а железная, несокрушимая воля, на которую не произведет никакого действия удары судьбы, которая не преклонится и не сломится. А я что? Первые же слабые бури пригнули меня к земле, и опустила я руки в борьбе».

Раньше с детьми я занималась очень спокойно, дисциплина устанавливалась сама собой, без всяких усилий с моей стороны. Если я когда и волновалась, то при учениках сдерживалась, а теперь стала раздражительной. Дисциплина вследствие моего раздражения стала падать, а при плохой дисциплине невозможны хорошие успехи. Занятия мои из захватывающего, радостного, яркого дела превратились в какую-то обезжизненную механическую «учебу». Я все это понимала, чувствовала, но никак не могла исправить дело, от этого еще сильнее раздражалась и все портила.

Вот мрачная страничка из моего дневника того времени:

«Кончена жизнь. Это я ясно вижу и сознаю. Где прежняя энергия, сила воли, дорогие мечты о полезной деятельности? Во мне ли жизнь не была ключом? А теперь — все погубило, умерло. Прожила лучшие свои годы, не достигнув ни одной мечты, сбилась с пути и растеряла свои идеалы. Я, как живой мертвец, стою над своей собственной могилой, где похоронена радость бытия. Не спаслись мне от этого медленного умирания, не вырваться из когтей апатии, захватившей меня. Сознание духовной смерти мучит меня. Легче бы было, если бы за мною, как призрак, не стояла я прежняя, какую была совсем недавно. Даже оплакивать это дорогое прошлое нет сил, только вспышки, проблески, во время которых я рву и мечу в бесплодном усилии подняться».

Наконец я пришла к выводу, что, как это ни больно, я должна оставить школу и службу, уйти, уступить место более сильным и энергичным. Школа — не богадельня и не приют. Прослужила 14 лет, сделалась инвалидом...

Дорогу молодым, свежим силам!

XIX.

Казалось, все во мне пропало в неравной борьбе, умерло, погибло. Но меня воскресили, вызвали к жизни.

В самое трудное время вдруг получаю из Сосновки приговор сельского общества: на сходе единогласно постановили ходатайствовать об открытии в деревне церковно-приходской школы и просят, чтобы я убедила начальство назначить меня к ним учительницей. Под приговором подписалось много моих бывших учеников — теперь уже взрослых, самостоятельных хозяев. К приговору они приложили свое частное письмо, где настойчиво просили приехать к ним и «быть наставницей наших детей».

Ни с чем не сравнима была моя радость, когда я получила эти послания. В тот же вечер поехала я в Сосновку, пришла на сход. Встретили меня как родную:

— Уж вы к нам переезжайте, ждем вас. Школу-то мы хотим непременно церковную. Нам предлагали министерскую открыть, денег много обещали, да нам надо церковную — хотя бы небольшую, но чтобы в праздник было куда выйти, чтение послушать, да в часовню чтобы наши ребята ходили.

Меня чрезвычайно обрадовали такие слова. Несмотря на все те гонения, упреки, что сыплются на церковную школу, наш народ любит ее больше других типов школ. Ближе она ему, роднее, дороже. Это факт, спорить против которого бесполезно. Ведь бедны наши мужики, и пособие, отпускаемое на министерскую школу, было бы им нелишним, но вот — хоть бедную, убогую, да подай им именно церковную школу! Значит, ближе она их уму и сердцу.

Такое отношение обрадовало не одну меня, порадовался и о. Иоанн. Переговорив с крестьянами, батюшка усердно взялся за хлопоты об открытии школы в Сосновке. Для этого он явился лично в местное уездное отделение, представил приговор крестьян и мое прошение, в особом докладе сообщил об усилленном желании крестьян открыть именно церковную школу.

Пока шла переписка (очень недолгая) об открытии школы, я жила надеждою перебраться в мою любимую Сосновку, к дорогим ученикам. Пятого сентября получила бумагу о назначении меня туда учительницей, а на следующий день уже перебралась на старое, столь дорогое место. И сразу же ожила, встрепенулась, обновилась духом. Прежняя апатия, неудовлетворенность своей работой слетели с меня, как какая-то болезнь с души, и самочувствие стало совсем иным.

Наняли квартиру у дедушки Спиридона — Яков Андреевич свой дом продал. Но и это были славные, добрые старики. С какой радостью и любовью я прибирала школу! Прежние мои ученики не выходили от меня, помогая устроиться. В первое же воскресенье пошла в часовню. Как изменилось все за эти годы! Сад так разросся, что часовня едва виднелась из-за деревьев. Крышу сделали железную, куполом, окрасили зеленой краской, стены снаружи тоже выкрасили заново. И внутри: потолок, стены, пол — все выкрашено.

Днем сделала чтение. Больно уж хотелось мне поскорее встретиться со старыми приятелями и приятельницами, посещавшими раньше мои чтения. Но многих я не встретила и не встречу больше.

Нет моей дорогой бабушки Елены, друга моей юности. Пока я раньше жила в Сосновке, она почти каждый вечер приходила ко мне, терпеливо выслушивала мои рассказы из жизни «дома», многое сама мне поведала из своей вдовьей жизни, полной горести, нужды и печали с малыми ребятами. Приедет ли наблюдатель в школу, сойдет ли хорошо ревизия, я скорее бегу через овраг к бабушке Елене и, задыхаясь, спешу ей об этом сообщить. Крестится старушка, радуется со мной:

— Бог это тебе помогает, милая, за сиротство твое; да ведь ты и стараешься с ребятами.

Когда бывали экзамены в школе, еще с вечера сбегаю к ней:

— Бабушка, ты приди на экзамены, послушай, как ребята мои отвечать станут.

— Приду, приду, ко двери в комнате сяду — все услышу, охота ведь и самой послушать.

Заболею я — бабушка Елена первая около меня. И вот — нет ее, умерла она, как умер и дедушка Павел. Он первый встретил меня, когда я приехала в Сосновку, — давно, в первый раз. С ним мы встречали и первую Пасху в часовне. Да, много моих близких ушло в другой мир, и поднялось на ноги уже другое поколение.

XX.

Двадцатое сентября я назначила днем приема учеников. Гадала: сколько их придет ко мне? В первый мой приезд сюда пришло четыре человека. Не наберется ли в этот раз человек тридцать? Ведь это счастье! Но в школу ко мне поступило не тридцать, а 56 человек! Детей же школьного возраста в деревне — 63 человека. Значит, не пришло всего семь человек девочек, коих оставили нянчиться с малыми ребятами, а мальчики все пришли! Невольно приходят на ум знаменитые слова: «А все-таки она движется!» В этой же деревне не так уж давно на школу смотрели враждебно, недоверчиво. Сколько труда нужно было положить, чтобы заманить детей в школу, а теперь — полно. Все идут учиться, все стремятся к свету.

Сколько знакомых лиц встретила я среди своих новых учеников! Вот пришла записываться шустрая черноглазая девочка, бойко заявляет:

— Запиши меня, мне непременно надо выучиться, крестному Василью письма буду писать. Он теперь в солдатах служит, а мне учиться велел.

Безо всяких объяснений я вспомнила «крестного Василья» — черноглазого, умненького. Он у меня учился и окончил курс. Почему-то врезалась в память одна сцена: Вася в перемену стоит перед картиной Семенова «Зима», показывает мне, как там надрубленное дерево тянут к земле: «Смотрите, что здесь нарисовано: “Старую сосну сперва надрубали, после арканом ее нагибали”, — вот ее нагибают арканом».

Входит мальчик — вылитый Киприан. Сразу узнала, что это его брат, только имя забыла, чуть «Кипрюшей» не назвала.

— Ты Бадин?

— Да.

— Как звать?

— Иваном.

Вспомнила я и Ваню этого, — его крошечным приводил с собой в школу Киприан.

Приходили и незнакомые, те, которые родились без меня. Вошел очень застенчивый мальчик с узенькими черными глазенками, все прячется за спины товарищей, а сам поглядывает на меня. Позвала его к себе, спрашиваю:

— Учиться пришел?

— Учиться, — отвечает он, краснея, и опускает голову.

— Как тебя звать?

— Авраам.

— Ты чей?

— Тетки Акулины сын буду.

— А отца как звать?

— Елеазар.

«Подожди, — думаю я. — Ты же в некотором роде мне «внуком» приходишься! Ведь ты сын тех Акулины и Елеазара, которые учились у меня по настоянию о. Димитрия перед своей свадьбой. Обещал тогда Елеазар отдать будущих детей в школу и не обманул, послал сынишку, а ведь у них во всей родне нет никого грамотных, и школу не любили. Значит, урок воздействовал!»

Письменные принадлежности и другие учебные пособия еще не были высланы, и меня снабдила всем необходимым для начала занятий учительница соседней министерской школы. Парт было всего шесть, четырехместных. При-

шлось садить на них человек по семь-восемь. А остальные устраивались прямо на полу, на ящиках из-под табака, на скамейках. Стены класса убрали вензелями, гирляндами из хвои, цветами из бумаги.

Молебен был назначен на 27 сентября, а занятия пришлось начать гораздо раньше молебна. В первое утро, когда собрались мои ученики, выяснилось, что никто из них не знает ни одной молитвы. После беседы о том, что каждое дело нужно начинать молитвою Творцу, ученики хором прочитали за мной молитву Святому Духу. С глубоким чувством беспредельной радости приступила я к любимому делу в столь желанной для меня школе. Апатии и уныния как не бывало.

Утром следующего дня один из учеников, Егор, принес в класс скамейку — хорошенькую, новенькую. Торжественно поставил ее к стене, сам веселый такой, и сообщает:

— Сам вчера сделал, не на полу же сидеть! Можно Семёну со мной рядом?

— Конечно, можно!

— Слава Богу, что у нас школе и плотник-то свой есть! — лукаво замечает бойкий Ваня.

А крошка Никанор устроился еще удобнее: в углу лежало много пихты (она осталась от уборки школы), и он преспокойно уселся на грудку темно-зеленой хвои, — как живой цветок в своей розовой рубашке, с желтенькими волосами и чудными синими глазами. Сидит и самым серьезным образом слушает урок.

Настал торжественный день молебна, к которому пришли попечитель школы, староста, некоторые из родителей учеников. Дети были настроены торжественно и радостно, все нарядные, чистенькие, гладко причесанные. Они то и дело смотрели в окно, нетерпеливо ожидая приезда батюшки.

Дождались.

Перед началом молебна батюшка сказал следующую речь:

— Слава Богу за всё! Слава Богу, школа в Сосновке открыта, и вы, дорогие дети, имеете возможность учиться, имеете возможность образовать свой ум и сердце, направить волю на дела добрые и хорошие. Слава Богу, чаяния ваших родителей и ваши, дети, исполнились, и вы можете в душе своей возжечь свет учения и с большей уверенностью, большим пониманием относиться к окружающим явлениям. А это ныне крайне необходимо, когда настало время лукавое, поражающее разнообразием явлений и фактов таких, каких не знали в старину. И, чтобы разобраться в них, чтобы узнать, что есть добро, а что зло, нужен хотя бы маленький светоч, каковой вам и даст школа.

Для вас, дети, обучение в школе необходимо еще и потому, что недалеко отсюда пройдет железная дорога, которая привезет на своих паровозах не только красоту и пользу, но и много такого, что с виду хорошо для жизни и для глаз, что «красно есть» (таким показался прародительнице нашей Еве плод яблока с запрещенного дерева), но что таит в себе погибель нашей душе, нашему телу, уму и сердцу. Помните, что внешне благовидное яблоко погубило первых людей, Адама и Еву, и лишило их райского блаженства.

Но благодарю Бога, направляющего все к лучшему и давшему вам возможность учиться. Будем, дети, посещать школу как можно исправнее; пусть езда по сено, рубка дров и тому подобные хозяйственные занятия не отвлекают вас от занятий в школе. Исправное посещение школьных уроков крайне необходимо, весьма важно для вашей же пользы. Только при соблюдении этого условия вы будете иметь возможность основательно изучить те предметы, знание которых необходимо вам в жизни. Пред вами открывается свет, дорожите им, любите его, идите к нему, учитесь охотно и прилежно. При всяких затруднениях обращайтесь к своим наставникам, они охотно помогут вам.

Прежде всего и чаще всего обращайтесь за помощью к Господу нашему Иисусу Христу. Как бы мы ни старались, сколько бы мы ни трудились, успехи в наших делах зависят главным образом от помощи Божией. Вознесем же горячие, усердные молитвы к Господу, чтобы Он, Милосердный, дал вам — премуд-

дрости к уразумению преподаваемого вам учения, наставникам вашим — здравие и терпение, а всем тем, кто будет заботиться о процветании школы вашей и содействовать ее успехам — многие лета. Аминь.

Никакими словами не передать то душевное состояние, какое переживала я во время молебна. Чистая, святая радость, ничем не омраченная, охватывала меня, когда я смотрела на своих учеников и учениц. Их так много, так они усердно молятся вместе со своими родителями о ниспослании нам света и истины!

XXI.

Оглядываясь на прошлое, когда все пережито и я в тихой пристани, ясно сознаю, что именно было причиной упадка во мне веры и энергии.

Причиной, самой главной и основной, была не борьба с нуждами, не лишения, не «дровяной» вопрос, не холод в школе, не одиночество и глушь, — это все второстепенное. Я и раньше такое переживала, но переносила все легко и даже незаметно. Причина была в ином — я не смогла простить зло, сделанное мне, не смогла покрыть его любовью. Ходила я к больным, и за это меня больно оскорбили, а я озлобилась на крестьян, отравила себе жизнь этой злобой. Не поняла того, что они потому так поступили, что их понятия таковы, веками окружавшая их темнота сделала их таковыми, и моя прямая обязанность была не озлобляться, а стараться дать моим обидчикам свет.

Не сумела простить старосте его грубого вымогательства и вмешательства в школьную жизнь. Но ведь и его вмешательство объясняется лишь темнотой, непониманием и взглядом на вещи с его точки зрения, а не с моей. Будь он просвещенным человеком — все было бы не так. А мне-то непрослительно, стыдно было так считаться с ним. Ведь я едва удержалась, чтобы не заявить куда следует для составления протокола на старосту за нарушение в классе порядка во время занятий. Хороша бы я была — учительница, на словах внушающая ученикам великую заповедь всепрощения, а на деле составляющая протокол за оскорбление. А если бы старосту увезли в город под арест (а это обязательно было бы), да еще в страдную пору, а он единственный работник в семье, у него дети малые, жена с ними...

Да, многого я не смогла понять и простить, и любовь ослабла.

А на деле оказалось, что кантыповцы гораздо лучше относились ко мне, чем я к ним. Я убедилась в этом, когда уезжала. Они пришли провожать меня и так искренне жалели, особенно ребята, — многие плакали. А маленький Саша, болезненный мальчик, мой ученик и пациент почти с колыбели, так разревелся, провожая меня, что успокоился лишь тогда, когда я взяла его с собой в Сосновку, где он прожил у меня больше месяца. Но и после этого он долго еще скучал, и мать еще не раз привозила его ко мне в гости.

Увидела такое отношение ко мне кантыповцев, и мне стало стыдно за то, что я в последнее время так мало любила их, так мало делала для них, а они все-таки привязались ко мне. Следовательно, они сердцем и душой несравненно лучше меня, а я не понимала этого, придя от мелочей в отчаяние.

Никогда не бывает плохих последствий от сделанного кому-нибудь добра. Даже против зла нужно стараться делать добро. Всегда добро, всем добро, а озлобление совсем искоренить из сердца. И легка тогда будет жизнь, и радостна. А как допустишь в сердце зло — заберется оно туда, разрастется, как крапивное семя, совсем одолеет, и жизнь будет отравлена.

Всегда нужно помнить, что ты кому-нибудь нужен и недаром живешь на свете; помня это, нужно пользоваться каждым случаем, где можешь принести хотя бы маленькую пользу. Никогда не пропадет доброе семя, посеянное в народе, но плодов рук наших мы не увидим, потому что культурное дело скачками не делается. Пройдет целый век, пока семя взойдет, принесет плод. Может быть, несколько поколений сменится, когда явится результат нашей общей работы, нужно лишь с верой делать свое маленькое дело, думать, что я

лишь ниву расчищаю от сора и терний, а другие будут сеять, плоды собирать... Я не безучастный зритель в этой великой работе, и довольна тем, что на мою долю досталось самое трудное. Те, кто придут на мою ниву после меня, уже не столкнутся с тем, что я пережила, и их свежих сил при лучших условиях хватит на более долгий срок.

XXII.

Вот уже третий год, как школа в Сосновке вновь открыта, она полна детей. Во второй год ее существования было 67 учеников, в третий — 63. Я немного боялась, что с тремя группами при таком количестве учеников мне трудно будет справиться, но опасения эти оказались напрасными. Сжилась с детьми, они приносят мне много светлых минут.

В заключение привожу сочинение одного ученика, Георгия Корякина, написанное им еще в первый год обучения, на самостоятельных работах в марте. Мне хотелось узнать впечатление учеников от школы, и я дала им такую тему. Вот целиком написанное им, с исправлением лишь ошибок.

«Наше учение.

Мы пришли перво-наперво в школу — не знали ничего и сильно боялись И. К-ны. Начали учиться — не было бумаги, ручек, ничего. Потом стали учиться и учиться, узнали про Иисуса Христа, молитвы, праздники, буквы. Потом нам привезли бумагу, книжки. Мы стали затаскивать классную доску, И. К. нам помогала. Стали писать: на доске напишут, потом мы. Дали нам тетрадки, и усядемся, как путные писаря: кто на пол, кто к окошку, я на свою скамеечку к ящику, а ручек-то у нас и не хватает. Побежим в ограду искать прутьев, найдем какие-нибудь, привяжем перышки нитками — станем писать, а перышко-то в чернильницу и упадет. Теперь мы пишем и читаем, пишем расписки и письма, мало-мало все-таки стараемся. Начинали мы учиться с радостью, всю зиму с радостью ходили. Теперь у нас в школе весело, научились читать; что надо, то и прочитаем. Я люблю читать книжки больше всего про жаркие страны, а наш Илья — тот все бы жития святых читал. А Семён часто плачет: начнет что просить, если ему не станут давать — он за слезы, его пожалеют и дадут. Однако нежный он будет. Георгий Корякин».

Воспоминания мои окончены. Пред духовными очами прошла вереница лиц, бывших моих учеников. Дорогие, бесконечно дорогие лица! Как много их, моих птенцов, находится в настоящее время на поле брани, защищают свою Родину. Многих уже нет в живых, погибли в боях. Оставшиеся в живых шлют мне такие славные письма, благодарят меня. Говорят, что лишь теперь они вполне поняли и оценили, что ученье — свет...

В памяти рисуется одна, давно виденная мною картина: зимней темной ночью, в непогоду, я ехала по длинной улице села. В конце улицы стоит школа. Везде темным-темно, все спит, метель бушует кругом, а в окнах школы, как маяк среди мрака, светится слабый огонек и приветливо манит к себе.

Тускло огонек горел, но он — «во тьме светил». Идет время, и близко уже, когда наши слабые, едва просвечивающие в темноте народной, огоньки разгорятся в яркие костры, которые согреют окружающих, разгонят непроглядную тьму нашей глухой деревни... А этих маленьких огоньков кругом вспыхивает все больше и больше; постепенно, но упорно завоевывают они себе право на существование, начинают «во тьме светить».

Вспоминаю я огонек в моем школьном окне и говорю:
— Слава Богу за все!

1915 год, ноябрь

ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ

ОТ СТОЛЫПИНА ДО ХРУЩЁВА. ВОСПОМИНАНИЯ ДЕДА МАКСИМА

Имя Петра Аркадьевича Столыпина не только неразрывно связано с историей России, но также отчасти и с историей Новосибирской области. Правда, области в те времена еще не было, был безуездный город Новониколаевск, входящий в состав Томской губернии. Во время знаменитой поездки Столыпина с группой высших чиновников по Сибири в 1910 году премьер-министр был и в Новониколаевске. Тогда с участием министра землеустройства В. Кривошеина оценивалась работа Переселенческого управления, размеры выделяемых переселенцам земель, выдача льготных ссуд Крестьянским банком, строительство новых церквей, школ, больниц. В отчете государю Столыпин затем отмечал, что только в прошлом 1909 году построено 48 церквей, 60 больниц и 98 начальных школ. Замечу, что именно Столыпин был инициатором и отчасти разработчиком Закона о всеобщем начальном образовании, принятом Государственной думой в 1907 году.

Переселение безземельных и малоземельных крестьян за Урал, в Западную и Восточную Сибирь, было только частью аграрной реформы, проводимой Столыпиным. И часть эта была столь хорошо продумана, так активно выполнялась и так строго контролировалась, что по сию пору поражаешься глубине и тщательности проработки отдельных вопросов, преимуществ, стимулирующих переселенцев. Назовем лишь некоторые: главе семьи предоставлялся участок в 15 десятин (15 га), а на остальных членов семьи — до 45 десятин. На семью выдавалось денежное пособие до 400 руб., это гораздо больше двухгодичной зарплаты сельского рабочего. Помимо этого, предоставлялась льготная ссуда на 25 лет в размере, зависящем от обрабатываемого участка, строительства дома, покупки сельхозмашин. На пять лет переселенцы освобождались от налогов и от воинской службы. По инициативе Столыпина Министерством путей сообщения были разработаны и построены специальные вагоны для переселенцев, названные позже «столыпинскими». В одной половине вагона — обычные спальные места, во второй — места для перевозки инвентаря и домашнего скота, чтобы переселенец в пути сам ухаживал за своей животиной. В вагоне действовало водяное отопление, были туалет и титан с кипятком. Вагоны относились к четвертому классу, и билеты для переселенцев в них стоили в три раза дешевле обычных! Но и это еще не все: перед переселением предусматривалась казенная (т. е. бесплатная) перевозка смотроков, для осмотра нового места.

Вот по этой программе дед мой, Максим Акимович Шапошников, 1881 года рождения, с десятью соседями из села Яблонивка под Полтавой и приехал в село Гусельниково под Новониколаевском весной 1911 года. Смотроки посмотрели и пощупали землю, съездили в уездный центр — село Легостаево, подписали нужные документы и вернулись за семьями. Из-под Полтавы дед Максим увез жену Лепестинью, дочку Матрёну и единственную лошадь с конным плугом. Еще и успели к поздней запашке сибирской целины. Через четыре года

у Максима Шапошникова стоял рубленый дом, пять окон по фасаду, в хлеву дремали пять коров, а в конюшне хрустели овсом четыре лошади; были и конные грабли, жатка, сенокосилка. Да еще и три сына народились один за другим, а всего в семье Шапошниковых было пять сыновей и одна дочь. Отец мой, Арсений Максимович, родился в 1920 году и был самым младшим. Хозяйство деда Максима считалось в селе образцовым, хотя и было далеко не самым крупным.

Но я увидел деда впервые не в Гусельниково, а лет в пять в селе Ургун, где дед с бабкой, Лепестиньей Яковлевной, жили в избе со старшей дочерью Матрёной (этот брошенный дом и по сию пору стоит на том самом месте в зарослях бурьяна на окраине деревни). Помню ослепительный зимний день, заваленные снегом по самые крыши дома, ярко-синее небо и белейшие, невиданные в городе сугробы с вызывающе желтыми разводами, и не только в глухих переулках, но и на центральных улицах. Село Ургун в четырех километрах от железнодорожной станции Евсино было по нынешним понятиям очень многолюдным. И школа в нем была двухэтажная, белая, а директор этой школы слыл едва ли не самым уважаемым в селе человеком. При нашей первой встрече дед в ватнике и огромных белых пимах чистил снег. Дед переехал в Ургун к дочери после того, как его, культурного хозяина, в 1930 году раскулачили и сослали, слава богу, что не в Нарым, а на известковое производство на станцию Ложок. Там, за колючей проволокой, дед и отработал три или четыре года.

Готовился дед, конечно, ехать в Нарым, как и большинство сосланных его односельчан (настоящих кулаков), но судьба распорядилась иначе. Про Нарым мне рассказывал много лет спустя мой учитель профессор Наринский, в начале тридцатых он работал в аппарате первого секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП (б) Роберта Индриковича Эйхе, занимался вопросами сельского хозяйства. Помню, сидим мы в ресторане гостиницы Обь, любимся речным закатом, и Наринский рассказывает, как от пристани у Бугринской роши отходили вереницы барж с тысячами раскулаченных и в мертвой тишине уходили на Север, во мглу, в Нарым... А там, на нежилых берегах, людей выбрасывали, оставляли топоры, лопаты, немного картошки: устраивайтесь! Через пару месяцев — землянки, через пару лет — рубленые избы, и посевы, и огороды, и даже скотина! «Вы думаете, почему так получалось? — спрашивал Наринский. — Потому, что там не было советской власти, были только комендатуры, и царь, и бог — начальник комендатуры! И все решалось по разумению и здравому смыслу, конечно, для тех, кто выживал». Результаты были таковы, что в 1935 году Наринский стал инициатором и организатором выставки достижений сельского хозяйства Нарымского края. Выставка проходила в клубе Сталина под крылом НКВД и поразила даже знатоков: масло — лучше вологодского, картофель — прямо белорусская бульба, даже пшеница и рожь под стать алтайским!

Известковое производство — тоже не сахар. Человек в известковой пыли сгорал за полгода, не спасали никакие маски, но дед попал в кладовщики, а потом и в счетоводы, ибо и считал, и писал, и читал очень хорошо. Мог ли он предполагать, что через семь десятков лет в Новосибирске будет вручаться губернаторская стипендия имени Арсения Максимовича Шапошникова (его младшего сына) лучшим студентам-бухгалтерам! А пока дом и имущество Максима Шапошникова описали, семья разбрелась по родным и знакомым (слава богу, что не в ссылку). Дед же, вернувшись, купил старую избу дочке Матрёне, которая к тому времени вышла замуж, и сам с бабкой переехал к ней. И было это в селе Ургун.

С тех самых пор я так и вспоминаю его чаще всего: в ватнике, пимах и с лопатой! Причем не с летней штыковой, а с деревянной снеговой! Я не могу вспомнить деда, вскапывающего огород или окучивающего картошку — это, говорил он, бабьи дела. (Кстати, огород дед всегда пахал конным плугом, коня и плуг для этого брал в колхозе.) А вот с косой он управлялся лихо! У тетки Матрёны была корова Галя, да и еще немало всякой скотины, и сена требовалось прилично. Дед даже мне, лет в 9—10, сделал небольшую косу и брал меня с собой на покосы. На ближние покосы ездили прямо на корове Гале,

запряженной в простую телегу. Галя этому ничуть не удивлялась, удивлялся я (как юный пионер). Выезжать надо было очень рано, часов в пять утра, чтобы косить по росе. Дед шел первым и, вжикая косой, размеренно укладывал кошенину на росистую стерню. Мне отводили крайний небольшой рядок, либо вообще предлагали в одиночку выкосить небольшую полянку, тогда все огрехи были хорошо видны. А дед тем временем покрикивал на косцов, случалось, и посылал их по матушке. Еще до полудня косьба заканчивалась, и печальная Галя потихоньку везла нас к дому. Так продолжалось два или три дня, хозяйство у тетки было небольшое, не то что у Мелеховых или Улыбиных из романов Михаила Шолохова или Константина Седых. Там на покосы выезжали на пару недель.

В конце пятидесятых, как известно, все личные хозяйства по инициативе Хрущёва обложили такими непомерными налогами, что всю домашнюю скотину Россия пустила под нож, да и посевы многих культур сократились. Хрущёв был одержим идеей преобразования всех колхозов в совхозы и превращения всей собственности в собственность общенародную. Даже личные автомобили считал буржуазным предрассудком, а все потребности в передвижении, как он говорил, успешно удовлетворит общественный транспорт. Кстати, до станции Евсино из Ургуна всегда ходили пешком, четыре километра, в любую погоду, и по сию пору так! А у тетки Матрёны осталась одна корова, три овечки и пяток кур. Удивительно, что к 1913 году — после реформ Столыпина — Россия производила около 86 млн тонн зерна и продавала его всему миру. И сибирское — особенно алтайское — зерно в этих продажах было далеко не последним. Ибо с 1906 по 1912 год в Сибирь переселилось и осталось там более 2,5 млн человек. Потому и площади сельхозугодий выросли на треть, а производство зерна с 68 млн тонн в 1907 г. увеличилось до 86 млн тонн в 1912-м!

В учебниках истории, по которым учился я, беззастенчиво писалось о том, что столыпинская реформа была неудачной, что многие переселенцы разорились и вернулись. Вернулось, на самом деле, около 700 тысяч человек, но осталось-то в три с половиной раза больше! Дед и про это мне рассказал. Их хохляцкий край в селе считался зажиточным, но были, конечно, и бедные переселенцы. Дело в том, что с началом реформ по России покатился слух, что в Сибири текут молочные реки с кисельными берегами. И поехали в Сибирь так называемые самовольные переселенцы, без регистрации, без льгот, с одним только желанием разбогатеть! Вот они-то и мыкались без земли, без жилья. Хотя и им пыталось помогать Переселенческое управление.

Дед Максим со своих 40 десятин (только зерновых!) продавал до четырех тысяч пудов хлеба. Позже от мамы (агронома по образованию) я услышал, что это называлось стопудовым урожаем. Несбыточная мечта большинства советских колхозов: 16 центнеров с гектара, с минеральными удобрениями, тракторами, комбайнами. Откройте любой статсправочник, посмотрите среднюю урожайность: 1940, 1950, 1960 годы — 10, 11, максимум 12 центнеров с гектара. А дед эти заветные сто пудов собирал уже в 1913 году врукопашную!

А вот после реформ Хрущёва, с 1963 года Россия во все больших масштабах начала покупать зерно на Западе, в Канаде и США, а мясо — в Аргентине! Помню, дед вслух читал детские сказки о светлом пришествии коммунизма в газете «Известия», о том, что мы догоним и перегоним Америку по производству мяса, ухмылялся в усы, но ни слова не говорил против власти, которая так его обласкала. А я помню с тех времен веселую школьную поговорку: «Держись, корова из штата Айова!» Или еще круче: «Мы Америку догоним по надоям молока, а по мясу не догоним: ... сломался у быка!»

Когда началась целинная эпопея, отец мой активно участвовал в подготовке бухгалтеров для новых целинных совхозов (колхозов там вообще не было), ездил в Кулунду, на Алтай, в итоге получил медаль «За освоение целинных и залежных земель». Но вещи рассказывал ужасные, особенно о первых урожайных годах, когда горы собранного зерна, поливаемые дождями, горели. Элеваторов и зернохранилищ не хватало, да и вывозить было не на чем! Дед

на такие рассказы только огорченно хмыкал и доставал новую бутылку самогона. Правда, после освоения целины производство зерна наконец превысило уровень магического 1913 года, но для этого пришлось распахать около 40 млн га целинных и залежных земель.

Хозяйство тетки считалось зажиточным, в доме были не только иконы в красном углу, но и книги, даже старый-престарый патефон. Отсюда в 41-м ушел на фронт ее муж, Семён Иванович Зельков. Ушел и канул в неизвестность. Его судьбой занималась дочка Валя, даже писала Булганину, он тогда был министром обороны и маршалом, а потом и отец мой, когда пришел с войны. В итоге из Минобороны пришел официальный ответ, что Семен Зельков пропал без вести под Ленинградом в 1943 году, извещение вручено его вдове тогда же. А тетка никакого извещения не получала! И небольшие деньги, приходившие на ее имя, оседали в чьем-то кармане. Химичили и на этом святом деле даже в те суровые времена. В конце концов, в 1954 году тетка получила за пропавшего без вести мужа аж девять с половиной тысяч рублей, большие деньги по тем временам: отец, старший преподаватель ВЗФЭИ, получал в это время 1600 руб.

Но и на этом история не кончилась: в конце 90-х из Сибирского кадетского корпуса Валентине Семёновне Зельковой пришло письмо о том, что ее отец похоронен у села Погостье Кировского района Ленинградской области, экспедиция кадетов нашла медальон на месте боев. Кроме того, семья Шапошниковых оставила на войне двоих: братьев Степана и Дмитрия. Старшего брата Фёдора, богатыря и красавца, случайно убил поселковый милиционер. Дядя Фёдор приехал на побывку из Донбасса, где вкалывал шахтером. Отец рассказывал, как они шли с братом из соседской бани (своя была отобрана вместе с усадьбой), распаренные и счастливые, по росистой траве, как вдруг из-за угла вывернула усатая сволочь в белой гимнастерке и громко назвала имя известного вора, вроде бы скрывавшегося где-то в селе. Фёдор спросил: в чем дело? И в следующее мгновение получил пулю прямо в сердце, милиционер стрелял отлично, но он ошибся; его пожурили и перевели из села. Но перед этим другой брат, Николай Максимович, косая сажень в плечах, разыскал этого усатого таракана и до полусмерти избил — так, что белую гимнастерку не могли отстирать от крови, об этом знало все село. Дядя Коля скрылся и уже перед войной объявился в Томске, где и прожил затем всю жизнь. А дела никакого и открывать не стали, ибо Фёдор считался сыном раскулаченного!

В конце пятидесятых электричества в селе Ургун не было, как не было и радио, жили с керосиновыми лампами. Одна радость: раз в неделю приезжала кинопередвижка, запускался движок, и в клубе показывали последние фильмы. Помню, с каким восторгом мы с дедом смотрели «Максимку». А тетка Матрёна работала в колхозе, получала какие-то небольшие трудовни, регулярно отвозила молоко на молоканку, а дед еще подрабатывал чем мог, от косьбы до плотницких дел. Два моих деревенских приятеля жили в избушках с земляными полами. Это было очередным деревенским открытием. «А как же зимой?» — спрашивал я своего приятеля Серёжку Кругликова. «Нормально, — отвечал он, — соломы набросать да пимы не снимать». Валенки в Ургуне все называли пимами. И тетка, и дед вспоминали, что в 1919 году, «когда шли колчаки», у них реквизировали все более или менее целые пимы — не только новые, но и подшитые.

Когда покос заканчивался, дед обязательно топил баню. Не важно, в субботу это случалось или в другой день. Суббота назначалась баннным днем по определению, как у Алёши Бесконвойного из рассказа Шукшина. Баня была старой, покосившейся и топилась по-черному. (Сейчас, как старый банщик, могу утверждать, что самый «вкусный» пар именно в бане по-черному!) Наша баня стояла на краю усадьбы, на берегу крохотного, зарастающего озерца. И бросаться из бани в воду было высшим наслаждением, здесь подхватил я у деда первые уроки банного мастерства. Мы ходили всегда «в первый пар», «бабы

пусть идут потом, им и того хватит», — говаривал дед, растапливая баню и доставая веники. Я по малолетству едва выдерживал на полке с дедом. А он в запале хлестал себя веником по бокам и кричал мне: «Держись, внучек... твою мать!» Он и приучил меня и к банной шапке, и к банным рукавицам. А потом мы вместе прыгали с полка, затем с мостков валились в озеро, откуда в ужасе разбегались лягушки. После трех-четырёх заходов мы пили хлебный квас и шли домой ужинать, и тут начиналось свое священнодействие. На столе дымился чугунок с вареной картошкой, а в русской печи шкворчала сковородка с чем-то вкусным. И тут дед обязательно доставал из потайного угла бутылку водки или самогона и, помяная добрым словом Александра Васильевича Суворова, выпивал стакан за легкий пар и доброе здоровье. От него я и услышал впервые известные слова о суворовском завете по поводу продажи исподнего после бани!

Дед редко рассказывал о прошлом: может быть, я был для этого слишком мал? Он умер в 1962 году, когда мне исполнилось 14 лет. Все его рассказы были связаны с какими-то событиями, иной раз совершенно незначительными. Так, однажды после бани и после ритуального стакана мы услышали страшный грохот и вылетели из-за стола на крыльцо. Прямо над нашим домом на предельно малой высоте делала «горку» тройка реактивных истребителей — с таким ревом, что хотелось вжаться в землю. Дело в том, что между Ургуном и Евсино летом всегда устраивалось летное поле, где какая-то часть совершала учебные полеты на первых Мигах, и зона закрывалась для мирных жителей. Мы с дедом, оглушенные, вернулись за стол, и тут-то он и рассказал мне о Первой мировой войне. Он ушел на германский фронт в 1915 году, хотя мог бы еще год-два подождать как переселенец. Но идти в бой «За веру, царя и Отечество!» — это было, по его мнению, правильно. Летом 1916 года бежал он из полевой кухни к своему взводу, дело было на Западной Украине, во время брусиловского прорыва, когда налетели проклятые германцы (он никогда не говорил «немцы», только «германцы»). Дед упал на траву, а в каждой руке — по семь котелков в специальных станках. Слышал только стрекот пулеметов да грохот пуль по железу. А когда обстрел кончился, все четырнадцать котелков оказались пробиты, и пшенная каша потихоньку вытекала на родную украинскую землю. «Ну что, — говорил дед, — подхватился я и бегом до хлопцев, еще и поесть успели». Тут дед принял еще полстакана и затянул старинную песню:

Брала русская бригада
Галицийские поля,
И остались мне в награду
Два железных костыля!

Эту песню дослушал я через сорок с лишним лет в телепередаче «В нашу гавань заходили корабли»...

В середине пятидесятых дед Максим стал уполномоченным по заготовке лекарственных трав от областного аптекоуправления. Тут сыграл свою роль его старый знакомый еще по ссылке по фамилии Юрганов. Не случайно в России говорили, что тюремная дружба (как и фронтовая) самая крепкая, ибо человек проверяется у жизни на краю! Заготовливал дед в основном растение с названием горичвет, в просторечии — стародубка. Применяли его при многих недугах — от болезней сердца до геморроя. Эта хворь, как известно, на Руси называлась веселым словом «почечуй». Дед так ее и называл. Замечу, так называл ее и Пушкин, даже в «Онегина» это слово вставил. Для сбора стародубки и расчета с населением — заготовителями деду выделялись деньги (кои он, как настоящий счетовод, строго учитывал и хранил), а главное — товары широкого потребления: ткани, свечи, керосиновые лампы, инструменты и т. д. А впрочем, и это еще не главное, главное в том, что для перевозки мешков с корнями стародубки и товаров деду выделялась грузовая машина на два летних месяца, когда стародубка созревала. Это был старый, полуразби-

тый ГАЗ-АА, в просторечии называемый «полуторкой», но водитель исправно заводил его каждое утро и колдовал над его стальными потрошками вечером. Звали водителя, конечно, Вася, и выглядел он за рулем супергонщиком. Характерный штрих: двери водительской кабины не закрывались (замки сломались, видимо, еще до войны), и каждую дверцу надо было привязывать шнурочком с бантиком! «Ну и что? — говаривал, бывало, Вася. — Зато заводится и ездит!» Эти шнурочки и стали причиной одного из приключений.

Ездили мы в основном в треугольнике районов Искитимского, Черепановского, Маслянинского. Это очень красивая пересеченная местность со множеством холмов, рек, речушек, озер. Одни скальные ворота на реке Малый Ик чего стоят! Мы туда тоже заезжали, и дед рассказывал, что до начала коллективизации скальные ворота были перекрыты плотиной, и рядом с большим рукотворным озером шумела водяная мельница. Качество помола у здешнего мельника, вроде бы латыша, было таким высоким, что зерно к нему возили за многие десятки верст, случалось — и из Гусельниково (хотя были мельницы и поближе). Впоследствии плотину взорвали, мельницу разрушили, а мельника пустили в расход как нераскаившегося кулака! Деда, кстати, раскулачили только потому, что был он единоличником и вступать в колхоз ни за что не хотел.

Сейчас вместо озера журчит речушка, и лес все так же шумит, и отвесные скалы поднимаются в небо... Сибирская Швейцария, одним словом! В наше время здесь возникло немало горнолыжных центров: Линево, Новососедово, Пихтовый гребень, Юрманка... Но до этого было еще много десятков лет, а пока мы носились с горы на гору, от села к селу, и кузов наполнялся мешками со стародубкой. Чаще всего дед ездил в кузове, охраняя свое добро, а мне уступал кабину. Василий обожал носиться по холмам, потому что под горку его старушка вместо штатных 60 км/час давала и 80, и 90! Вот и с очередной горки он поддал газу и засвистал по-разбойничьи, высунувшись далеко из кабины. Я по его примеру тоже заорал от восторга, повиснув на двери. А под горой дорога довольно круто поворачивала влево. И тут на вираже, на пике разгона, когда полуторка вспоминала свою лихую молодость, лопнул шнурок у моей правой дверки, и я вылетел из машины в густую траву у обочины. Вася этого даже не заметил, заметил дед, он и замолотил кулаком в крышу кабины. А я катился и катился, сначала по траве, потом по стерне, пока не уперся в небольшую копну сена. Когда открыл глаза, надо мной стоял дед, улыбался в усы и держал в руках почему-то грабли, которыми ворошат и сгребают сено. «Повезло тебе, внучек, — услышал я, — грабли-то лежали зубьями вверх!» После этого случая дед выдал Васе два тонких сыромятных ремешка для призывания дверей кабины.

Это происшествие нисколько не отбило у Васи охоты носиться, где можно и где нельзя. Помню, въезжаем мы потихоньку в большое село Шадрино. Дед, как всегда, сидит наверху, на мешках со стародубкой. И тут Василий острым взором старого бабника замечает впереди кучу молодых баб и девок, сидящих на лавке у длинной бревенчатой стены. Вася расправил плечи и ударил по газам. Машина полетела по травянистой дороге, а у заветной лавки под любопытными женскими взглядами вдруг резко приподнялась над дорогой и глухо ударилась о землю. И тут уже женский хор запричитал: «Стой, стой, дурень! Человека потерял!» Мы с Васей выскочили из машины и увидели деда на траве, на мешке со стародубкой. Этот мешок и спас его от серьезных ушибов. А дело было простое: бабы в свой женский день сидели у общественной бани (которая, как ни странно, действовала в селе), распаренные и счастливые. А от бани поперек улицы была прокопана довольно глубокая канавка для стока воды, плохо заметная в густой траве. На этой канавке да на хорошей скорости наша полуторка и взлетела в воздух. Дед взлетел вместе с мешком, на котором сидел, а пока он летал, кузов из-под него ушел, падать пришлось на траву. Когда мы выскочили из кабины, воздух был наполнен густым запорожским матом, в котором с трудом угадывались к тому времени мне уже знакомые рус-

ские слова. Такой же запорожский монолог прозвучал совсем недавно, когда наш железный конь застрял в грязи, и тоже по Васиному недогляду.

Где-то в районе Листвянки проселочная дорога круто уходила под насыпь узкоколейки, а в насыпи для проезда мирных жителей был построен настоящий тоннель. И в этом тоннеле всегда стояла огромная лужа, а у въезда и выезда непролазная грязь не просыхала даже в самую лютую июльскую жару. Вася, как всегда, на хорошем ходу влетел в эту лужу и застрял по самые ступицы! Тут-то и услышал я знакомую запорожскую речь, в которой «бисов сын!» было самым ласковым выражением. И Васе, и деду пришлось разуваться, чтобы не промочить сапоги, я же скинул тапочки и провалился сразу по колено. Помочь тут мог только трактор, но где его искать? Босые, мы бродили около застрявшей машины и слушали затихающие дедовы матерные причитания. До ближайшего села было не меньше десяти верст, да и не нашлось бы в селах и колхозах тогда трактора, все трактора были в МТС. И тут, на наше счастье, с другой стороны насыпи послышались знакомые всякому хохлу понукания: «Цоб-цобэ!» На двух быках мужик собирался перевезти целую копну сена. Но копна стояла на нашей стороне! Мы распрягли быков, взяли вожжи вместо постромок, и Вася босиком сел за руль. Вася врубил полный газ, мужики заорали в три голоса и огрели быков хворостинами. Полуторка наша вылетела из векового болота, как прищипоренная. Мы помогли доброму дяде снова запрячь быков, и дед подарил ему на прощанье здоровенный кусок хозяйственного мыла, очень ценимого в здешних местах (это из дедовых запасов ширпотреба).

Прежде чем поворачивать к дому, мы устроили привал на небольшой полянке, разожгли костер и поставили вариться картошку. И тут уж дед расщедрился, достал две банки консервов «частик в томатном соусе» и вытащил из своих товарных запасов бутылку самогона. И первый тост — «За чудесное спасение» — сопровождался поминанием Николая Угодника, Пресвятой Богородицы и всех первоспасских превращений (дело-то случилось на первый Спас). Я же уминал молодую картошку с томатным частиком и понимал, что ничего вкуснее есть мне не приходилось (и по сию пору так считаю!). Дед же после стакана самогона и молодой картошки отвалился на телогрейку и затянул свою любимую песню: «Бобыль гол как сокол, поет, веселится!»

И тут его как прорвало, он вдруг стал рассказывать нам с Васей о том, как попал в Гусельниково. Как в 1911 году агитаторы, государственные люди, приезжали к ним под Полтаву, в деревню Яблонивку, и уговаривали всех переезжать в Сибирь, где свободной земли — как у дурака махорки! Столыпинская реформа продолжалась, хотя пуля для Петра Аркадьевича уже отливалась. Стреляли в него, как известно, 1 сентября в Киевском театре, 5-го он умер. «И шо ж вы соби думаете? — вопрошал дед. — Подхватились мы, десять здоровых мужиков, и поехали смотреть новые места, сначала по железке до Новониколаевска, а потом на подводах до Гусельниково. Присмотрели себе надель, пощупали землю, хотя была еще весна, и вернулись за семьями. У меня-то только дочка одна была, а как получили земельную ссуду да маленько обжились, так парнишки и поперли! Пять сынов получилось!» Потом дед даже показал мне истрепанную брошюру «Что нужно знать переселенцу о Сибири», изданную в 1908 году тиражом более 500 тыс. экземпляров. В ней приводились уже упомянутый перечень льгот, особенности сибирского климата, приемы и сроки обработки земли, даже варианты строительства домов.

Полученную ссуду дед так и не вернул Крестьянскому банку, в 1917 году он вернулся с фронта и снова начал активно хозяйствовать, не вступая ни в какие партии и не поддерживая ни белых, ни красных. Году в 1925 даже получил грамоту культурного хозяина. Еще он активно участвовал в промысловой кооперации, почти неизвестной в России, а в Сибири очень распространенной. Крепкие хозяева объединялись, делая то, что у кого лучше получалось, от запашки земли и косовицы до продажи и обмолота, кузнечных и валяльных дел и т. п. Дед и сыновей своих обучал разным умениям: плотницкому, столяр-

ному, скорняжному и т. п. Жаль, отец не успел ничему такому научиться, ему было 10 лет, когда деда раскулачили.

В это же время в СССР, согласно статистике, активно продолжался экспорт зерна: 31-й год — 48 млн центнеров, 32-й год — 52 млн центнеров, — при заметном падении объема производства этого самого зерна (производители, как известно, умирали в ссылках). В 1932 году валовой сбор упал до 47 млн тонн! И в это же время СССР бьет все рекорды по импорту машин и оборудования, включая, конечно, и небольшое количество тракторов и комбайнов: 1931 год — 45 % мирового экспорта, 1932 год — 58 % общемирового экспорта — только советские закупки. Похоже, на деньги деда Максима, фигурально выражаясь, это все и покупалось. Ведь раскулачено было более 3,5 млн человек, и все их имущество ушло в казну: дома, сельхозмашины, рабочий и продуктивный скот, запасы зерна, денежные сбережения и т. д. и т. п.

В 2006 году в Манеже открылась огромная выставка, посвященная 65-летию обороны Москвы. В одном из залов неожиданно встретился я со старой знакомой полторкой ГАЗ-АА, хорошо отреставрированной и свежеевыкрашенной. Я тут же подошел к водительской двери и открыл ее. Никаких ремешков, конечно, не было и в помине, но знакомая баранка, три педали и обшарпанное сиденье находились на месте. Слезы брызнули у меня из глаз, когда я захлопнул дверь. Стоявшая рядом старушка, взглянув на меня, неожиданно спросила: «Простите, вы что, воевали на этой машине?» Не вдаваясь в подробности, я ответил, что воевал на такой машине мой дед Максим.

В последние годы жизни основным его транспортом стали большие деревянные санки. На этих санках дед каждую зиму возил целые кипы банных березовых веников, заготовленных летом в Ургуно. Каждое утро, в ватнике и пимах, он отправлялся к Логовским баням, на улице Логовской, которая сейчас зовется улицей Семьи Шамшиных. Веников дед заготавливал не одну сотню, стоили они в те времена рубля по полтора (трамвайный билет — 30 коп.), и наторговывал он в зимний сезон до 500—600 рублей, даже помогал батяне с ремонтом и реконструкцией дома. Правда, навыки хлебобоба дед тоже не забывал. Рядом с нашим домом в 50-е годы простирался городской ипподром, который тянулся от улицы Граничной (ныне Ольги Жилиной) до улицы Ипподромской. На этом огромном пространстве с красивыми трибунами, конюшнями, сараями ежегодно по осени, помимо бегов и мотогонок, устраивались сельскохозяйственные выставки. Моя мама, Евлалия Афанасьевна Шапошникова, была одним из организаторов, ибо работала в Управлении сельского хозяйства облисполкома и занималась вопросами районирования. Тогда-то, году в 56—57, у нас дома обедал легендарный Терентий Мальцев, ибо дом был рядом с выставкой, и мама позвала Терентия Семёновича на обед. А дед Максим как раз привез в город очередную машину стародубки. Так и сошлись за одним столом, за тарелкой щей и рюмкой водки, почетный академик ВАСХ-НИЛ, дважды Герой Соцтруда и раскулаченный культурный хозяин. Спорили о любимой мальцевской озимой ржи, о пшенице, гречихе. После первой рюмки быстро перешли на «ты», мама только успевала комментировать острые, не всегда нормативные высказывания. Расстались Терентий Семёнович и Максим Акимович вполне довольные друг другом.

А еще дед Максим разводил кроликов, делал стеариновые свечи, в том числе и на продажу, и вообще, был «страшно упертым хохлом». И умирать дед совсем не собирался. Но случилось так, что на 82-м году своей жизни он провалился под лед где-то под Ургуном, простыл, заболел и умер почти у меня на глазах от воспаления легких. Дело было в доме 59 на улице Лермонтова. Дед уже больше месяца не вставал; помню, я взял его холодную руку и услышал: «Вот так, внучек, видно, смерть моя подходит, а ты живи дальше и помни меня!»

Вот с тех пор я живу и помню!

ОБ ОГНЯХ-ПОЖАРИЩАХ, О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ...

Весной 1946 года, когда мой отец пришел с войны, жизнь казалась ему прекрасной и удивительной. Еще бы, он принадлежал к поколению начала 1920-х, в котором из каждой сотни ушедших на фронт вернулись трое. Отец, со своими черными клешами, английского сукна щегольской шинелью, боевыми медалями и нарядной мичманкой, попал в их число. Он мог перекреститься двухпудовой гирей, бросить гранату на пятьдесят метров, вырыть окоп полного профиля и накрыть цель вторым снарядом, но эти военные умения оказались ненужными. Семь лет службы на флоте не дали ему ничего для мирной жизни. Вокруг были покосившиеся бараки, нищие на вокзалах, калеки в поездах, хлебные карточки и объявления: требуются, требуются, требуются...

Вот по такому объявлению, кстати, висевшему на заборе сада Сталина (ныне его называют Центральным парком), в 1946 году отец и шагнул в бухгалтеры, как когда-то в 1939 г. почти случайно шагнул в моряки.

Когда моего деда Максима раскулачили, отец перебрался в Новосибирск, работал, бродяжничал или жил у дальних родственников и знакомых и сумел-таки неплохо окончить десятилетку. В армию его призвали в 1939, потому что 18 ему исполнилось 2 декабря 1938 г. Повезли призывников на Восток, хотя грозы бушевали на Западе, и под Хабаровском на сборном пункте на вопрос: «Кто хочет учиться в школе АИР — артиллерийской инструментальной разведки?» — отец шагнул из строя (с математикой он был в ладах, безошибочно перемножал в уме трехзначные числа). Вместе с ним из нескольких сот новобранцев из строя шагнул еще только один невысокий ясноглазый крепыш Михаил Петрович Засухин, дядя Миша — будущий отцовский самый верный друг. Он вовсе не был в ладах с математикой, просто решил поддержать незнакомого симпатичного парня. Вот так они и учились в школе АИР, с гордостью носили буденовки и постигали премудрости инструментального сопровождения артиллерийской подготовки с помощью звукоуловителей и других технических средств.

В 1940 году, когда пришла пора распределения по частям, друзей поразил рассказ незнакомого комбата о роли АИР в крупных десантных операциях. Сам комбат был из морской пехоты, и на нем ладно сидели черный китель с золотыми нашивками и необъятной ширины клеши. Эти клеши и решили все дело. Так красноармейцы Шапошников и Засухин стали краснофлотцами. Они знали, что в 1939 году на I сессии Верховного Совета СССР 1-го созыва наша страна объявила всему миру о том, в ближайшее время собирается стать великой морской державой, построив 15 линкоров, 15 тяжелых крейсеров и даже 2 авианосца! Ничего этого не было построено ни тогда, ни позже. Все, что мы получили в качестве репарации после войны — престарелый итальянский линкор «Джулио Чезаре». Этот корабль под именем «Новороссийск» стал флагманом Черноморского флота и трагически погиб на севастопольском рейде в 1955 году, унеся жизни полутора тысяч моряков. Россия вообще перестала быть великой морской державой после Цусимской трагедии, и с тех пор так и не восстановилась (речь о надводных судах, конечно). В 1905 году Саша Чёрный написал: «От русского флота остались одни адмиралы!» До 1905 года Россия имела флот, сопоставимый с флотами других вероятных противников или союзников (Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, США). Для справки: в 1945 году США имели в строю 18 линкоров, 22 тяжелых крейсера и 100 авианосцев, включая тяжелые, легкие и эскортные! Справедливости ради надо заметить, что в 1938 году в СССР уже были заложены суперлинкоры типа «Советский Союз» (водоизмещение 60 000 тонн, девять 406-миллиметровых орудий) и тяжелый крейсер «Кронштадт» в 1939 г., орудийные башни для которого клятвенно обязалась поставить фашистская Германия в 1940 году, да так и не поставила. Но батяня с другом об этом даже не догадывались. Для справки: если бы мы построили эти корабли, Россия

осталась бы без штанов, воевать на суше ей было бы не с чем. И тогда, и сейчас, по мнению специалистов, самым дорогим видом вооружений остаются крупные надводные корабли.

Служить друзьям пришлось на острове Русский, где дислоцировалась бригада морской пехоты и регулярно проводились учения. Кроме морской пехоты остров ставился еще знаменитой Ворошиловской батареей, названной так потому, что проект ее в 1931 году утвердил сам нарком обороны Климент Ворошилов. Две трехорудийные броневые башни, а под ними — огромный подземный бетонный город со своими электричеством, водопроводом, жилыми помещениями и снарядными погребами. Шесть 12-дюймовых (305 мм) орудий, снятых с бывшего линкора «Полтава», переименованного во «Фрунзе» в 1926 году, надежно прикрывали бухту Золотой Рог и Амурский залив от вторжения вражеского флота. Правда, вторжения Владивосток, слава богу, так и не дождался. Наши самые значительные корабли Тихоокеанского флота — легкие крейсера «Калинин» и «Каганович» — так и простояли всю войну, один в бухте Новик, другой в проливе Восточный Босфор, в боевых действиях они участия не принимали. Это, надо отметить, касается всех крупных советских кораблей почти всех флотов (исключение — легкий крейсер «Киров» — флагман Балтийского флота). Одна надежда на мелкие суда: сторожевики, тральщики, канонерские лодки и, конечно, подводные лодки. У Японии в это время были гораздо более серьезные проблемы и на Окинаве, и на Гуадалканале, и в Коралловом море, и у атолла Мидуэй. Потому ворошиловской батарее стрелять по врагу не пришлось. Хотя трудно себе представить, что бы она могла противопоставить линкору «Ямато», если бы он подошел к бухте Золотой Рог со своими девятью 18-дюймовыми орудиями (снаряд весит полторы тонны). До 1945 года это был самый крупный линкор мира, как и однотипный с ним «Мусаси». Надо сказать, такие же батареи, легендарные 30-я и 35-я, прикрывали и город-крепость Севастополь. Только башни и орудия для них сняты были с новейшего русского линкора «Императрица Мария», как известно, взорванного немецкими агентами в 1916 году прямо на севастопольском рейде! А сами севастопольские батареи были уничтожены моряками при оставлении города в июле 1942. Теперь на месте батарей только мемориалы, а вот ворошиловская стоит как новенькая!

В наше время и остров Русский, и ворошиловская батарея, и все владивостокские форты открыты для посещения. Недавно я бродил там по казематам и бункерам, стоял у громадных башен, искал следы дислокации морпехов на острове, вспоминал рассказы отца о подготовке к войне. Невольно у ворошиловской батареи вспоминалась самая известная предвоенная песня «Если завтра война, если завтра в поход», где были такие слова: «В целом мире нигде нету силы такой, чтобы нашу страну сокрушила, с нами Сталин родной, и рукою стальной нас к победе ведет Ворошилов!» Война мыслилась только победной! А война в 1940 году ожидала у порога: прямо у границы стояла трехсоттысячная японская Квантунская армия, которая так и не двинулась с места до 1945 года, когда СССР, верный союзническому долгу, объявил войну Японии. Это случилось 8 августа 1945 года, а 26 июля СССР присоединился к Потсдамской декларации, в которой три державы — США, Великобритания и Китай — обязались принудить Японию к капитуляции. Тогда случились и десанты, и рейды, и артобстрелы, где отец, видимо, хорошо выполнял свою военную работу. Потому что кроме двух обязательных медалей: «За победу над Германией» и «За победу над Японией» — получил еще медаль «За боевые заслуги». К этим медалям отец относился с не слишком большим почтением, потому как-то отдал их нам с сестрой поиграть. Мы и играли этими нарядными железзячками, пока не уронили их в щель между досками крыльца. Чтобы достать их, надо было бы разбирать крыльцо, что отец и собирался сделать, да так и не собрался. Вот сторублевку, выпавшую из кармана во время вечерней поливки огорода, отец с мамой искали до утра, с факелами и свечами. Помню, я проснулся среди ночи от громких сложносочиненных военно-морских матюгов, которыми отец покрывал ночное огородное пространство. Мама со свечой испуганно жалась

в стороне, а отец, матерясь, иступленно размахивал факелом. Картина, как я сейчас понимаю, почти библейская. Сторублевку к утру нашли, в те времена это — почти 5 бутылок водки, стоила она, родная, в те времена 21 руб. 20 коп.

Тогда же, семилетним пацаном, я спрашивал его: «Батяня, ты хоть одного немца убил?» — «Нет, я воевал с японцами». — «А японца?» — «Наверное, убил, я ж воевал в артиллерии». — «А в рукопашной ты дрался?» — «Дрался, — серьезно отвечал отец, — дрался с рокоссовцами!» Много позже я выяснил детали этих «сражений». В июне 45-го на Дальний Восток переброшили большую часть войск второго Белорусского фронта, которым командовал маршал Рокоссовский. Сам маршал остался в Европе, он готовился занять пост министра обороны Польши. Вот так в красивом приморском городе, где безраздельно царили тельняшки и клеши, появились пилотки и галифе, да еще и гимнастерки, увешанные орденами и медалями. И потасовки между моряками и пехотой вспыхивали на каждом шагу. Во Владивостоке ввели даже усиленное патрулирование мест массового скопления населения, и прежде всего танцплощадок! Отец к тому времени стал неплохим боксером и, случалось, валил с ног даже матерых смершевцев, которые голыми руками брали немецких парашютистов. Неоднократно двух моряков Мишку и Арсена сопровождал до части патруль с автоматами наизготовку, а за патрулем по ночным улицам Владивостока шли несколько жажущих крови рокоссовцев. В части друзей ожидали выискания, случались и разжалования.

Очередное разжалование ожидало их после самоволки. В феврале 1945 года, когда бухта Золотой Рог покрылась льдом, друзья вечером ушли с острова Русский в город на танцы. Под утро они возвращались назад и, пройдя половину пути, уперлись в ледяную реку. Между городом и островом прошел ледокол, оставив проход шириной 15 метров. Льдины в этой ледяной реке еще колыхались, ледокол прошел недавно. Надо было решаться. Арсений побежал первым и в четыре прыжка, перелетая со льдины на льдину, достиг матерого льда. Мишке повезло меньше, у самой кромки противоположного берега льдина, на которую он прыгнул, разломилась, и Мишка камнем ушел в ледяную воду. Отец, не раздумывая, сорвал с себя бушлат и шапку и вниз головой бросился в ледяную воду за другом. Он поймал его сразу и вытащил на лед. Отец принял единственно верное решение: до части три километра бегом! А вокруг хрустела зима, минус пятнадцать! И они добежали. Ключи от камбуза у Мишки были с собой, они развесили форменки и клеши на теплой печи и стали греться водкой и чаем. Тут-то их и застучал комбат, который к тому времени из капитан-лейтенантов стал капитаном 2 ранга. После «разбора полетов» друзей в очередной раз понизили в звании, они снова стали «старшинами второй статьи».

В то время ненадолго на острове Русский появился легендарный 181 разведотряд под командованием не менее легендарного капитана Виктора Николаевича Леонова, супердиверсанта всех времен и народов. Сейчас его принято называть создателем морского спецназа, организованного на Северном фронте в Полярной дивизии. Отряд Леонова, как правило, забрасывался или проникал в тылы противника и подрывал укрепления, склады боеприпасов и горючего, штабы и почти без потерь уходил. Этим он и прославился, прежде всего, на Севере. С началом войны с Японией Леонов то же самое делал и с японскими коммуникациями. Его отряд наделал много шума при штурме Сейсина, он взял в плен 3,5 тысячи японцев! А отец обеспечивал этот штурм с моря на сторожевике «Метель», Мишка Засухин на сторожевике «Вьюга». 19 августа 1945 года «Метель» стала гвардейским кораблем, Леонов получил вторую звезду Героя, а батяня мой — медаль «За боевые заслуги». Арсений Шапошников закончил войну в звании главстаршины Тихоокеанского флота, чуть-чуть не дотянув до мичмана и права ношения кортика. Так же и Михаил Засухин. Правда, кортики Мишка им и так достал. Мишка вообще мог достать все что угодно. В их бригаде он ведал, и очень успешно, вопросами снабжения, и к нему, случалось, обращались со шкурными вопросами

даже капитаны первого ранга. Вот почему демобилизовались друзья в 1946 году с полным комплектом суперобмундирования: английского сукна шинели, черные и белые кители, форменки, клеши, мичманки и т. д. и т. п. От Владивостока до Новосибирска они ехали больше месяца, останавливаясь у знакомых, малознакомых и почти незнакомых людей. В Новосибирске и Барнауле друзья объехали всю ближнюю и дальнюю родню.

Дед Максим к тому времени, после ссылки, жил в селе Ургун. Жить в родном селе бывшему кулаку было, прямо скажем, некомфортно. К тому же в бывшем доме Шапошниковых размещался сельсовет, и переступить порог «родимой хаты» стоило деду немалых трудов. В Ургуне, как я уже говорил, дед жил со старшей дочерью Матрёной и внучкой Валентиной, носивших фамилию Зельковы. Семён Зельков пропал без вести под Ленинградом в 1943 году.

Дед Максим промышлял разными сельхозработами. Помню, он учил меня читать по заветному огромному тому прозы Гоголя на русском языке с ятями! Ну а боевые моряки круто «зажигали» (как принято сейчас выражаться) сначала в Гусельниково, потом в Ургуне, в Барнауле, в Томске. В итоге отец оказался в Новосибирске, где жили две его племянницы, дочери погибшего на войне родного брата Степана. А жили Нина и Валя Шапошниковы на улице Максима Горького, на самом берегу речки Каменки, снимая угол у Олимпиады Капитоновны Макаровой (моей бабушки). Сестры учились в торговом техникуме, и на комнату у них просто денег не было. Термин «снять угол» мы знаем со времен Достоевского или Островского, и дошло это явление в России до 60-х годов XX века. Квартиранты при этом часто становились членами семьи. Так было и в нашем случае. Когда на Крещение 1946 года три девушки (Валя и Нина Шапошниковы и Евлалия Макарова) гадали о будущих суженых, мама моя вытащила имя Арсения. А через три месяца на улице Максима Горького появился и сам Арсений. Любовь случилась мгновенной и взаимной. Как писал Булгаков: любовь выскочила перед ними, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила их сразу обоих!

Свадьбу сыграли в 1947 году, некоторое время молодые жили в избушке на берегу Каменки, откуда сестрам пришлось съехать. Отец учился на счетовода и подрабатывал везде, где только мог: от бухгалтерии до разгрузки вагонов. Возвращался иногда под утро, и у него еще хватало сил исполнять супружеский долг. Вот что значит кулацкое детство (тяжелый труд, отменная еда и чистый воздух). Мама рассказывала, что однажды проснулась от шума: отец в кухне над тазом мыл выпачканные в крови руки. «Арсен, ты кого-то убил?» — «Да нет, меня вот точно хотели, нож отбирал, порезался, эту гниду тоже, наверное, порезал...» Это был Новосибирск конца 40-х. А потом отец получил полдома на улице Лермонтова — уже в качестве преподавателя, а потом и заведующего филиалом ВЗУК — Всесоюзных заочных учетных курсов. Уникальное учреждение, претворявшее в жизнь формулу Ленина: социализм — это учет. (Просуществовало почти 60 лет.) Я очень хорошо помню этот комплекс ВЗУК в полуподвале облизполкома, запах облизполкомовской столовой, ковровые дорожки в коридорах. Там однажды я объелся ананасом. Отец принимал экзамены у немалой группы бухгалтеров, а меня усадил в преподавательской наедине с огромным ананасом. И пока он экзамен принимал, я с ананасом расправился — да так, что пришлось промывать желудок. Вот почему с того времени ананасы я терпеть не могу!

А в доме на Лермонтова соседями нашими оказались Ольга и Тимофей Ковалёвы. Дядя Тима был милиционером, младшим лейтенантом — ночным майором, как тогда говорили, любил выпить. А в пьяном виде бывал неудержим, скандалил с женой, ловил неведомых бандитов и стрелял из своего ТТ всегда в потолок, именно в потолок, а не в окна и двери. Я был однажды свидетелем душераздирающего зрелища: тетя Оля, из христианского сострадания, рвала больной зуб у дяди Тимы огромными заржавевшими плоскогубцами. В качестве анальгетика использовались два стакана водки: один дядя Тима принял «до», а второй «после» зубодробительной операции. С того времени зуб-

ных врачей я боюсь больше самой лютой смерти. Хруст выдираемого плоскогубцами зуба слышу до сих пор.

В 1957 году отец стал единственным хозяином и домовладельцем этого подразвалившегося дома и затеял капитальный ремонт, который сильно изменил статус строения. В доме появилось центральное отопление, позже водопровод, жилой полуподвал. И тогда уже отец забрал из деревни деда Максима и бабушку Лепестинью. Вот тут-то и началось мое настоящее общение с предками, ибо деда Афанасия я не знал, его расстреляли в 1938 году, а бабушка Липа умерла в 1953 году, сразу после смерти Сталина. А ведь понятие семьи, как утверждают социальные психологи, возникает в душе ребенка только в ситуации, когда под одной крышей живут несколько поколений.

УЛИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА

*Деньги тратятся и рвутся,
Забываются слова,
Приминается трава,
Только лица остаются
И любимые глаза...*

Б. Окуджава

Мне повезло родиться в литературном краю Новосибирска. Улицы Пушкина, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Крылова, Писарева — это все улицы моего детства. И меж ними маленькая, зеленая, незаметная и, может, потому любимая улица Лермонтова. Здесь и стоял наш дом под номером 59: высокий фундамент, тесовые ворота, во дворе — травяной ковер летом и сугробы снега зимой. Уголок патриархального Новониколаевска в самом сердце индустриального Новосибирска. В трех шагах от нашего дома улицу Лермонтова перегораживал высокий дощатый забор Новосибирского ипподрома. Ипподром открыли здесь еще в 1912 году, сосед наш, Иван Григорьевич Лоскутов, рассказывал, как на том празднике открытия с поля ипподрома взлетал и на него садился аэроплан «Фарман», ведомый знаменитым летчиком Кузьминским. Ипподром занимал огромный квадрат, ограниченный улицами Гоголя, Некрасова, Граничной (ставшей позже улицей Ольги Жилиной) и Ипподромской. Здесь проводились скачки, бега, мотогонки, а каждой осенью устраивались грандиозные сельскохозяйственные выставки-ярмарки. На этих ярмарках мама моя, Евлалия Афанасьевна Шапошникова, как я уже говорил, была активным организатором, поскольку работала в управлении сельского хозяйства Новосибирского облисполкома и занималась районированием. На открытие ярмарки, случалось, прилетали самолеты ПО-2, а иной раз и АН-2. В 1958 году нам с мамой удалось прокатиться на этом самолете. Помню, я прилип к иллюминатору и не отрывался от него в течение всего летного получаса. Хотя, должен заметить, летчиком я стать вовсе не захотел, ибо уже давно и бесповоротно собирался в моряки. Впечатления от первого полета незабываемые: море одноэтажных домиков, среди которых высилась краснокирпичная громада мыловаренного завода, и рядом с ипподромом — моя родная 79-я школа. В эту школу 1 сентября 1955 года меня за руку отвела, конечно, мама. Встретил нас завуч — Леонид Фёдорович Колесников, впоследствии секретарь обкома партии. Он-то и предложил мне: «Не побоишься дать обещание первоклассника?» Я от волнения только молча кивнул. Мама, взяв меня за руку, сказала: «Смелей!», а отец поставил на табуретку. И я что было сил заорал на всю школьную площадь, заполненную детьми, родителями и цветами: «Обещаю учиться на “хорошо” и “отлично”!» И грянули первые услышанные мной аплодисменты. Колесников, пожав мне руку, как взрослому, заметил: «Гляди, не подведи!» Сейчас уже можно сказать: не подвел!

Самолет накренился и заложил круг над еще одним правильным квадратом внизу, это был Центральный рынок. Здесь однажды мы с мамой торговали помидорами, коих в тот год уродилось немерено. Отец, как всегда, читал лек-

ции, поэтому субботним сентябрьским утром мы с мамой нагрузили в тележку горой помидоры (ведер десять) и покатали ее на Центральный рынок, благо он был рядом. На рынке нам выдали весы, и мы с мамой встали к прилавку. Помню жгучее чувство стыда, когда какая-то старушка укорила меня: «Мальчик, тебе надо в планетарии сидеть, а не на рынке стоять!» И мама закричала на весь базар: «У меня и так круглый отличник!» Но вьедливая старушонка не отцеплялась: «А почему это у вас помидоры такие красные, вы что, их мочой поливали?» На это страшное подозрение мама в тихом ужасе только и смогла прошептать: «Как вам не стыдно? Я дипломированный агроном!» Но на еще более каверзный вопрос ответа не было: «А что же вы тогда помидоры свои за бесценку продаете?» Действительно, цену мы установили вполтину от действующих, и всю тележку продали за полчаса. Больше всего я боялся встретить одноклассников или свою любимую учительницу литературы. Но бог миловал.

Помню, когда мы катили свою тележку обратно, минуя зоопарк, располагавшийся напротив Центрального рынка, дошли до кузницы, где ковали лошадь, где-то рядом с улицей Каменской, которая тогда пересекала все «писательские дебри» и упиралась в улицу Писарева. Ковку лошади я видел впервые, все это походило на рассказы деда об освоении сибирской целины в Гусельниково, о конных плугах и конных граблях (в хозяйстве деда было четыре лошади, пока его не раскулачили). А от кузнеца в кожаном фартуке вообще повеяло древним славянским духом. Надо сказать, что весь этот район Центрального рынка и далее по улицам Татарская, Партизанская, Логовская, Демьяна Бедного — был районом мелких ремесленников, мастеров (сейчас здесь унылые ряды хрущевских пятиэтажек). В одном дворе шили ватники, в другом точили пилы, в третьем жили печники, а рядом плотники, причем сведения об этом распространялись исключительно «сарафанным» радио. На нашей улице Лермонтова в двух домах шили шапки, и туда регулярно навдывались финансовые инспекторы и, случалось, облагали мастеров приличными штрафами. Тогда седобородый еврей Фима Розеншток бил очередной шапкой оземь и кричал на всю улицу о том, что больше в руки не возьмет ни ондатры, ни лисицы, ни кролика! Но время шло, и к знакомым воротам снова тянулись заказчики. Понятия «бытовое обслуживание населения» в те времена просто не существовало. На улице Татарской шили даже полосатые татарские халаты, и в классе нашем училось немало татар. А близкий мой школьный друг Равиль Теркулов стал теперь главным новосибирским наркологом. Нельзя не отметить, что даже тени мыслей о национальных отличиях или национальных разборках — типа «Бей жидов, спасай Россию!» — не возникало. Парк «Березовая роща» был в наши школьные времена немалым городским кладбищем, где значительную часть занимали татарские захоронения. А на краю кладбища, там, где сейчас подпирает небо ДК «Строитель», стояла красивейшая православная рубленая часовня. Ее безжалостно снесли осенью 1963 года прямо на наших глазах, у нас рядом проходил урок физкультуры. Вот так в те времена активно боролись с «опиумом народа». Причитали старушки, утирал слезы пожилой священник, какой-то старик призывал кучу несчастий на наши головы. Правда, никаких особенных несчастий в этом году, кроме ночных очередей за хлебом, я не припомню. Мне не раз приходилось стоять в таких очередях у хлебного магазина на улице Лермонтова, слушать разговоры очередников о войне, кое-кто помнил еще и гражданскую, а две питерские старушки, осевшие в Новосибирске, вспоминали даже блокаду. Но самое поразительное, что никаких сомнений в правильности советской власти и в том, что мы строим и построим коммунизм — не возникало! Прямо по стихотворной формуле Евгения Евтушенко: «Конечно, была ошибочка, но, в общем-то, путь был правилен!»

Когда самолет приземлился на аэродроме, мама покинула кабину с очень бледным видом, ее укачало, она тоже летала впервые. Тогда я с трудом довел маму до дома, и тут, после стакана горячего чая, она впервые рассказала мне

про деда Афанасия Семёновича Макарова. Еще пацаном, году в девятисотом, сбежал он из глухой и голодной семипалатинской деревни в город, и в итоге оказался в Омском паровозном депо, где стал учеником машиниста. Учеником он оказался толковым и делал все с умом. Еще он прилично играл на мандолине — так, что даже солировал в деповском оркестре, хорошо пел, немного рисовал и даже писал маслом. Афанасий Макаров был замечен и послан дирекцией депо в славный город Лондон, «дабы учиться паровозному делу настоящим образом». С тех пор в доме хранятся великолепные лондонские фотографии деда. Как их не изъяли при аресте — уму непостижимо.

Об этой черной странице нашей семейной истории мама тоже рассказала. О том, что такое ночной обыск, когда отобрали бабушкину Библию и написали в протоколе: «Изъята религиозная литература». Мама это очень хорошо помнила, ей было 14 лет. Дело было в декабре 1938 года, а уже через три дня у бабушки отказались принять передачу и записку. В ответ было озвучено решение Особого совещания: «Десять лет без права переписки». Что это значит, мама — и мы вместе с ней — узнали лет пятнадцать назад, когда мама переехала в Питер. А в Питере действует самое активное в стране сообщество детей репрессированных. Они-то и выбили для мамы истинный документ о судьбе деда. До того нам присылали разные отписки о том, что он умер в 1942 году от воспаления легких, утонул в 1944-м. Подписывались эти справки уважаемыми людьми, такими, как генерал-майор юстиции В. Дуркин. А на самом деле деда арестовали 9 декабря, а расстреляли 12 декабря того же 1938 года, прямо во внутренней тюрьме НКВД. Почему это случилось — сейчас уже сказать трудно, тогда ведь брали и просто так, для выполнения плана. Была, правда, у деда присказка: «Спасибо, за что боролись...», — и он ее к месту и не к месту применял. Реабилитировали его в 1956 году посмертно, «за отсутствием состава преступления». Это письмо я вынул из того же почтового ящика у калитки, откуда в марте 1953 доставал газету «Правда» с сообщением о смерти Сталина, а в июле ту же «Правду» с известием о расстреле Берии.

В это время в доме кипела могучая работа по реконструкции. В заново построенном жилом полуподвале поселился дед Максим со своими венниками, потом, когда деда не стало, там устроена была кухня-столовая, затем дровяной и угольный склад, наконец, в конце шестидесятых, на волне затухающей хрущевской оттепели, мы своей студенческой группой провели там первый декадентский вечер. Почему декадентский? Потому что декадентов тогда практически не издавали, а ведь это была поэзия! И какая! У нас нашлись знатоки, имеющие дома прижизненные издания Бальмонта, Северянина, Белого, Брюсова, даже Гумилева! Сделали декорации, у нас даже луна в нарисованном окне загоралась. Мама помогала шить занавес. И первый вечер состоялся. Потом все это мы назвали декадентским клубом «Эх, бедная Лиза». И собирались один раз в год в самую длинную ночь. Клуб просуществовал несколько лет. Фотоотчеты и стенгазеты мы вывешивали на кафедрах, в НИИ, на предприятиях. Мы и предположить не могли, что в этих литературно-музыкальных балаганчиках можно усмотреть что-то предосудительное. Но всевидящее око «старшего брата» не дремало. К нескольким родителям участников «Бедной Лизы» приехали из КГБ, нас просто вызывали в отделы кадров, где проводились многочасовые беседы о вреде декадентства в жизни и в искусстве. Хотя истоки и смысл декадентства собеседники наши понимали нечетко, зато они четко понимали опасность подпольных клубов.

После некоторого колебания я рассказал все родителям. Услышанное привело их в ужас, особенно маму. Тогда она и рассказала мне о многолетнем состоянии изгоя с клеймом «дочери врага народа». Был задан и риторический вопрос: «Ты этого хочешь?» Я, конечно, этого не хотел, и клуб закрылся. «Профилактирование» последствий не имело, а опыт «Бедной Лизы» я потом использовал, участвуя в создании «Терпсихоры», горнолыжного клуба «Сибиряк», Фонда молодежной инициативы. А пока на месте клуба в том самом подвале мы с отцом соорудили баню. Причин тому было

много, начиная с самой простой: нашу родную Логовскую баню снесли, и пустырь на ее месте десятилетиями «украшал» улицу Семьи Шамшиных. Мы побродили по разным баням, от центральных — Фёдоровских, Кропоткинских — до самых глухих и неведомых, в кривых и темных переулках — Петропавловских, Красноярских, Порт-Артурских. Везде куча народу, долго добираться и еще больше стоять. Потому и оборудовали свою баню по последнему слову банной техники, это конец 70-х годов. Помимо приличной парилки и ледяной ванны с душем, в подвале нашлось место и для комнаты отдыха с большим круглым столом, за которым и вершилось то главное, ради чего сюда стали приходить старые друзья и приводить новых. Трудно вспомнить всех гостей, побывавших в этой бане: Азарий Плисецкий, Марис Лиёпа, Вилен Галстян (легендарный танцовщик и балетмейстер), а кроме них знаменитые альпинисты и горнолыжники, такие, как Владимир Преображенский («доктор ФиС») или Юрий Голодов, одним из первых россиян покоривший Эверест в 1982 году.

В июне 1981 года был в нашей бане и Андрей Миронов после своего спектакля и премьеры в самодеятельном театре сатиры. Банное священнодействие сопровождалось непрерывными остротами, приколами, анекдотами и шутками. Разъезжались мы ранним-ранним утром, и Андрей Александрович на прощанье заметил: «Если бы не этот божественный напиток, я не смог бы сегодня выйти на сцену», — и указал на очередную банку смородиново-брусничного сока, мамино творения. И на память маме осталось посвящение: «Дорогая Лилия Афанасьевна! Благодарю Вас за чудодейственный компот и внимание и обаяние вашего сына. Ваш А. Миронов». А потом мама переехала в Петербург, но это уже совсем другая история.



АВТОРЫ НОМЕРА

Бегзин-оол Алексей Сарыгларович родился в 1949 г. Окончил факультет журналистики ВПШ ЦК КПСС в Новосибирске. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей Тувы.

Боочи Ольга родилась в 1983 году, окончила медицинское училище, училась во Втором меде (нынешний РНИМУ), работала по специальности. Студентка Литературного института им. Горького. Живет в Москве.

Кенин-Лопсан Монгуш Борахович родился в 1925 г. Окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик, этнолог, этнограф. Народный писатель Тувы. Доктор исторических наук. Президент общества тувинских шаманов. Автор сорока книг поэзии и прозы, научных трудов, литературно-критических работ. Член Союза писателей России.

Комбу Сайлыкмаа Салчаковна родилась в 1960 г. Окончила филологический факультет Кызылского пединститута, аспирантуру ИМЛИ РАН. Поэт, переводчик, литературовед, критик. Кандидат филологических наук. Автор четырех книг поэзии, многих научных трудов. Член Союза писателей России.

Кручинин Сергей Иванович родился в 1939 году. Окончил новосибирскую консерваторию, работал в академическом симфоническом оркестре филармонии. Издал несколько повестей и рассказов. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Кудажы Кызыл-Эник Кыргысович (1929—2006). Поэт, писатель, драматург, переводчик, публицист. Народный писатель Тувы. Автор 40 книг поэзии и прозы. Произведения переведены на многие иностранные языки.

Куулар Николай Шагдыр-оолович родился в 1958 г. Окончил факультет автоматики и электромеханики Томского политехнического института, Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, переводчик. Народный писатель Тувы. Главный редактор Тувинского книжного издательства. Автор нескольких книг поэзии и прозы. Член Союза писателей России.

Лудуп Роман Дамдынович родился в 1963 г. Окончил филологический факультет Тувинского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор двух сборников стихов. Член Союза писателей России.

Мааты-оол Шончалай Александровна родилась в 1983 г. Окончила филологический факультет Тувинского государственного университета. Научный сотрудник Тувинского

института гуманитарных исследований. Автор ряда поэтических публикаций.

Мижит Эдуард Баирович родился в 1961 г. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Председатель Правления Союза писателей Тувы. Народный писатель Тувы. Автор ряда книг поэзии. Член Союза писателей России.

Принцев Игорь Владимирович родился в 1987 г. Окончил филологический факультет Тувинского государственного университета, аспирант кафедры литературы ТувГУ. Автор двух книг прозы.

Светлосанов Владимир Сергеевич родился в 1957 г. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института. Работал преподавателем русского языка и литературы. Автор нескольких поэтических книг и ряда публикаций. Живет в Новосибирске.

Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 г. Окончил Московский государственный педагогический институт. Публикации в журналах «Новый мир», «Юность» и др. Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» (2010).

Хадаханэ Мария Андреевна родилась в с. Бохан Иркутской области. Окончила историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. Кандидат филологических наук. Прозаик, переводчик, литературовед, критик. Автор монографий по тувинской филологии.

Черлиг-оол Куулар Чашкынмаевич родился в 1940 г. в м. Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна Тувинской народной республики. Окончил филологический факультет Кызылского пединститута. Поэт, прозаик, переводчик. Народный писатель Тувы. Автор 13 книг поэзии, прозы, переводов, многих литературно-критических статей. Член Союза писателей России.

Чульдум Раиса Михайловна родилась в 1986 г. Консультант Министерства информатизации и связи Республики Тыва. Рассказы публиковались в сборнике «Прорыв» (2010).

Шапошников Александр Арсеньевич родился в 1948 г. в Новосибирске. Доктор экономических наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления. Автор более 200 научных работ и монографий, а также художественно-документальных книг «Собрание пестрых глав» и «Разрешите вам напомнить о себе». Живет в Новосибирске.